

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ALUSTATUD 1893. a.

VIHK № 43 ВЫПУСК

ОСНОВАНЫ В 1893 г.

AJALOO-KEELETEADUSKONNA TÖID
ТРУДЫ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА



EESTI RIIKLIK KIRJASTUS
TALLINN 1956

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
VIHİK 43 ВЫПУСК

AJALOO-KEELETEADUSKONNA TÖID
ТРУДЫ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА



EESTI RIIKLIK KIRJASTUS
TALLINN 1956

Redaktsioonikolleegium:

E. Laugaste (vast. toimetaja), P. Ariste, B. Jegorov, A. Kask,
H. Moosberg
A. Pravdin, E. Uuspõld (sekretärid)

Редакционная коллегия:

Э. Лаугасте (ответственный редактор), П. Аристе, Б. Егоров,
А. Каск, Г. Мосберг
А. Правдин, Э. Ууспыльд (секретари)

МОЛОДОЙ КУТОРГА

(к вопросу о возникновении русской исторической науки об античности) ¹

Доц., канд. истор. наук Ю. Мадиссон

Кафедра всеобщей истории

Историография является одной из наиболее важных и сложных областей надстройки. Тесная связь с политической, социальной и др. идеологиями характерна для нее во все времена и во всех странах. Вот почему историография всегда была важнейшим орудием правящих классов для закабаления трудящихся масс, служба правящему классу «жизненной школой» («palaestra vitae»), посредством которой этот класс доказывал извечную будто бы неизбежность существующего способа эксплуатации. Однако, хотя по характеристике, данной Марксом и Энгельсом в «Немецкой идеологии», мысли господствующего класса были господствующими мыслями, идеология как сектор надстройки редко являлась единой; происходила борьба между старой идеологией, защищающей интересы отжившего господствующего класса, и новой идеологией, служащей интересам переродовых сил общества.

Эта борьба между старой и новой идеологиями наблюдается и в историографии. В первые десятилетия XIX века реакционная историография периода романтизма защищала интересы класса феодалов и феодально-абсолютистского государства. Новой же идеологией являлась концепция об историческом развитии ², выдвинутая во время реставрации во Франции буржуазными историками Гизо и Тьерри, согласно которой расовая (классовая) борьба между франками, ставшими после завоевания страны феодалами, с одной стороны, и, с другой стороны — галло-романами, которых эти франки превратили в крепостных, признается решающим фактором в историческом развитии Франции, а в буржуазной революции конца XVIII века усматривается последний решительный

¹ Статья о молодом Куторге является первой частью монографического исследования автора о Профессорском институте при Тартуском университете (1828—39) и его значении в развитии русской исторической науки. Статья эта печатается здесь с сокращениями.

² См. М. А. Алпатов, Политические идеи французской историографии XIX века. 1949 (= Алпатов. Французская историография): введение и I часть, гл. III.

тельный этап на пути свержения феодальной формации. Подчеркивая прогрессивное значение концепций этих историков, Маркс писал: «что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов...»³ Однако, эта французская либерально-романтическая историография оказалась недолговечной. В качестве одного из проявлений реакционности буржуазии как господствующего класса, она в своих новых концепциях уже ко времени революции 1848 года скатывается в сторону реакции.

В отличие от развития историографии на Западе, а в особенности во Франции, судьбы историографии всеобщей истории в России складывались иначе. Развиваясь в условиях распада феодализма и возникновения капиталистической формации, она сохраняла прогрессивный характер долгие годы вплоть до подъема социалистического движения, в частности же до революции 1905—1907 гг. Буржуазную ограниченность русской историографии данного периода, а также и ее выдающиеся заслуги в области разоблачения реакционных концепций историков Запада убедительно показывает Алпатов⁴, который, однако, к сожалению, не рассматривает взаимоотношений русской и либерально-романтической французской историографии первой половины XIX столетия. А между тем, именно в этот период, когда были заложены основы русской всеобщей историографии такими крупными учеными, как Куторга и Грановский, эта взаимосвязь оказалась особенно прочной и плодотворной.

Деятельность М. С. Куторги (1809—1886) — основоположника русской исторической науки об античности, выдающегося профессора Петербургского (1835—69) и Московского (1869—74) университетов, — является предметом изучения довольно обширной историографической литературы. В. В. Бауер первым охарактеризовал деятельность Куторги в очерке,⁵ напечатанном в сборнике, посвященном истории Петербургского университета. Он здесь дает между прочим краткий обзор учебы Куторги в Гарту и за границей, неверные положения которого без должной критики повторяются всей последующей историографией о Куторге, и отмечает, что деятельность Куторги в качестве профессора Петербургского университета означала новую эпоху в преподавании истории в Петербургском университете. Другим ценным трудом о Куторге является некролог Дестуниса⁶, в котором с большой теплотой и в

³ Маркс — Вейдемейеру 5. 03. 1852 г. К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные письма. 1947, стр. 63.

⁴ Алпатов, *op. cit.* II часть, гл. VI.

⁵ В. В. Григорьев, С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. 1870 (= Григорьев, *op. cit.*), стр. 213—218, см. также Примечания: № 362 на стр. 57.

⁶ Г. Дестунис, М. С. Куторга. Воспоминания и очерки. ЖМНП, 1886, июль, стр. 3—14 (= Дестунис, *op. cit.*).

восторженных выражениях описывается и переворот, проведенный Куторгой в преподавании всеобщей истории в университете, и защита Куторгой в 1838 г. докторской диссертации.

В 80-ые годы XIX в. появляются и воспоминания учеников Куторги: Э—г—, А. Ч., Ф. Н. Устрялова и О. Языкова.⁷ Позднее появились в печати дневники революционного демократа Чернышевского за 1848—1849 гг.,⁸ свидетельствующие о большом влиянии Куторги на развитие Чернышевского; дневник показывает и критическое отношение Чернышевского к взглядам Куторги.⁹ Ценные сведения о поездке Куторги за границу, о его диссертациях дает переписка М. М. Стасюлевича.¹⁰ Новые данные для характеристики и биографии Куторги содержат введения, написанные его племянником, к посмертным изданиям трудов Куторги,¹¹ в которых Куторга, между прочим, характеризуется как основоположник русской исторической науки об античности.¹² С позиций буржуазной историографии трактовку Куторги подытожил и дополнил В. П. Бузескул. Из его работ о Куторге по приводимым им новым материалам и по точности фактических данных наиболее ценна «Всеобщая история и ее представители в России в XIX и в начале XX века»¹³, в то время как в его «Введении в историю Греции»¹⁴ много ошибок в передаче фактических данных, которые без должной проверки и поправки перенимались даже советскими историками.

В связи с переоценкой культурного наследия в последние годы выдвигался вопрос о значении деятельности Куторги. Попытки определить его место в развитии русской исторической науки делались и в виде докладов¹⁵ и в очерках. К сожалению, неудачным

⁷ Э—г—. Студенческие корпорации в Петербургском университете в 1830—1840 гг. Русская старина, 1881, стр. 367—380 (= Э—г—, *op. cit.*). А. Ч. Петербургский университет полвека тому назад. Русский архив, 1888, № 9, стр. 139—142 (= А. Ч., *op. cit.*). Ф. Н. Устрялов, Воспоминания о С.-Петербургском университете в 1852—1856 гг. Исторический вестник, 1884, июль, стр. 297—300 (= Устрялов, *op. cit.*). О. Языков, Воспоминания о М. С. Куторге. Исторический вестник, 1886, июль, стр. 563—568 (= Языков, *op. cit.*).

⁸ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений. Т. I, 1939 (= Чернышевский, *op. cit.*), стр. 38—269.

⁹ *Ibid.*, стр. 105: «Куторга читал о характере главных европейских народов — основные мысли из Гизо. Но распространение и много, кажется не так...»

¹⁰ М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. I, 1911 (= Стасюлевич, *op. cit.*).

¹¹ М. С. Куторга, Из неизданных сочинений. ЖМНП, 1891, май, стр. 78—81. Собрание сочинений М. С. Куторги. Т. I, 1894, стр. I—X и т. II, 1896, стр. I—VIII (= Куторга, Неизданные и Куторга. Сочинения I и II).

¹² Куторга, Сочинения II, стр. VIII: «...первоначальник в нашем отечестве науки об эллинизме...»

¹³ Ч. I. 1929 (= Бузескул, Всеобщая история), стр. 99—109.

¹⁴ 3-е издание. 1915 (= Бузескул, Введение), стр. 303—308.

¹⁵ Так, в 1951 г. в Ивановском педагогическом институте, выступая на научной сессии, М. Гусева зачитала доклад на тему: «М. С. Куторга и его роль в изучении античности». См. Вопросы истории, 1951, № 4, стр. 142 сл.

и порочным по своим установкам является очерк о Куторге Н. А. Машкина в известном учебнике Сергеева¹⁶, так как в этом очерке не только искажаются многие биографические данные о Куторге, но и приводится в качестве свидетельства прогрессивности его взглядов реакционная теория старого Куторги о политике вместо его учения о классовой борьбе. Передачей био-библиографических данных о Куторге ограничиваются Дьяков и Никольский в своем учебнике.¹⁷

Первой попыткой дать развернутую характеристику Куторги как историка с точки зрения марксистской историографии является очерк о нем С. Н. Валка,¹⁸ в котором на основе довольно обширной литературы показывается значение Куторги в развитии изучения истории в Петербургском университете. Неудачной и неверной нужно признать его попытку свести сущность «школы» исторической науки Петербургского университета к отличиям ее от «школы» Грановского в методологических вопросах. Неубедительным следует также признать и его попытку объяснить переход Куторги на реакционные позиции пространственной его близостью к царским жандармам (Дуббельту и Орлову) и к Петропавловской крепости. Самым ценным исследованием о Куторге нужно считать очерк о нем М. А. Алпатова.¹⁹ При всех достоинствах этого очерка, установки которого верны и приемлемы, его крупным недостатком является то, что в нем по существу обходится вопрос о том, как Куторга стал на точку зрения расовой (классовой) борьбы и развил ее дальше.

Наряду с известными достижениями в переоценке наследия Куторги как выдающегося буржуазного историка имеются еще и крупные недочеты, из которых наиболее существенными являются следующие. Во-первых, неразрешенным в конечном итоге остается вопрос о том, как Куторга, который в свои молодые годы был прогрессивным ученым, скатился в лагерь реакции. Впервые этот вопрос поднимается учениками Куторги первых лет его преподавательской деятельности (Э—г— и А. Ч.).²⁰ Разрешить этот вопрос было не под силу буржуазной историографии, которая сводит его к воздействиям со стороны начальства и к взаимоотношениям между личностями.

¹⁶ Сергеев, История древней Греции. 1948, стр. 45 сл.

¹⁷ История древнего мира. 1952, стр. 239.

¹⁸ С. Н. Валк, Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет. Труды юбилейной сессии. Секция исторических наук. 1948, стр. 6—15.

¹⁹ Тихомиров, Алпатов, Сидоров, Очерки истории исторической науки в СССР. I, 1955 (= Алпатов, М. С. Куторга), стр. 474—495. В виду того, что наша статья была закончена и отредактирована до выхода этого труда из печати, нам удалось использовать очерк Алпатова только отчасти, в виде редакционных заметок.

²⁰ Э—г—, *op. cit.*, стр. 370 и А. Ч., *op. cit.*, стр. 139 и сл. Опираясь на воспоминания Э—г—, вопрос этот обсуждается и Бобровым. См. Е. Бобров, Жизнь и поэзия П. И. Шкляревского. Сборник учено-литературного общества при И. Юрьевском университете. Т. XIV. 1909 (= Бобров, *op. cit.*), стр. 24.

В виду того, что историки являются идеологами того или иного класса, интересы которых ими защищаются в теориях общественного развития, главной задачей при решении вопроса о прогрессивности историка является выяснение его основных научных концепций. По отношению к Куторге вопрос этот в основных чертах ясен. Если для молодого Куторги как идеолога прогрессивной буржуазии была характерна разработка учения о классовой борьбе, то к старости он развивает реакционную концепцию о политике, согласно которой наивысшим достижением политической мысли Греции признается классовый мир и сотрудничество антагонистических классов в городе-государстве. Серьезным недостатком советской историографии о Куторге, за исключением очерка Алпатова, является то обстоятельство, что вопрос об основной концепции Куторги или вовсе не ставится, или решается неверно. Задачей этого исследования не является выяснение причин и момента смены концепций у Куторги. Дневник Чернышевского показывает, что Куторга еще в 1848 г. стоял на позициях концепции классовой борьбы. Известное указание Бузескула²¹ о том, что Куторга свое учение о политике впервые развил в статье 1875 г., может быть только датой *ante quem*.

Вторым крупным недостатком историографии Куторги нужно признать ошибочную и искаженную трактовку развития молодого Куторги, основным источником которой является вышеназванный очерк о Куторге Бауера.²² Грубейшие ошибки встречаются в литературе о Куторге и в изложении фактов. Нет почти ни одной даты или явления в жизни нашего Куторги, которую бы авторы, писавшие о нем, не исказили, подчас до неузнаваемости.

В силу вышеуказанных обстоятельств для выяснения вопроса о развитии Куторги следует обратиться к первоисточникам. Работая в 1951—52 гг. в Центральном государственном историческом архиве в Тарту²³ над изысканием материалов по развитию исторической науки в Тартуском университете, я обнаружил обильные неиспользованные донные материалы, касающиеся деятельности Куторги в Профессорском институте в 1828—33 гг. Кроме того мною собран ряд дополнительных материалов в Ленинградском Центральном государственном историческом архиве²⁴, где я нашел неиспользованные до сих пор материалы, относящиеся к пребыванию Куторги за границей в 1833—35 гг.; некоторые ценные сведения были получены мною в архиве Куторги²⁵, который хранится в отделе рукописей Ленинградской государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. В виду того, что Куторга

²¹ Бузескул, Всеобщая история, стр. 106. См. и Куторга, Борьба демократии с аристократией в древних эллинских республиках перед Персидскими войнами. Русский Вестник, 1875, ноябрь, стр. 5—61.

²² Григорьев, *op. cit.*, стр. 214.

²³ В дальнейшем: ЦГИА(Т).

²⁴ В дальнейшем: ЦГИА(Л).

²⁵ В дальнейшем: Архив Куторги.

не оставил автобиографии,²⁶ его личные записки и переписка имеют исключительно большое значение. К сожалению, ценные материалы, имевшиеся в свое время в архиве Куторги, затерялись еще до их перехода во владение Ленинградской публичной библиотеки.²⁷ Ценные дополнительные сведения для изучения работы Куторги в Профессорском институте дали хранящиеся в фундаментальной библиотеке Тартуского университета богатые рукописные фонды проф. Моргенштерна²⁸ и документальные материалы архива этой библиотеки.²⁹

Сознательная деятельность Куторги начинается в тот период, когда деятельность дворянских революционеров завершилась восстанием декабристов, и русское дворянство в условиях распада феодально-крепостнического строя окончательно превратилось в реакционный класс. Вместе с тем руководство русским освободительным движением перешло в руки разночинцев, революционных демократов. Куторга никогда не достиг уровня революционных демократов и, как будет показано ниже, по идеологической направленности примыкал к буржуазно-либеральным идеологам. По своему происхождению Куторга, бесспорно, разночинец. Как видно из генеалогических материалов, собранных им самим, Куторги проживали в городе Мстиславле и его окрестностях.³⁰ Так как среди Куторг XVI столетия имеются священники православной церкви, православными были его родители и он сам, то Куторг следует отнести к семьям белорусского происхождения.

В первые десятилетия XIX века Куторги чаще всего бывали мелкими чиновниками. К числу последних принадлежал и отец Куторги, который, согласно сохраняющейся в архиве Куторги выписке из метрики,³¹ во время рождения сына был канцелярским чиновником в городе Черикове, а в момент своей ранней смерти (в 1817 г.) имел лишь небольшой чин губернского секретаря.³² Наступившие после смерти отца материальные затруднения были, очевидно, скоро преодолены, так как Куторга поступил в Петер-

²⁶ См. Куторга, Неизданное, стр. 79. На вопрос своего племянника Куторга за несколько недель перед смертью ответил: «мне времени не было заниматься посторонним делом, автобиографии пишут люди, желающие себя прославить, я занимался только наукой».

²⁷ См. там же, По характеристике племянника Куторги, в них «... раскрывалась изо дня в день картина его жизни и работа мысли историка с 1828 г. . . .». «... воскрешает быт членов Профессорского института и заграничное пребывание в тридцатых годах».

²⁸ В дальнейшем: Моргенштерн.

²⁹ В дальнейшем: архив библиотеки ТГУ.

³⁰ Архив Куторги: Бумаги, касающиеся рода Куторг: заключают в себе многочисленные, доходящие до 1540-ых годов, материалы и документы (в копиях), относящиеся к Куторгам, а также неупорядоченные черновики генеалогических таблиц о Куторгах XVIII—XIX вв.

³¹ Архив Куторги 4: «... у регистратора Симона Куторги...»

³² ЦГИА(Т), ф. 402, д. 6, стр. 317b—318a.

бургский университет по окончании гимназии.³³ По словам самого Куторги, в Петербургском университете он учился полтора года.³⁴ Хотя его пребывание в Петербургском университете было более продолжительным, чем это можно было предположить до сих пор, оно едва ли принесло какую-либо пользу его развитию. После массового увольнения профессоров-либералов пресловутым мракобесом Руничем в 1821 г. чтение курсов истории было поручено Рогову и Крылову, весь круг знаний которых не превышал объема учебника для средней школы Кайданова.³⁵ Слушание лекций таких «профессоров» едва ли дало что-нибудь студентам, и поэтому те хорошие знания, с которыми Куторга пришел на экзамены для поступления в Профессорский институт,³⁶ были приобретены путем самообразования.

Мы дошли до важного этапа в развитии Куторги как прогрессивного ученого: его пребывание в Профессорском институте. Деятельность Профессорского института при Тартуском университете по-настоящему еще не изучена. Вздорные домыслы буржуазных авторов, в особенности Г. Шмидта³⁷ (работа его по обилию использованных им первоисточников является одной из наиболее ценных), которые изображают Николая I чуть ли не покровителем русской науки, выбор Тарту местом подготовки будущих профессоров «объясняют» тем, что в 1827 году за границей без вести пропал один из казанских профессорантов,³⁸ причем — что является самым важным — все в организации этого института объясняется взаимоотношениями руководящих личностей; такая трактовка лишь дезориентирует вместо выяснения вопроса. В этом отношении, к сожалению, не безупречны и советские труды, появившиеся в связи со 150-летием Тартуского университета.³⁹ Вместо того, чтобы взять в качестве исходной точки ленинское учение о двух культурах и учесть, что одним из важнейших секторов новой, прогрессивной культуры начиная со 2-ой четверти XIX века стала обоснованная разночинцами прогрессивная русская наука,

³³ Архив Куторги 4. Копия письма Куторги П. М. Шкляревскому, в котором Куторга пишет, что учился в течение 4 лет в гимназии вместе с сыном последнего. Низкий уровень обучения латинскому языку в Петербургской гимназии неоднократно упоминается в актах периода его пребывания в Профессорском институте.

³⁴ Архив Куторги, там же.

³⁵ Валк, *op. cit.*, стр. 4. Ср. и Григорьев, *op. cit.*, стр. 51, 55 и сл.; Примечания, стр. 24 (№ 199).

³⁶ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 512, стр. 5: Выписка из протокола экзаменов при Академии наук показывает, что Куторга наравне с кандидатом Московского университета Шуманским, одновременно с ним поступившим в Профессорский институт, получил одинаковую общую оценку: «весьма надежен».

³⁷ G. Schmidt, *Das Professoren-Institut in Dorpat 1828—1838. Russische Revue. XIX (1881)* (= G. Schmidt. *Op. cit.*), стр. 136—166.

³⁸ Там же, стр. 159.

³⁹ Важнейшие из них: Э. Мартинсон, *Исторические связи Тартуского, б. Юрьевского университета с русской наукой*, 1951, и Любарский, *Свет русской науки*, 1952.

в этих трудах главное место уделено выяснению деятельности и характера отдельных лиц и их взаимоотношений. Автор замечательного плана подготовки русских ученых в Профессорском институте, академик Паррот, провозглашается без достаточных доводов реакционером, рупором Николая I и другом министра Ливена, что во всяком случае неверно. Тартуский университет рассматривается как реакционный центр, что также надо признать необоснованным, если учесть, что здесь не было таких реакционных мракобесов как Магницкий, Рунич и пр. Вместо того, чтобы оценить по должному Профессорский институт, как единственное в условиях царизма предприятие по плановой подготовке молодых ученых, а также учесть все нужные для успешного завершения этого предприятия предпосылки, авторы рассматриваемых трудов пускаются в рассуждения о том, что получилось бы, если бы подготовка профессоров была распылена между отдельными научными сотрудниками русских университетов и академии. Переоценивается также роль отдельных, исключительно даровитых воспитанников в осуществлении всего этого начинания. Почти не упоминается в этих работах о роли ректора Эверса в проведении в жизнь плана подготовки ученых. Эверс же был не только выдающимся ученым в области истории СССР, создавшим т. н. теорию родового быта,⁴⁰ но и лучшим, может быть, администратором по организации научной работы, который, будучи в 1818—1830 г. бессменным ректором Тартуского университета, сумел собрать в этом университете, по всей вероятности, наилучший в целой России профессорско-преподавательский коллектив. Мало того, Эверс воспитывал этот коллектив при помощи проведения больших плановых заданий, наиболее крупным из которых являлось налаживание планомерной учебы студентов из бывших воспитанников Петербургского воспитательного дома.⁴¹

Успешно сдав приемные экзамены, Куторга 21 июля 1828 г. был зачислен в Тартуский Профессорский институт, где намеревался заняться изучением истории. В первые десятилетия существования Тартуского университета историческая наука не являлась в нем одной из наиболее хорошо поставленных дисциплин. Правда, профессором русской истории⁴² был начиная с 1809 г.,

⁴⁰ См. об этой теории: Греков, Крестьяне на Руси, 1946, стр. 60; его же, Киевская Русь, 1953, стр. 74, и Косвен, Матриархат. 1948 (= Косвен, *op. cit.*), стр. 92 сл.

⁴¹ См. об этом богатейшие материалы: ЦГИА(Т), ф. 402, д. 212: *Berichte etc., betreffend die Zöglinge des kais. Erziehungshauses in St. Petersburg*: В число бывших воспитанников этого воспитательного дома входили: Смаградов, впоследствии профессор высших учебных заведений и автор известных учебников по всеобщей истории; Федоров, профессор астрономии в Киевском университете, — зачастую неверно называемый воспитанником Профессорского института.

⁴² До 1820 г. имелись две профессуры: 1) истории, статистики и географии России, и 2) всеобщей истории, статистики и географии. Вследствие переустройства 1820 г. возникли профессуры: 1) истории и 2) географии и статистики. Однако профессора статистики и географии в следующие десятилетия почти постоянно читали и курсы истории.

уже известный нам Эверс, который был к тому же столь замечательным лектором, что тогдашние слушатели характеризовали его лекции обычно только выражениями «блестящие», «увлекательные» и пр. Плодом его педагогической деятельности явилось опубликование курса русской истории древнего периода, который считался в те времена лучшим учебным пособием.⁴³ Курс новой русской истории, появление в печати которого не могло осуществиться вследствие обремененности Эверса административной работой, привлекал многочисленных слушателей даже из числа лиц вне университета.⁴⁴ Хуже обстояло дело с профессурой всеобщей истории, оставшейся уже начиная с 1812 года на целые 16 лет вакантной.

В виду того, что заполнение кафедры всеобщей истории по многим причинам откладывалось на неопределенное время, в особенности в связи с катастрофическим падением курса рубля после Отечественной войны, которое вызывало передачу вакантных кафедр в порядке компенсации профессорам смежных дисциплин, профессор Эверс читал и курсы всеобщей истории. Так дело обстояло до 1826 года, когда вопрос о замещении профессуры истории вновь стал актуальным, ибо в этом году новым профессором географии и статистики был выбран и утверждён Блюм, а в связи с переходом Эверса на юридический факультет стало необходимым в срочном порядке заполнить и профессуру истории. Причиной этому отнюдь не могла быть перенагрузка административной работой и слабое здоровье Эверса, как это подчеркивается буржуазно-немецкими историками, но соображения организационного характера. История, которая до сих пор читалась в качестве вспомогательной дисциплины камералистам, юристам и т. д. становится в 20-ые годы предметом специального изучения студентами. Русские были первыми студентами-историками Тартуского университета. С 1823 по 1825 изучал здесь историю И. Иванов (бывший воспитанник Петербургского воспитательного дома), а его товарищ по воспитательному дому Смарагдов изучал в Тартуском университете историю начиная с 1827 года и кончил учебу в 1831 году первым кандидатом философии по специальности исторических наук.

В конце того же 1827 года стал перед университетом вопрос о подготовке в кратчайшие сроки к учебе в учреждаемом Профес-

⁴³ Geschichte der Russen, 1816.

⁴⁴ Как видно из соответствующего дела университетского архива (ЦГИА(Т), ф. 402, д. 333, стр. 45б—46а), где сохранились в подлиннике подписи слушателей I сем. 1817 г., курс новой русской истории был прослушан поэтом Жуковским (в подписи: Joukoffski). Зато не подтверждается в литературе о Жуковском и о Т. Боке мнение, согласно которому один из них якобы прослушал курс истории средних веков Эверса. Если прав Предтеченский (Современник декабристов. Т. Г. Бок. 1953, стр. 33), что Бок действительно пользовался конспектами Жуковского, то последний должен был прослушать этот курс еще в I полугодии 1814 года, что, однако, не подходит хронологически, поскольку Жуковский не проживал тогда в Тарту.

сорском институте. В этом плане одним из важнейших мероприятий было заполнение всех вакантных профессур, в том числе и должность профессора истории.⁴⁵ В то время как в архивном фонде университета имеются богатейшие и до сих пор не использованные материалы о более ранних попытках заполнения профессуры истории, буржуазные и немецкие историки заинтересовались вопросом о заполнении кафедры лишь в 1828 году. Интерес их был вызван тем, что кандидатом, с которым велись оживленные переговоры, был в 1828 году известный немецкий историк Леопольд Ранке. Рассмотрение и критика реакционных домыслов прибалтийско-немецких историков не имеет для нас в данной связи особого значения и будет проведено отдельно.

После отказа Ранке от кандидатуры был избран в марте 1828 года профессором истории Фридрих Крузе. В Тарту прибыл Крузе только в конце сентября и по обычаю того времени приступил к выполнению своих обязанностей в университете только в начале следующего семестра.⁴⁶ Поскольку профессора-руководители играли довольно значительную роль в подготовке будущих профессоров в институте, то прежде чем перейти к работе Куторги в Профессорском институте, следует охарактеризовать Крузе как ученого и профессора. Переоценка деятельности Крузе с точки зрения марксистской методологии еще не проделана, но нет сомнений в отношении того, что он не входил в число выдающихся и прогрессивных историков первой половины XIX века. Все его попытки дать широкие всемирноисторические концепции кончились принятием реакционных установок. Для выявления этих установок Крузе достаточно познакомиться с учебником по всеобщей истории для университетов „Atlas und Tabellen zur Übersicht der Geschichte“, составленным его отцом, редактором дополненных изданий которого был наш Крузе. Каково это пособие, которое Крузе называет «бессмертным трудом»⁴⁷, станет в достаточной степени ясно, если мы отметим, что в нем не упоминаются феодализм, восстание Спартака и Жакерия. Робеспьер назван «извергом» (Wüterich). В своих позднейших работах по археологии и древней истории Прибалтики Крузе защищает лженаучную «теорию» норманистов, вызывая тем справедливые, язвительные насмешки эстонских просветителей — демократов.⁴⁸

⁴⁵ См. ЦГИА(Т), ф. 402, д. 506, стр. 6а—7а: На философском факультете кроме истории была вакантна и кафедра химии, профессором которой был избран Гэбель.

⁴⁶ Там же, д. 506, стр. 6а + б.

⁴⁷ Atlas und Tabellen. Введение: "... unsterblichen Werkes meines seligen Vaters".

⁴⁸ См. Faehlmanni ja Kreutzwaldi kirjavahetus. 1936 (на эстонском языке), стр. 33; Фельман — Крейцвальду 11 мая 1849 года: «Неужели ты больше не роешься в могильниках... чьи кости там лежат: эстонского ли народа или варяжских привидений? Ты, конечно, читал в книге ученого мужа: и кости и украшения и оружие — все принадлежат этим привидениям. Все без исключения народы Севера Европы выбрали нашу страну для погребения своих покойников.»

Наиболее ценное дал Крузе в своих исследованиях в области греческих древностей и исторической географии древней Греции, где он мог показать свою огромную начитанность и неутомимое трудолюбие в обосновании положений данными письменных источников (в его отчетах в Профессорском институте это называется: „aus Quellen geschöpft“) и в мелочно-кропотливой критике этих источников (в тех же отчетах: „gesunde Kritik“). Таков был и его основной труд по истории древней Греции.⁴⁹ В изданных двух первых томах этого труда им разработаны вопросы, связанные с материковой Грецией. Для третьего тома, где предполагалось обсуждать вопросы исторической географии греческих островов и колоний, он начал собирать материалы уже до прибытия в Тарту и продолжать работать над ним по крайней мере до 1834 года,⁵⁰ используя для этого с особого разрешения тайные донесения русского военно-морского флота. Том этот остался, по всей вероятности, незаконченным и никогда не был издан. Произведение это („Hellas“) считалось в свое время образцовым в качестве исчерпывающего исследования.⁵¹

Деятельность Крузе как профессора протекала в рамках обычных в то время установок учебно-методической работы. К периоду организации Профессорского института уже давно канули в прошлое те времена, когда студентам предъявлялось лишь требование 3-х летнего их состояния в списках университета с рекомендацией прослушать некоторые лекции по выбору самого же студента, профессора же читали 6—8 лекции в неделю, но в выборе курсов не были связаны ни с учебным планом, ни с какими-нибудь программами, причем чтение объявленных курсов не контролировалось. Начиная с годового отчета 1820 года,⁵² попечитель затребовал отчетности о том, читались ли все объявленные курсы, с указанием причин их полного или частичного отпадения. Положением о присуждении ученых степеней 1819 года⁵³ (на философском факультете были ученые степени: действительного студента, кандидата, магистра и доктора) был определен минимум знаний, необходимый для присуждения ученой степени, и порядок, по которому для присуждения какой-нибудь высшей степени необходимо было иметь все предшествующие ей низшие степени. Для присуждения степени доктора наук, которой должна была завершиться учеба в Профессорском институте, согласно плану, выработанному Парротом,⁵⁴ необходимо было успешное завершение следующих испытаний экзамена на степень, называемого также «строгим экзаменом» („examen rigorosum“): а) в виде устного

⁴⁹ Hellas, oder geographisch-antiquarische Darstellung des alten Griechenlandes und seiner Colonien. В. I—II, 1825—1827 (= Kruse. Hellas).

⁵⁰ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 2050, стр. 151а + б.

⁵¹ См. биографию Крузе в „Allgemeine deutsche Biographie“. (= ADB) Т. 17, стр. 263: „... vortrefflich anerkanntes Werk...“

⁵² ЦГИА(Т), ф. 402, д. 502, стр. 18а.

⁵³ Там же, д. 505, стр. 99а—105б.

⁵⁴ См. Schmidt, op. cit., стр. 139 и сл.

экзамена, проводимого всеми профессорами факультета в пределах всех наук, преподаваемых ими, б) письменного экзамена в виде ответа на заданные 4 вопроса и в) предъявление диссертации на латинском языке и успешная ее защита. Этот порядок, однако, проводился с большими уклонениями. В этих условиях являлось крупным нововведением, стимулирующим повышение качества учебы и планомерное ее распределение, тот новый порядок, который был разработан и проведен в жизнь ректором Эверсом начиная с 1823 года для студентов, направленных в Тартуской университет из Петербургского воспитательного дома. Для каждого студента составлялся индивидуальный план 4-летнего обучения. В конце каждого семестра проводились экзамены по всем предусмотренным в плане дисциплинам; предусматривалось дополнительное обучение по тем дисциплинам, слабое овладение которыми могло бы сорвать выполнение установленного плана. К числу таких предметов принадлежали в первую очередь немецкий и латинский языки.⁵⁵

Богатый опыт, накопленный при проведении учебы студентов из Петербургского воспитательного дома, был полностью использован в организации Профессорского института, имевшего несравненно большее, общегосударственное значение. Для воспитанников Профессорского института, прибывших летом 1828 г. в Тарту, были по приказу ректора Эверса в октябре того же года составлены философским факультетом индивидуальные планы работ.⁵⁶ С конца I семестра (т. е. со II-го полугодия 1828 г.) начинаются экзамены по всем прослушанным дисциплинам, а также и семестровые отчеты профессоров и директора института, в которых дается подробный анализ работы воспитанников института. Прикрепление воспитанников к профессору-руководителю стало новым фактором в планомерной работе института, поскольку вследствие применения этой меры профессор был лично заинтересован в том, чтобы его воспитанники в назначенный срок получили бы ученую степень доктора наук и могли бы стать ординарными профессорами университета.⁵⁷

С той же целью были проведены по инициативе университета изменения в «Положении о производстве в ученые степени» 1819 года в том смысле, что степень магистра или доктора можно было присудить и воспитанникам, которые не имели предшествующих (действительный студент, кандидат и т. д.)⁵⁸ ученых степеней. Присуждение воспитаннику Профессорского института степени магистра или доктора ставилось в зависимость от объема

⁵⁵ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 212, стр. 14а и сл.

⁵⁶ Там же, д. 518, стр. 1а—4а.

⁵⁷ По плану Паррота (см. о том: Schmidt, *op. cit.*, стр. 139 и сл.) целью Профессорского института являлась подготовка ординарных профессоров.

⁵⁸ См. Петухов. Юрьевский бывш. Дерптский университет за сто лет его существования (= Петухов, *op. cit.*). Т. I, 1902, стр. 494; см. также ЦГИА(Т), ф. 402, д. 561, стр. 60а и сл.; там же, д. 14036, стр. 35а.

и основательности знаний, проявленных соискателями на экзаменах на степень. Изменяется также и характер экзаменов на докторскую степень: экзаменуемые проходят испытания уже не по всем преподаваемым на факультете дисциплинам, но лишь на основании списка главных и вспомогательных дисциплин, составленного по специальности экзаменуемых. Для историков главными науками считались: всеобщая история (древняя, средних веков и нового времени) и русская история; вспомогательными дисциплинами считались: хронология, география, статистика, классическая филология, история философии и наука классических древностей, причем при присуждении ученой степени решающее значение должны были иметь знания по главным дисциплинам.⁵⁹

С точки зрения успешного хода работ в Профессорском институте имело особое значение вопрос о знаниях и навыках его воспитанников в области филологии. Опыт со студентами из Петербургского воспитательного дома, а также и ложные концепции буржуазной неогуманистической педагогики подняли перед руководством Профессорского института вопрос о свободном (устном и письменном) владении его воспитанниками классическими (латинским и греческим), а также и немецким, на котором велось преподавание в институте, языками. Относительно легким оказался вопрос об овладении немецким языком. Лектор немецкого языка Раупах, которому было поручено заботиться об этом,⁶⁰ отзывается уже в конце I семестра работы института положительно о владении немецким языком большинством воспитанников, в том числе и о Куторге, и специальная учеба по части немецкого языка прекратилась в I семестре 1829 года.⁶¹

Гораздо более трудным был вопрос об «элегантном» (= изысканном), свободном, устном и письменном владении латинским языком, что стало истинным камнем преткновения для многих тогдашних студентов. На это обратил уже внимание Гассельблатт в своем исследовании о студентах, которым в Тартуском университете были присуждены медали на конкурсах работ. Он отмечает,⁶² что на конкурсах работ, объявленных университетом уже начиная с 1803 года, были собственно две награды I степени: золотая медаль и серебряная медаль с особым решением о печатании данной работы. При этом серебряная медаль присуждалась в качестве награды I степени за все работы без исключения, которые не были написаны на латинском языке. Если выпускники, магистранты и докторанты других факультетов, как видно из воспоминаний Пирогова,⁶³ преодолевали затруднения при составлении диссертации на изысканном латинском языке при помощи

⁵⁹ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 518, стр. 8а и там же, д. 14036, стр. 35а.

⁶⁰ Там же, д. 512, стр. 20а.

⁶¹ Там же, д. 512, стр. 98а + b: в отчете за I сем. 1828 г.

⁶² Hasselblatt, Ehrenlegion der 14.000 Immatrikulierten. 1893, стр. 7.

⁶³ Н. Пирогов, Севастопольские письма и воспоминания (= Пирогов, op. cit.). 1950, стр. 319.

своих товарищей, классических филологов, то в отношении историков требование владения «элегантной» латынью оставалось в полной силе. По части классической филологии предъявляемые им требования не ограничивались латинским языком. Нужно было настолько хорошо владеть греческим языком, чтобы свободно переводить с немецкого или латинского на греческий и обратно. Владение греческим языком и усвоение культурного наследия греков считалось наивысшей целью образования. Таков был неогуманистический идеал, классовая направленность которого еще не выявлена советской наукой. Как Медынский,⁶⁴ так и Фрумов,⁶⁵ занимавшиеся этим вопросом в последние годы, видят в неогуманизме прогрессивное учение, целью которого была реформа средней школы. Этим затушевывается классовый характер неогуманизма, его стремление к возведению средней школы как «школы ученых» („*Gelehrtschule*“) и университета на недостижимую для трудящихся масс высоту.⁶⁶ В Тартуском университете, где было много профессоров, владевших «элегантной» латынью, были позиции неогуманистов довольно сильны, хотя имелись и противники этого лжеидеала.⁶⁷

О значении и применимости порочного неогуманистского идеала велись в университете еще до основания Профессорского института, начиная с 1814 года, оживленные прения.⁶⁸ В то время, как один из столпов неогуманизма в университете, профессор Моргенштерн считал «элегантное» владение латинским языком предпосылкой всякой университетской учебы и предъявлял на приемных экзаменах студентам требования, которых сейчас профессора не решаются предъявлять даже оканчивающим отделения классической филологии, большинство профессором-медиков мирились с варварской латынью диссертаций докторантов. Из влиятельных профессоров бывший ректор Паррот был того мнения, что естественные науки должны быть признаны равноправными с идеалом неогуманизма и при выдающихся достижениях в области естественных наук нужно отказаться в оценке их от мерок неогуманизма. Ту же точку зрения поддерживал по сути дела и Г. Эверс, который, к тому же отмечал, что при решении этого вопроса нужно учесть общепринятое в России мнение, по которому стремление к идеалу неогуманизма является бессмыслен-

⁶⁴ Е. М. Медынский, *История педагогики*. I. 1947, стр. 257.

⁶⁵ С. А. Фрумов, *Западно-европейская школа XIX века (1800—1870)*. Очерки по истории педагогики. 1952, стр. 147 и сл.

⁶⁶ Эту классовую направленность неогуманизма, которую отказываются видеть созетские историки-педагогики, признают даже буржуазные историки. См.: W. Moog, *Geschichte d. Pädagogik*. 3. B., 1933, стр. 145.

⁶⁷ См. об этом: W. Süß, *Karl Morgenstern*. В. II. *Acta et commentationes universitatis Tartuensis (Dorpatensis)*. В. Humaniora. XIX. 1930 (в дальнейшем: W. Süß, *op. cit.*), стр. 164—174.

⁶⁸ Автору этих строк не удалось получить из библиотеки Тартуского университета соответствующего тома (ДСХХII) рукописного наследия Моргенштерна. Нижеследующее дается по материалам, приведенным у Зюсса (W. Süß, *Op. cit.*, стр. 165 и сл.).

ной роскошью. Благодаря влиянию этих профессоров, за весь период их деятельности в Тартуском университете оценка научных трудов и достижений в общем не ставилась в зависимость от мерок схоластического идеала неогуманизма.

Учеба Куторги в Профессорском институте шла с самого начала весьма успешно. Отчеты за первый семестр (II полугодие 1828 г.) свидетельствуют об отличных оценках на экзаменах.⁶⁹ Второй профессор классической филологии, Франке, который, в отличие от Моргенштерна, проводит в своих требованиях по классической филологии резкую грань между классическими филологами и историками и не требует от последних «элегантного» владения латинским языком, удовлетворен достижениями Куторги в области классической филологии. Очевидно, в связи с сложившимися обстоятельствами и принимая в учет отличную успеваемость воспитанников Профессорского института, с ними не проводили специальных занятий по латинскому языку, хотя ректор Эверс для этого даже подыскал подходящего преподавателя.⁷⁰ Профессор Крузе был также доволен прилежанием и усердием своих учеников-историков. Под его руководством проходила разработка и оформление на латинском языке первых рефератов этих воспитанников.

В области подготовки будущих историков Крузе ни в коем случае не был новатором. Эта подготовка методически сводилась у Крузе: 1) к чтению общих курсов всеобщей (древний мир, средние века и новое время) и русской истории на основе курсовых руководств (напр. „Atlas und Tabellen”), 2) к проведению в конце каждого семестра экзамена по прочитанным курсам и 3) к организации практических занятий и дискуссий на т. н. „historico-practico” и „Disputatorio”. В чем эти последние отличались друг от друга, о том документальные материалы не дают точных и исчерпывающих данных. В виду того, что Крузе неоднократно упоминает необходимость развертывания диспутов в интересах все того же неогуманистского лжеидеала, можно полагать, что взаимосвязь и различия рассматриваемых методов сводились к следующему: „historico-practico” соответствует практическим упражнениям советских университетов, и представляет собой тщательную проработку первоисточников и специальной литературы по теме.⁷¹ В то же время по планам „historico-practico” воспитанники составляли на латинском языке письменные рефераты, на которые профессорами давались подробные отзывы. По плану II семестра 1828 года Крузе предполагал требовать от воспитанников-историков кроме одного семестрового реферата еще в каждые 3—4 недели по одному короткому реферату, но, по всем дан-

⁶⁹ ЦГИА (Т), ф. 402, д. 512, стр. 96а—118б.

⁷⁰ Там же, д. 506, стр. 9а.

⁷¹ Там же, д. 512, стр. 209а: по древней истории; там же, д. 561, стр. 14а: по русской истории.

ным, ему не удалось осуществить этого плана,⁷² и в последующие семестры представлялись только семестровые рефераты. „Disputatorio” же означало обсуждение в виде дискуссии на латинском языке рефератов воспитанников. Из отчета Крузе⁷³ явствует, что на проведение дискуссии по одному реферату при участии в ней и самого руководителя им назначались два двухчасовых заседания. Семестровые рефераты, так же как их обсуждения, безусловно имели большое значение в подготовке специалистов-историков, и это в особенности еще и потому, что темы рефератов назначались по истории древней Греции и ее исторической географии,⁷⁴ по дисциплинам, в которых Крузе считался в то время лучшим знатоком. Участие Куторги в диспутах протекало с замечательным успехом. Если по поводу диспутов первого семестра, наряду с успешными выступлениями Куторги, отмечались в отчете недостатки в его собственном реферате, в особенности по части критики источников,⁷⁵ то уже в отчетах следующих семестров выражается безоговорочное признание его успехов, доходящее порой до прямого восхищения.

Из рефератов Куторги за эти семестры назовем в первую очередь его реферат о Троянском царстве, который был его первым самостоятельным научным трудом,⁷⁶ и реферат II семестра 1830 года о племенах древней Аттики, над которым он работает и в течение следующих двух лет (гг. 1831 и 1832), чтобы развить из него свою тартускую (латинскую) диссертацию 1832 года. Исследование Куторги о Троянском царстве, которое вызвало безоговорочное восхищение со стороны Крузе,⁷⁷ высказанное им в двух семестровых (за II сем. 1829 и I сем. 1830 года) отчетах и в специальном отзыве в апреле 1830 года по случаю предполагаемого представления этого труда Куторги министру народного просвещения. Труд этот, повидимому, не сохранился. Нет его ни среди документальных материалов Профессорского института,⁷⁸

⁷² ЦГИА(Т), ф. 402, д. 512, стр. 117а: согласно отчету в „Disputatorio”, обсуждался только один короткий реферат.

⁷³ Там же, д. 512, стр. 205b.

⁷⁴ Первой семестровой работой Куторги должен был быть реферат по истории Рима, о царе Тарквинии Приске, но эта тема, как видно из отчета Крузе за I семестр 1829 года, была заменена другой — „De Dorensium origine” (ЦГИА(Т), ф. 402, д. 512, стр. 117а и 205а).

⁷⁵ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 512, стр. 205b.

⁷⁶ Regni Troiani imprimis secundum Homerum descriptio. 80 стр. in-folio.

⁷⁷ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 526, стр. 24а и сл. и 26а + b „... die Arbeit als eine Erweiterung der Wissenschaft anzusehen ist...” В отчете за I сем. 1830 года (ibid., стр. 106а) он вновь возвращается к этому труду, отмечая: „... ich habe... nur das günstigste Urteil darüber fallen können.”

⁷⁸ В отчете Крузе за I сем. 1830 г. (ЦГИА(Т), ф. 402, д. 525, стр. 106а) отмечается, что особый экземпляр, снабженный картой, был представлен директору института для направления в Министерство народного просвещения; там же, стр. 278b, пишет Моргенштерн, что он возвращает это исследование Куторги для хранения в архиве института.

ни в собрании рукописей Моргенштерна.⁷⁹ Безрезультатными оказались также разыскания этого труда Куторги в фонде министерства народного просвещения, в Ленинградском центральном историческом архиве и в архиве Куторги. Вот почему единственным нашим источником, по которому мы можем судить об этом труде Куторги, являются вышеупомянутые отчеты Крузе. Из отчетов явствует, что Куторге удалось, при помощи конъюнктурной критики источников, используя для истолкования гомеровских текстов астрономические наблюдения, описания и картографические работы географов, уточнить расположение горных вершин: Котил и Гаргара.⁸⁰ Крузе, считавший себя исключительно хорошим знатоком такого рода исследований, очевидно, был особенно поражен тем, что Куторга смог даже внести уточнения в изданную самим Крузе карту древней Греции. Автору настоящего исследования не удалось установить, стало ли это выдающееся научное достижение двадцатилетнего Куторги известным в тогдашней науке, ибо возможно, что Крузе хотел сообщить об этом в III-ем томе своего „Hellas'a", который не был доведен до конца и издан.

Если этот труд Куторги и не стал известен науке, то он обеспечил ему всяческое поощрение со стороны Крузе, который организует ежедневные практические занятия по изучению первоисточников и литературы и проводит по субботам двухчасовые практические занятия в связи с курсом, который по плану читался воспитанникам.⁸¹ Куторге предоставляется возможность пользоваться не только литературой из университетской библиотеки, но и литературой, выписанной из Петербурга, Лейпцига и пр. Помимо того даются Куторге на использование выписки Крузе, сделанные им для своих собственных трудов.⁸² Заметные успехи делал Куторга и в области вспомогательных дисциплин, где даже придиричивый профессор географии и статистики Блюм неоднократно оценивал его познания на отлично.⁸³

⁷⁹ Моргенштерн, CCCCXVIII. „Professoren-Institut“: сохранилась лишь переписанная на бело рецензия Моргенштерна на эту работу Куторги.

⁸⁰ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 526, стр. 25а: в семестровом отчете за II сем. 1829 года: „Dadurch gelang es ihm, selbst Le Chevalier, Choiseul-Couffin und Barbie du Boccage zu berichtigen, durch die angewendeten astronomischen Beobachtungen Hauttier's die Umrisse dieser Gegend zuerst richtig darzustellen und selbst die Dunkelheit zu zerstreuen, die trotz der Untersuchungen über Cotylus und Gargara noch geschwebt hatten“; и в апрельском отчете 1830 года (ibid, стр. 26b): „... indem noch keiner vor ihm, so viele astronomische Observationen und terrestrische Ortsbestimmungen als der Verfasser bei der Darstellung dieser Gegend mit Sorgfalt benutzt hat, die Charte von Le Chevalier, Hell, Renkel, Barbie du Boccage und Arrowsmith nicht ausgenommen.“

⁸¹ Там же, д. 526, стр. 263а (в отчете за I сем. 1831 г.): „... fast, täglich eine Stunde aus den Originalquellen durchgenommen.“ Ibid., стр. 194b (в отчете за II сем. 1830 г.) двухчасовая Privatissima „... über die Quellen der Geschichte und der alten Geographie“.

⁸² Ibid., стр. 106b: „... Was er aus meinen Manuskripten benutzen konnte, die ich in Berlin und Göttingen aus dort existierenden und hier ganz fehlenden Werken gesammelt habe.“

⁸³ Там же, д. 526, стр. 21b.

Труд Куторги о Троянском царстве имеет значение и в том отношении, что в отзывах об этом исследовании поднимался также вопрос о необходимости повышения знаний и навыков его в области древних языков. Как было выше отмечено, специальная дополнительная учеба по латинскому и греческому языкам для воспитанников Профессорского института отпала, так как профессора классической филологии не сочли ее нужной.⁸⁴

С начала 1830-ых годов началось новое усиление позиций сторонников неогуманизма. В качестве академика уехал в 1826 году в Петербург Паррот, а в ноябре 1830 года умер ректор Эверс, трезвое отношение которых во многом ограничивало влияние неогуманистов и в университете. В том же 1830 году осенью умер профессор классической филологии Франке, который был вполне доволен успехами Куторги в области древних языков. В связи с этим обстоятельством надо принять во внимание, что деятельность Профессорского института в Тарту по плану должна была закончиться летом 1831 года, и после того университет по предписаниям министерства спешит с окончанием работы в институте. В мае 1832 года Куторга сдает экзамены на ученую степень, в ноябре представляет факультету свою диссертацию и в декабре защищает ее на заседании совета факультета.

Крузе, который был убежденным сторонником неогуманистического лжеидеала, первый указал на неподготовленность Куторги в этом отношении. Уже в первом своем отзыве об исследовании Куторги о Троянском царстве, он признает, что латинский язык этого труда с большими изъянами,⁸⁵ но высказывает при этом мнение, что это можно исправить путем интенсивного изучения древних языков. В отчете следующего семестра (I сем. 1830 г.) Крузе еще оптимистичен и находит, что новая семестровая работа Куторги написана уже на лучшем латинском языке.⁸⁶ Но суждения столпов неогуманизма, в особенности отзыв Моргенштерна о языке и стиле исследования Куторги, в которых игнорируется ценность содержания исследования и работа рассматривается лишь как упражнение в латинском языке, заставляет Крузе энергично действовать в интересах Куторги. Уже в конце января 1831 г. он требует, чтобы Куторгу (и его товарища по институту, Лунина) проэкзаменовали по классической филологии для проверки их подготовленности к «строгому экзамену», и упорно добивается введения специальных занятий по латинскому и греческому языкам.⁸⁷ Побуждает он также и самих воспитан-

⁸⁴ Кроме Франке был еще во II сем. 1829 года того же мнения Моргенштерн, хотя он был уже тогда знаком с каким-то рефератом Куторги, написанным на латинском языке. См. Моргенштерн, СССXIVII, где имеется об этом черновая заметка, которая датирована 30 сент. 1829 г.

⁸⁵ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 526, стр. 26а: „Was aber die Latinität des Verfassers anblangt: so ist diese noch sehr der Verbesserung bedürftig.“

⁸⁶ Там же, д. 526, стр. 106b.

⁸⁷ Там же, д. 526, стр. 172а и 187а + b.

ников энергично действовать в этом направлении.⁸⁸ При посредничестве директора Профессорского института Крузе ведет длительную переписку с Моргенштерном об этих специальных занятиях⁸⁹ и домогается, чтобы эти занятия проводились самим Моргенштерном. Из переписки явствует, что Моргенштерн считает для себя унижительным заниматься элементарным курсом латинской и греческой грамматики и стилистики и признает после экзаменирования специальное обучение излишним. В странном освещении выступает во всем деле о присуждении Куторге ученой степени преемник Эверса в должности ректора Фр. Паррот (младший). То, что у него не доставало авторитета для выступления против домогательств неогуманистов, было еще не самым большим злом. Хуже было то равнодушие, с которым он отнесся к вопросу о специальной учебе, обосновывая это свое отношение в начале 1831 г. отсутствием средств у университета,⁹⁰ что едва ли было обоснованным, поскольку преподаватель, намеченный для этой работы Эверсом, К. Фрейтаг,⁹¹ был согласен провести это обучение за низкую почасовую плату.⁹² При этих обстоятельствах Куторге (и Луину) было предписано совершенствоваться в древних языках в педагогико-филологической семинарии, работающей при университете под руководством Моргенштерна с целью подготовки учителей древних языков средней школы.⁹³

Работа в семинарии, которая продолжалась и в последующие семестры, не смогла дать должных результатов, и в начале II-го семестра 1831 г. Моргенштерн делает предложение организовать под руководством К. Фрейтага специальное обучение латинскому и греческому языкам.⁹⁴ Фрейтаг руководил этими занятиями лишь в течение двух семестров⁹⁵ и достиг в учебе настолько хороших результатов, что уже в отчете за II-ой семестр 1831 г. Моргенштерн высказывает свое полное удовлетворение относительно сделанных успехов.⁹⁶

При таких обстоятельствах являлось до известной степени неожиданностью возникновение в 1832 году вопроса о присуждении Куторга ученой степени („Kutorgas Grad-Angelegenheit“). Перед тем, как приступить к обсуждению этого вопроса, необходимо сказать несколько слов о ведущих неогуманистах в университете в начале 1830-ых годов. Моргенштерн, который в предшествующие десятилетия был знаменосцем этого неогуманисти-

⁸⁸ См. письмо Моргенштерна от 19 февр. 1831 г. по этому делу к директору Профессорского института (ЦГИА(Т.), д. 526, стр. 188b).

⁸⁹ Там же, стр. 187a + b; 188a—189; 202a + b.

⁹⁰ Там же, д. 526, стр. 182b.

⁹¹ Он был впоследствии долгие годы профессором классической филологии Петербургского университета.

⁹² ЦГИА(Т), ф. 402, д. 506, стр. 9a.

⁹³ Там же, стр. 172a; 187a—189b.

⁹⁴ Там же, стр. 242b.

⁹⁵ Там же, д. 561, стр. 20a + b; 68a + b.

⁹⁶ Там же, д. 561, стр. 10a.

ческого лжеидеала, рано одряхлел и превратился в послушное орудие в руках умелых интриганов, которые сумели подсовывать ему свою точку зрения.⁹⁷ Таким интриганом, использующим Моргенштерна, чтобы провести гонение на все новое, прогрессивное, и для личной мести, был профессор географии и статистики Блюм. У него уже в начале первого семестра 1831 года был по каким-то причинам конфликт с воспитанниками Профессорского института, которые отказывались посещать его курс лекций о Демосфене.⁹⁸ Этот отказ воспитанников вызвал сильное негодование у мстительного и мнительного Блюма, которое почему-то направлено в особенности против Куторги. Работа Куторги о Троянском царстве, вызвавшая вполне обоснованное восхищение у Крузе, называется Блюмом притом настолько убогой, что за нее в Германии гимназист был бы переведен из секунды обратно в терцию.⁹⁹ В связи с этим конфликтом Блюм натравливает Моргенштерна на Куторгу, но пока безрезультатно.

В мае-июне 1832 г. Куторга сдавал экзамен на степень, который должен был иметь решающее значение в присуждении ученой степени, поскольку получаемыми на экзамене оценками предreshался вопрос о присуждении воспитаннику института ученой степени доктора или магистра наук. Об обсуждении этого вопроса на факультете дают обильные данные затребованные деканом письменные вотумы профессоров, которые, по обычаю того времени, заменяли обсуждение вопроса на заседании совета факультета. В своих вотумах Крузе доказывал на основании сравнительной таблицы оценок, полученных воспитанниками института на «строгом экзамене», что Куторга лучше всех сдал экзамены и только по двум вопросам дополнительных для него дисциплин Моргенштерна получил наиболее низкие оценки „satis bene”, что Моргенштерн переводил, как «довольно хорошо».¹⁰⁰ Не осталась безрезультатной для Куторги интенсивная работа по грамматике и стилистике древних языков. Составленные на латинском языке письменные ответы по древней истории, хотя их надо было составить в очень короткий срок времени,¹⁰¹ были с точки зрения языка настолько безупречными, что Моргенштерн признал их почти хорошими.¹⁰² По указанным обстоятельствам приобрел центральное значение в вопросе о присуждении Куторге ученой степени новый конфликт с проф. Блюмом и оценка, которую дал проф. Блюм на экзаменах по своим вспомогательным дисципли-

⁹⁷ См. об этом (на основании воспоминаний Андерса и др. материалов): W. Süß, *op. cit.*, в особенности, стр. 178 и сл.

⁹⁸ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 526, стр. 174а + б.

⁹⁹ Нумерация классов гимназии началась с шестого (*sexta*) класса и кончалась первым (*prima*) классом. Секунда и терция были по этой нумерации пятым и четвертым классом.

¹⁰⁰ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 14036, стр. 35а.

¹⁰¹ Там же, д. 14036, стр. 31b — Куторга пишет в конце своей работы: „... quae de variis reipublicae formis tam breve tempore dici poterant.”

¹⁰² Там же, д. 14036, стр. 35а.

нам (статистика и география). В актах не отражены подробности этого нового конфликта между Куторгой и Блюмом. Конфликт этот произошел, очевидно, на базе борьбы реакции против нового, прогрессивного и высказался в критическом отношении Куторги к профессору-реакционеру, переоценивающему свои познания и авторитет. Это видно из необычной общей характеристики Куторги в сводном отчете за I семестр 1832 г.¹⁰³ (т. е. за семестр, когда происходил конфликт между Куторгой и Блюмом). В ней говорится, что Куторга имеет слишком высокое мнение о своих убеждениях и о своих умственных способностях. Вследствие этого конфликта Блюм оценивает ответы Куторги на все экзаменационные вопросы одной и той же отметкой «хорошо», что не встречается больше в экзаменационных актах 1832 года в оценках ни у одного экзаменатора (в том числе и у самого Блюма) по отношению к другим воспитанникам. По случаю этой несправедливой оценки со стороны Блюма нужно учесть, что он на семестровых экзаменах оценивал познания Куторги по тем же дисциплинам на «отлично» и что среди вопросов экзамена на степень был легкий для Куторги вопрос об исторической географии Геродота, который он досконально изучил в связи с предшествующими своими научными работами. Верхом несправедливости было примечание Блюма к экзаменационному протоколу,¹⁰⁴ согласно которому отметки «хорошо» поставлены в качестве оценки знаний Куторги на экзамене. Способ же изложения этих познаний будто бы показывал отсутствие у него способности суждения. Это примечание Блюма и стало в востумах профессорско-неогуманистов факультета основным аргументом против предложения Крузе присудить Куторге степень доктора наук и в пользу сделанного Моргенштерном предложения присудить ему степень магистра.¹⁰⁵ Неудачной оказалась и попытка Моргенштерна обосновать свое предложение тем, что Куторга получил от него отметки «довольно хорошо», так как было доказано, что Моргенштерн не раз выставлял такие отметки классическим филологам по тем же (для филологов притом основным) дисциплинам и этим филологам решено было дать степень доктора наук.¹⁰⁶ Вот почему и нам не остается ничего иного, как присоединиться к мнению беспристрастного и трезвого участника этой дискуссии, знаменитого профессора астрономии В. Струве, который пишет в своем востуме, что он не видит никаких доводов, на основании которых

¹⁰³ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 561, стр. 78а. Обычно сводный отчет повторяет коротко, по возможности дословно, текст семестровых отчетов профессоров. Для вышеприводимой характеристики не дают отчеты профессоров никаких данных.

¹⁰⁴ Там же, д. 14036, стр. 10а.

¹⁰⁵ Там же, стр. 34а + б.

¹⁰⁶ Степень доктора наук получил и владевший «элегантным» латинским языком историк М. Луинн, несмотря на то, что он по одному вопросу получил от Моргенштерна отметку «удовлетворительно» („non male“).

можно было бы отказаться от присуждения Куторге степени доктора наук.¹⁰⁷

При попустительстве ректора Паррота Блюму как декану факультета удалось провести предложение неогуманистов простым большинством голосов на совете одного из отделений философского факультета.¹⁰⁸ Результатом этого несправедливого по отношению к Куторге решения факультета было возникновение т. н. дела «о присуждении Куторге научной степени» в виде повторных ходатайств об изменении этого решения. Эти ходатайства обсуждаются в совете факультета уже начиная с октября 1832 года. Куторга, который 15-го декабря защитил свою диссертацию, представил в январе 1833 года два прошения,¹⁰⁹ в которых он заявляет свое желание отказаться от специальности (древняя история), чтобы вместо заграничной поездки подготовить в течение одного года в Петербурге под руководством академика Круга докторскую диссертацию по русской истории. Единодушно отклонив эти прошения Куторги, факультет направил его за границу для работы по избранной специальности и совершенствования в классической филологии. Из материалов, которые были в моем распоряжении, не видно, какие именно были у Куторги связи с академиком Кругом и что он еще предпринял, чтобы за счет времени заграничной командировки поработать в Петербурге. О прочности этих связей можно судить по тому, что Куторга в мае 1833 года все еще надеялся переехать в Петербург.¹¹⁰

Своеобразным моментом затянувшегося на столь долгий срок обсуждения вопроса о присуждении Куторге ученой степени является то, что в нем ни разу не упоминается его диссертация. Между тем именно эта работа была в течение многих десятилетий признана одним из основных трудов по истории древних Афин.¹¹¹

¹⁰⁷ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 14036, стр. 35b.

¹⁰⁸ Философский факультет делился на I-ый и III-ий (историко-филологические) классы и на II-ой и IV-ый (в основном физико-математические) классы. Решение о присуждении степени магистра было не без умысла проведено на совете I-го и III-го классов, после того как производилось не предвещающее для неогуманистов ничего хорошего представление письменных вотумов профессорами всего факультета.

¹⁰⁹ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 518, стр. 31b; д. 561, стр. 204a + b.

¹¹⁰ См. архиз Куторги 5: в неоконченном письме из Берлина от 8 июня 1833 года, написанном, по всей вероятности, старшему брату — Степану Семёновичу Куторге (С. С. Куторга учился одновременно с братом в Профессорском институте в Тарту, но за границу в 1833 году не поехал из-за участия в биологической экспедиции на юге России), Куторга пишет, что заграничная командировка «для меня была неожиданностью в высшей степени, ибо я надеялся уехать в Петербург...»

¹¹¹ См. Бузескул, Всеобщая история, стр. 101: Бузескул безусловно прав, утверждая, что эта работа была «...долгое время одной из основных...» Из списка приводимых Бузескулом авторов, которые это утверждают, нужно выключить Бузольта, поскольку он (см. Busolt, Griechische Geschichte II, 1895, стр. 66) диссертацию Куторги приводит только в списке трудов, имеющих историческое значение. По данным переписки Куторги с друзьями, ими особенно ценились в этом отношении высказывания: Хаазе

Исследования о племенах древней Аттики были в течение долгого времени главным объектом работы Куторги, и этими работами он завоевал общее признание в современной ему науке. Первой сводкой этих исследований и была латинская тартуская диссертация, в которой, опираясь на данные остроумной и умелой конъектурной критики ономастика Поллукса, он доказывает, что названия 4 племен древней Аттики, которые у Поллукса связываются с именами мифологических королей, следует рассматривать, как основные названия этих племен; как названия по округам, которыми они завладели; как названия по божествам, которым они поклонялись и пр. На первый взгляд кажется странным, что такой специалист с громадной эрудицией, каковым был Крузе, который в свое время восхищался исследованием Куторги о Троянском царстве, умолчал о работе, имеющей столь большое значение для науки того времени. Для уяснения этого следует напомнить, как сам Крузе трактовал вопрос о древнеаттических племенах в своем основном труде.¹¹² Там названия древнеаттических племен приводятся, как какие-то элементы различных мифов, без малейшей попытки выяснить историческое, научное значение этих элементов. Ясно, что Крузе, который признавал исследования Куторги только с точки зрения буржуазного эрудита, не смог понять значения нового и ценного в достижениях своего ученика. Удивительным может показаться и то, что диссертация Куторги так мала по своему объему — всего 48 страниц.¹¹³ Здесь нужно учесть, что пути неогуманизма не позволяли диссертантам того времени расписаться вширь и довести свой труд до естественных, как нам кажется, размеров. Во всяком случае, ученых того времени не удивляли столь малые размеры даже выдающихся по содержанию трудов, каковой была и диссертация Куторги. Объем в 48 страниц была предписана министерством народного просвещения, которое лишь в таких размерах соглашалось покрыть расходы печатания.

К проблемам, развитым в диссертации, Куторга снова возвращается в своей статье, напечатанной на немецком языке в журнале Петербургской академии наук в 1851 г.¹¹⁴ Здесь он пока-

(в «*Athenische Stammesverfassung*», 1857. См. Стасюлевич — Куторге 3 авг. 1857 г. Стасюлевич, *op. cit.*, стр. 271) и известного классического филолога Лобека (Прейсе—Куторге, 27 апр. 1840 г. Материалы истории славяноведения. 1892, стр. 25).

¹¹² К р у з е, *Hellas I*, стр. 503 и сл.

¹¹³ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 526, стр. 318а + б: Из этих материалов явствует, что факультет намеревался затребовать: 1) сводку труда в размере 3-х печатных листов, которая должна была быть напечатана, и 2) полную рукопись работы. Но у нас нет никаких данных о том, что это решение о представлении полной рукописи было бы официально утверждено. Во всяком случае ее ни от кого не требовали и диссертантами представлялась только рукопись (с приложением к ней тезисов), предназначенная для печати.

¹¹⁴ *Beiträge zur Erklärung der vier ältesten attischen Phylen*. Bulletin de la classe historique-philologique de l'Académie des sciences de St.-Petersbourg. VIII. 1851. pp. 87—96.

зывает, опираясь на вновь открытые эпитафические надписи, что гипотеза, выдвинутая им в диссертации 1832 года, доказана. Труды Куторги первых лет его пребывания в Петербурге¹¹⁵ углубляют и развивают дальше ту сравнительно-историческую концепцию, которая установилась у него, как будет показано ниже, под влиянием Гизо уже в Тарту и которая впервые им была сформулирована в диссертации 1832 года.¹¹⁶ Следствием этой упорной работы было учение Куторги о расовой (классовой) борьбе, как об основном факторе в развитии древних Афин, которое он развил в своей петербургской диссертации 1838 г. Развернутый анализ этого учения не входит в рамки настоящей исследования. Так как концепция классовой борьбы, эта наиболее прогрессивная теория буржуазной историографии I половины XIX века, была развита Тьерри и даже Гизо только в отношении истории французского и отчасти английского народа в условиях феодализма,¹¹⁷ то попытка Куторги применить это учение на основании развитого им сравнительно-исторического метода к объяснению развития рабовладельческого строя поднимало это учение на новую, высшую ступень. Что это учение не нашло должного отклика у историков античности того времени, увязших в изучении мелочей и превозносивших класс античных рабовладельцев и достижения его культуры, понятно без дальнейших объяснений.

С точки зрения марксистской методологии эта основная историческая концепция молодого Куторги, конечно, неверна. Возникшая в тот период развития буржуазной науки, когда последняя делала лишь свои первые шаги на пути исследования данного вопроса,¹¹⁸ трактовка Куторги неизбежно должна была быть ошибочной. Как показывает Энгельс, главным недостатком буржуазной исторической теории того времени было то, что буржуазные историки в роде «... видели... группу семей и в силу этого не

¹¹⁵ «Политическое устройство германцев». 1837 и «Колена и сословия аттические», 1838. Последнее исследование было, как показано выше, докторской диссертацией Куторги. Оба эти исследования настолько тесно связаны друг с другом, что во французском переводе (см. М. Koutorga. Essai sur l'organisation de la tribu, 1839), они издавались вместе в одной книге.

¹¹⁶ В виду того, что в историографической литературе о Куторге нет никаких упоминаний о сравнительно-исторических установках Куторги до его заграничной командировки и диссертация 1832 г. стала совсем малодоступной, поскольку она имеется только в больших книгохранилищах, приводим два первых тезиса этой диссертации (М. Koutorga, De antiquissimis tribubus atticis. 1832, стр. 47): „I. Populorum historiam considerantes, intellegimus, omnes populos secundum leges quasdam certas ut ad rem litterariam, ita ad rem publicam exולי atque varias emetiri, vitae periodos, sive aetates; quae leges quia immutabiles sunt, periodi etiam, sive aetates ita necessariae sunt atque stabiles, ut nulla gens eas migrare possit. II. Hae vero leges quia omnibus gentibus communis sunt, omnium gentium res publica aequaliter excolitur, quamvis singularum rerum species varia sit. Quae leges historicam constituunt veritatem, eas vero ediscere summus historici finis est.

¹¹⁷ См. Алпатов, *op. cit.*, стр. 54—131.

¹¹⁸ См. об этом в особенности: Косвен, *Матриархат*, 1949, стр. 86—105.

могли понять природу и происхождение рода»,¹¹⁹ старались показать, что «... моногамная отдельная семья... была тем ядром, вокруг которого постепенно кристаллизовалось общество и государство».¹²⁰ Порочной и глубоко неверной, наконец, является и та основная установка теории классовой борьбы, по которой возникновение новой антагонистической формации сводится к единовременному акту завладения территорией какой-либо страны племенем (расой) завоевателей, которое тем самым становится господствующим классом, порабощающим туземные племена, в то время как нам известно, что возникновению новой формации предшествует длительный процесс развития новых производственных отношений в рамках старой формации и актом перехода к новой формации является не какое-нибудь завоевание, а революция трудящихся масс.

Закончив этим рассмотрение вопроса о диссертации Куторги, постараемся сделать сводку о значении тартуского периода в развитии нашего Куторги. Порочная и ошибочная во многом буржуазная историография о Куторге права, выдвигая в качестве наиболее выдающегося достижения его диссертацию 1832 года. Достижения Куторги, как мы видели, не ограничились этой диссертацией, и ей предшествовала работа о Троянском царстве, которую следует считать первой выдающейся научной работой Куторги. Здесь в Тарту из Куторги сформировался мастер исследования истории древней Греции, который умел соединять исчерпывающее использование данных первоисточников и литературы с выдвижением и разработкой новых смелых гипотез. То, что он уже в тартуский период перерос не только своего руководителя Крузе, но и большинство других современных ему немецких ученых, видно из того, что он не считал нужным работать за границей под руководством какого-либо специалиста по античной истории. Это сознание превосходства было характерно для него до конца жизни.¹²¹ В Тарту Куторга заложил основание своей обширной эрудиции. Для ученика Крузе было совершенно естественно, что он исчерпывающе знал первоисточники и историческую науку об античности. Письменные работы на «строгом экзамене» 1832 года показывают кроме того его более чем основательные знания в области русской истории.¹²²

Одной из наиболее порочных установок буржуазной историографии о Куторге является впервые сформулированное Бауером и вслед за ним без нужной проверки повторяемое и другими авторами утверждение о том, что будто бы лишь за границей Куторга познакомился с учением Нибура и там усвоил сравнительно-

¹¹⁹ Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс, Ф. Энгельс, Избранные произведения II, 1948, стр. 242.

¹²⁰ Там же, стр. 243.

¹²¹ См. о том: Бузескул, Введение, стр. 304, ср. и Бузескул, Всеобщая история, стр. 108.

¹²² ЦГИА(Т), ф. 402, д. 14036, стр. 21а—24б.

исторический метод и учение его школы, так как это учение нибуровской школы было совершенно неизвестно в Петербурге и было будто бы мало известно в Тартуском университете.¹²³ К сожалению, в этом отношении не безупречно и новейшее исследование о Куторге.¹²⁴ Вместо того, чтобы доказать, что Куторга не был сторонником метода Нибура, автор этого очерка, Алпатов, приводит в качестве доказательства отличия историографических установок молодого Куторги от сравнительно-исторического метода Нибура данные, извлеченные из написанных в старости и посмертно изданных трудов Куторги, а то, что Куторга усвоил и развил дальше учение Гизо, «доказывается» лишь указанием на запись в дневнике Чернышевского от 1848 года, что также ничего не доказывает. Сторонники этой порочной установки Бауера могли бы сами убедиться в несостоятельности этого утверждения, если бы они бегло познакомились с диссертацией 1832 г., в которой Куторга, не только многократно цитируя и ссылаясь на труды Нибура и его (а также Бека) лучших учеников, показывает исчерпывающее использование этих работ, но в последнем (VIII-ом) тезисе¹²⁵ даже высказывает свое отрицательное отношение к известному учению К. О. Миллера об автохтонности греческой культуры. Еще яснее станет необоснованность этого утверждения при ознакомлении с экзаменационными материалами Куторги, из которых видно, что Куторга не только цитирует труды Нибура и его школы, но и отвечает на заданный ему специальный вопрос об учении Нибура.¹²⁶ Неправильность этого утверждения историографии о Куторге, наконец, явствует и из того, что сам Куторга в пятом тезисе, приложенном к диссертации 1832 г., называет в первую очередь Гизо историком, который, по его мнению, как основоположник сравнительно-исторического метода далеко превосходит всех прежних историков.¹²⁷ Что Нибура был не только хорошо известен в Тартуском университете, но его «Римская История» (т. I и II) усердно изучалась даже рядовыми студентами, видно из ведомости о выдаче книг из библиотеки.¹²⁸ Из ее материалов явствует, что Нибура был в годы пребывания Куторги в Тарту наиболее изучаемым автором-историком. Те же материалы показывают, что из ведущих историков именно Гизо был мало известным автором в Тартуском универси-

¹²³ Григорьев, *op. cit.*, стр. 214.

¹²⁴ Алпатов, М. С. Куторга, стр. 475 и сл.

¹²⁵ Kutorga, *De antiquis tribubus atticis*, стр. 48.

¹²⁶ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 14036, стр. 2а: Вопрос Моргенштерна: „Niebuhrri quaenam potissimum sunt merita de Antiquitatibus Romanis? Quibusnam maxime in rebus conspicua?“ с оценкой „intelligententer responsit“.

¹²⁷ Kutorga, *op. cit.*, стр. 48: V: „Igitur recentissimi historici: Quizotius in opere: Histoire de la civilisation en France Hallamus in medii aevi historia et nonnulli alii qui leges, quarum in prima nostra atque secunda thesi mentio fit, operibus suis explicarunt, quique singularum rerum gestarum inter se et cum tota re publica nexum sive concentium monstrarunt, omnibus antiquis historicis superiores sunt.“

¹²⁸ Архив библиотеки ТГУ 215.

тете, поскольку оба его основные труды¹²⁹ брал для изучения только Куторга, и кроме него по одному разу этими трудами пользовались два профессора.

Когда в мае 1833 г. Куторга уезжал из Тарту в заграничную командировку, он был уже не юношей, ищущим себе руководителя для дальнейшей работы, но рано сформировавшимся ученым, радующимся освобождению от того гнета и воздействия, которому он подвергался в Тарту.¹³⁰ В полном соответствии со всем ранее изложенным составил Куторга летом 1833 г. по прибытии в Берлин свой план работ на время заграничной командировки.¹³¹ По этому плану Куторга намеревался: 1) посетить по возможности все лекции по истории, читаемые в Берлинском университете, чтобы познакомиться с учебными методами профессорско-преподавательского состава, 2) наладить личный контакт с этими профессорами (для той же цели) и 3) работать в королевской библиотеке, изучая литературу и первоисточники.

Прежде чем перейти к рассмотрению существа занятий и работ Куторги во время заграничной командировки нужно разобраться в путанице правды и неправды, которую в виде списка городов и университетов, где работал и жил Куторга во время заграничной командировки, дают все без исключения буржуазные и вслед за ними и советские авторы. И на этот раз путаницу в историографии о Куторге создал Бауер,¹³² по формулировке которого Куторга слушал лекции в Париже, Гейдельберге, Мюнхене, а главным образом в Берлине. В несостоятельности этого утверждения Бауер мог бы сам убедиться, если бы он обратил внимание на четкое и ясное объяснение самого Куторги, данное в предисловии труда, над составлением которого он работал во время заграничной командировки.¹³³ В нем Куторга пишет, что он работал в библиотеках Берлина, Вены и Мюнхена и его заграничная командировка ограничилась пребыванием в Германии (т. е. в Германском союзе).

По этому вопросу можно получить полную ясность при помощи архивных материалов. Из них видно, что вопрос о месте работы во время заграничной командировки, которая по плану Профессорского института должна была длиться два года, стал актуальным во II сем. 1832 года. Тогда именно факультет решил по предложению Крузе направить воспитанников-историков в Лейпциг и

¹²⁹ „Histoire de la civilisation en Europe” и „Histoire de la civilisation en France”.

¹³⁰ В цитированном выше письме к брату от 8 июня 1833 г. он говорит: «... странная судьба моя: в Дерпте все меня теснили, гнали, но только лишь я выехал из него, как будто величественно все переменилось».

¹³¹ ЦГИА (Л), ф. 733, д. 45690, стр. 83а.

¹³² Григорьев, *op. cit.*, стр. 214.

¹³³ М. Куторга, Политическое устройство германцев, стр. 2: «Двухлетнее пребывание мое в Германии доставило мне драгоценные материалы для этого предприятия, особенно в библиотеках Берлина, Вены и Мюнхена...»

Геттинген.¹³⁴ В дальнейшем, однако, выясняется, что министр Ливен считал запрос университету по этому делу за чистую формальность и вопрос этот еще до прибытия ответа университета в Петербург был на основании доклада министра решен царем таким образом, что местом работы во время командировки был назначен Берлин.¹³⁵ Ректор Паррот не имел достаточного авторитета, чтобы провести изменения в решении университета по этому вопросу, согласно «видам» высшего начальства, и поэтому вопрос этот окончательно был сформулирован университетом так: в Лейпциг и Геттинген или Берлин.¹³⁶ По предписанию министра, всех воспитанников Профессорского института направили из Тарту в Берлин.¹³⁷ В Риге произошли изменения в дальнейшем пути в том смысле, что Куторге, по его словам, пришла идея ехать в Берлин морем через Копенгаген, и он уговорил ехать вместе с ним группу товарищей по институту.¹³⁸ Пребывание в Копенгагене было довольно продолжительным, так как Куторга там посетил библиотеки и музеи, познакомился с профессорами университета и даже прослушал несколько их лекций на латинском языке.

В Берлин Куторга прибыл, очевидно, в начале июня 1833 г.¹³⁹ и проработал там до конца зимнего семестра 1834/35 г., причем, как будет показано ниже, только один раз покинул Берлин приблизительно на 3 месяца. Выбор Берлина для места работ во время заграничной командировки воспитанников Профессорского института не был прихотью царского бюрократа, министра Ливена, но всесторонне продуманным шагом со стороны реакционного царского режима для предотвращения «заражения» этих воспитанников либеральными идеями. В этом отношении для царской власти были неприемлемы из-за июльской революции 1830 года и последующих революций в Ганновере и Саксонии не только Париж, но и Геттинген и Лейпциг.

В Берлине воспитанников ожидали строжайший надзор и раз-

¹³⁴ ЦГИА(Т), ф. 402, д. 518, стр. 20а: 18 октября 1832 г.

¹³⁵ Там же, стр. 26а + б: в письме ректора из Петербурга от 5 ноября 1832 г.: „... fürs Erste nur Berlin zu wählen sei...“ с модификацией для математиков: „... nötigenfalls ausserdem auch Königsberg“ и для медиков: „... vielleicht noch Wien zu besuchen gestattet werden würde“.

¹³⁶ Там же, д. 518, стр. 209б.

¹³⁷ Там же, стр. 332а: 3 мая 1833 года.

¹³⁸ Архив Куторги 5. Письмо к брату, С. С. Куторге от 8 июня 1833 г. См. также семестровый отчет Куторги министру народного просвещения от 19 дек. 1833 г. (ЦГИА(Л), ф. 733, д. 45690, стр. 83а). В эту группу воспитанников по всей вероятности входили: Н. И. Пирогов, описавший поезд из Риги в Копенгаген в своих воспоминаниях (Пирогов, *op. cit.*, стр. 349 и сл.), и историк М. Луний, который в связи с этим пребыванием в Копенгагене мог быть избран членом общества северных антиквариев (см. Бузескул, *Всеобщая история*, стр. 82, прим. 1).

¹³⁹ Уже во упомянутом много раз неоконченном письме к брату от 8 июня 1833 г. он пишет о путешествии в Берлин, как о чем-то только что законченном. Само письмо написано на почтовой бумаге с фронтисписом здания Берлинской королевской библиотеки, которую Куторга мог купить во время первых посещений этой библиотеки.

ветвленная система слежки. Особенно строго следили, между прочим, за тем, чтобы никто из воспитанников даже во время каникул не покинул бы Берлин.¹⁴⁰ В Берлине воспитанников ждал в качестве надзирателя, выбранного Ливеном, ханжа, обскурант и низкопоклонник царского правительства проф. Кранихфельд.¹⁴¹ К счастью, надзирательство Кранихфельда продолжалось всего около полугода, а его преемник генерал Мансуров по лености своей ограничивался лишь составлением наиболее необходимых отчетов и писем министру народного просвещения.

Работа в Берлине не удовлетворяла Куторгу, и у него возник в связи с этим конфликт с начальством в зимнем семестре 1833/1834 г. В декабре 1833 г. он представляет свой семестровый отчет, в котором выражает разочарование относительно условий работы в Берлине и просит разрешения переехать на работу в Мюнхен и Париж, причем последний из них называется важнейшим центром исторической науки в Европе.¹⁴² Это мнение, отражающее сложившиеся у Куторги во время учебы в Тарту убеждения, что труды Гизо, Тьерри и других представителей школы классовой борьбы являются высшим достижением исторической науки, вместе с пожеланием переехать на работу в Париж было встречено в министерстве народного просвещения с неприязнью и растерянностью, и вопрос так и не был решен.¹⁴³ Разочарованный безрезультатностью предыдущего прошения, Куторга в апреле 1834 года подает новое прошение,¹⁴⁴ в котором под предлогом оказания помощи своей матери в хозяйственных делах высказывает свое желание переехать в Петербург, чтобы работать там под руководством академика Круга по русской истории; в этом было также отказано. Очевидно, в какой-то связи с этими обстоятельствами ему было разрешено Мансуровым до конца летнего

¹⁴⁰ Учебный год в университетах Германии подразделялся на летний семестр, который начинался 1-го мая, и зимний, начинавшийся 1 ноября. Каникулы между семестрами продолжались около одного месяца. О затребовании особенного разрешения из Петербурга на поездку во время каникул см. ЦГИА(Л), ф. 733, д. 45690, стр. 20а (воспитаннику Лапшину), стр. 46 (Лунину) и т. д.

¹⁴¹ Об ханжестве и низкопоклонстве Кранихфельда см. напр. ЦГИА(Л), ф. 733, д. 45690, стр. 40а—50а. Об обскурантизме его в донесении воспитанника Крюкова (там же, стр. 88а), который говорит, что Кранихфельд утверждал «... что мегалл платина и дух суть две противоположности, что движение земли около оси происходит от насыщения животных на одном полушарии и тошения на другом...»

¹⁴² ЦГИА(Л), ф. 733, д. 45690, стр. 84а: «Но если я должен назвать место, где в настоящее время процветают науки, то это есть бесспорно Париж. Не говоря о библиотеке и прочих пособиях, самых богатейших в целой Европе, не упоминая об известном Гизо, из профессоров истории возвышенного в звание министра, мне стоит только назвать Тьерри, Капфига, Ноде, Монтеля, Мишле ... чтобы подкрепить свое мнение...»

¹⁴³ Там же, стр. 89а + б.

¹⁴⁴ Там же, д. 48320, стр. 2а + б.

семестра 1834 года поехать в Италию, что он и сделал в первых числах августа.¹⁴⁵

В Италию Куторга так и не попал, так как уже в Вене тяжело заболел оспой. В виду того, что, по донесению самого Куторги, он был болен в течение 50 дней,¹⁴⁶ а Мансуров пишет в донесении министру, что болезнь эта длилась 3 месяца¹⁴⁷ (он подразумевает, очевидно, время отлучки Куторги из Берлина), получается разница во времени около полутора месяцев, которую Куторга и мог использовать для работы в библиотеках Вены и на обратном пути в Берлин также и в Мюнхене, о чем он сам пишет в вышеупомянутом предисловии к «Политическому устройству германцев». В пользу этого предположения говорит и мнение Куторги о Мюнхене, высказанное им уже в семестровом отчете от 19 декабря 1833 года.¹⁴⁸ Принимая во внимание, что промежуток времени был сравнительно коротким, и физическую истощенность Куторги после тяжелой болезни, представляется мало вероятным, что у него была возможность посетить Гейдельберг, который, кстати сказать, ему был не по пути. Поэтому соответствующее предположение Бауера придется, как маловероятное, отклонить. Совершенно исключена возможность посещения Куторгой Парижа. Туда он попал впервые и связался лично с так высоко чтимым им Гизо во время следующей поездки за границу в конце 1838 года.¹⁴⁹

Таким образом, работа Куторги во время заграничной командировки происходила в основном в Берлине. Об этой работе сохранились его отчеты за три семестра.¹⁵⁰ Из этих отчетов видно,

¹⁴⁵ Как видно из письма Стасюлевича к Куторге от 5 августа 1857 г. (Стасюлевич, *op. cit.*, стр. 299) Куторга во время этого путешествия был в Праге 6 августа (этим числом датирована его запись в альбоме известного деятеля чешского национального движения Ганки).

¹⁴⁶ ЦГИА (Л), ф. 733, д. 48432, стр. 3а: Куторга пишет в этом донесении, что он был болен с 10 августа до 29 сентября и в течение 15 дней был лишен зрения и лежал без памяти.

¹⁴⁷ Там же, стр. 1а „... cette maladie accompagnée de symptômes de grande malignité l'a retenu pendant trois mois”. Во всяком случае, в ноябре 1834 г. Куторга был уже снова в Берлине, так как тогда воспитанников института представили Николаю I (Schmidt, *op. cit.*, стр. 159; ср. Пирогов, *op. cit.*, стр. 354).

¹⁴⁸ Там же, ф. 733, д. 45690, стр. 84б: «Почти так как Берлин есть средоточие Германии северной, точно так Мюнхен — Германии горной. Щедростью Е. В. короля Баварского, университет и академия наук обогащены библиотеками, музеями, собраниями древностей и пр. Пребывание в Мюнхене доставило бы мне великую пользу.»

¹⁴⁹ Дата этой первой встречи с Гизо может быть точно определена, поскольку в архиве Куторги хранится следующая пригласительная записка Ги о (Гизо — Куторге, от 7 декабря 1838 г.): „M. Guizot sera charmé d'avoir l'honneur de voir monsieur Michel de Koutorga dimanche 9 decembre de 9 à 11 heurs de matin.”

¹⁵⁰ ЦГИА (Л), ф. 733, д. 45690, стр. 83—84: за летний семестр 1833 г.; там же, стр. 184а: за зимний семестр 1833/34 г. и там же, стр. 196а: за зимний семестр 1834/35 г. Нет отчета за летний семестр 1834 г., в конце которого, как мы видели, Куторга отправился из Берлина в свое единственное

что Куторга в период заграничной командировки не изучал трудов Нибура и его школы, вопреки ошибочному утверждению буржуазной историографии, следующей в этом за Бауэром. Не совершенствовался Куторга также в области классической филологии, как ему это советовали тартуские неогуманисты. И он был вполне прав. Рано сложившийся даровитый ученый, усвоивший уже в тартуский период сравнительно-исторический метод и теорию классовой борьбы, стоящий на пороге дальнейшего творческого развития этой теории, Куторга не нуждался в давно известных ему учениях Нибура и его школы. Свободно пользуясь в оригинале первоисточниками на греческом и латинском языках, как это справедливо подчеркивает Крузе во время дискуссии о присуждении Куторге ученой степени,¹⁵¹ автор диссертации, написанной на латинском языке, которую высоко ценили в течение десятилетий не только, как историческую работу, но и как достижение в области филологии,¹⁵² Куторга не нуждался ни в каком усовершенствовании в области классической филологии.

Из 3 заданий, которые Куторга наметил себе в плане работ на время заграничной командировки: ознакомление с учебно-методической работой университетов по истории, создание личного контакта с руководящими историками и работа в королевской библиотеке, именно последнее задание стало главным и ведущим звеном работ Куторги во время его пребывания в Берлине.¹⁵³ С большим рвением и прилежанием взялся он за эту работу, прибыв в Берлин одним из первых, уже в начале июня 1833 года, в то время как многие другие воспитанники, под тем предлогом, что из-за разницы в распределении семестров между русскими и германскими университетами они не могли прибыть в Берлин к началу летнего семестра, разъезжали туристами по Германии в течение всего этого семестра.¹⁵⁴ Если в своем отчете за летний

путешествие. По содержанию особенно ценным является отчет за первый семестр. Мансуров затребовал для отчетов лишь указания фамилий преподавателей и названия прослушанных у них курсов лекций.

¹⁵¹ ЦГИА(Т), ф. 420, д. 14036, стр. 35а.

¹⁵² Стасюлевич — Куторге 21 мая 1857 г. (Стасюлевич, *op. cit.*, стр. 294): довольно известный в то время автор учебников по древней истории, профессор Кортюм характеризует Куторгу следующими словами: «узнав, что я из Петербурга, спросил меня: знаю ли там einen tüchtigen Philologue, H. Koutorga...»

¹⁵³ ЦГИА(Л), ф. 733, д. 45690, стр. 84а: в отчете министра народного просвещения за первый семестр Куторга, после того как он выразил свое восхищение библиотекой и замечательными богатствами ее рукописного отдела, пишет: «Что касается до меня, то я не могу довольно выхвалить ту щедрость, с какою мне она открыта; и я несколько не увеличу сказав, что... директор оной, более всех способствует моему образованию. В течение всего моего пребывания в Берлине история средних веков и в особенности Франции составляет главный предмет моих занятий и я вскоре надеюсь иметь счастье представить... труды свои.»

¹⁵⁴ Там же, стр. 5а: Кранихфельд пишет в семестровом отчете (16 сентября 1833 г.), что последние воспитанники прибыли в Берлин 16 сентября.

семестр 1833 г. Куторга еще жалуется, что работа в библиотеке затруднена, потому что библиотека открыта для чтения в течение очень короткого времени,¹⁵⁵ то в следующем семестре используя личное знакомство с директором этой библиотеки, известным в то время исследователем истории крестовых походов и профессором Берлинского университета, Вилькеном, он получил особое разрешение на работу в библиотеке в те часы, когда она была закрыта для публики.¹⁵⁶ Исходя явно из известного и изученного им в Тарту труда Гизо („Histoire de la civilisation en France”) Куторга, как видно из вышеприводимого отрывка из его отчета за летний семестр 1833 года, хотел ограничиться исследованием французского средневековья и смог поэтому высказать надежду на скорую публикацию результатов своих изысканий. То обстоятельство, что в дальнейшем ходе работы тема эта была расширена и углублена и исследование могло выйти в печати только в 1837 году,¹⁵⁷ было на пользу русской науке и самому Куторге, который благодаря этому исследованию стал наряду с Грановским и др. одним из основоположников русской медиэвистики. Разработкой «Политического устройства германцев» Куторга к тому же получил ту сравнительно-историческую базу, которая была ему нужна для развития теории классовой борьбы применительно к древней Аттике.

Большим разочарованием уже в первом берлинском семестре кончилось ознакомление Куторги с учебно-методической работой. Преподавание истории в германских университетах стояло, очевидно, на невысоком уровне и с методической точки зрения ограничивалось чтением общих обзорных лекционных курсов и практическими занятиями,¹⁵⁸ что досконально было знакомо Куторге уже по его учебе в Тарту под руководством Крузе. Метод специальных семинаров (и специальных курсов) — это, может быть, наиболее примечательное достижение методики преподавания истории в XIX веке — еще не был, повидимому, разработан и проведен на практике даже в Берлинском университете.¹⁵⁹ Странным на первый взгляд кажется то, что, кроме прослушанного у Вилькена в последнем семестре пребывания в Берлине курса древней истории, все остальные курсы, на которые записывался Куторга,

¹⁵⁵ ЦТИА (Л), ф. 733, д. 45690, стр. 84.

¹⁵⁶ Там же, стр. 120а: характеристика работ Куторги в семестровом отчете Крахфельда (10 января 1834 г.).

¹⁵⁷ Куторга, Политическое устройство германцев, 1837.

¹⁵⁸ ЦТИА (Л), ф. 733, д. 45690, стр. 184а: Из отчета за зимний семестр 1833/34 г. видно, что Куторга принимал участие в критико-исторических упражнениях Вилькена.

¹⁵⁹ Указание Дове (биография Ранке в АДВ, т. 27, стр. 258) о том, что Ранке уже начиная с 1833 года внедрял в Берлинском университете метод специальных семинаров, едва ли верно, так как Куторга (и его товарищ по институту М. Лунин) ничего не пишут в своих семестровых отчетах об этом методическом новаторстве Ранке и принимают участие в практических упражнениях других профессоров, по адресу которых, как ученых и преподавателей, содержится в этих отчетах уничтожающая критика.

относятся по тематике к истории средневековья и нового времени. Причиной этому было то обстоятельство, что в Берлинском университете, несмотря на сравнительно большое число преподавателей истории (4 профессора и 8 приват-доцентов) не было ни одного специалиста по древней истории, которая, к тому же, в те времена еще окончательно не отделилась от классической филологии. Что Куторга все-таки использовал все возможности для совершенствования в избранной им специальности, видно из того, что он в последнем семестре своего пребывания в Берлине прослушал курс лекций по археологии одного из основоположников археологии Рима, Герхардта. Из преподавателей Куторга характеризует только профессоров. Характеристика лекционного метода берлинских профессоров у Куторги исключительна сурова и, насколько это можно проверить, в общем обоснована. Так, об известном исследователе эпохи Гогенштауфенов и издателе „Historisches Taschenbuch'a" Ф. фон Раумере Куторга пишет, что он до сих пор пользовался ложной славой и его лекции состоят лишь в том, что он читает по своей напечатанной книге, причем карандашом исправляет встречающиеся опечатки.¹⁶⁰ Даже по отношению к Ранке, которого как ученого Куторга ставит выше других берлинских историков, он пишет, что Ранке приходит на лекции неподготовленным, что он весьма плохой лектор и что он является профаном во всех областях истории, кроме избранной им узкой специальности, что, по мнению Куторги, характерно для большинства немецких историков.¹⁶¹ Мало удовлетворяли Куторгу и личные сношения с ведущими берлинскими историками, которые у него завязались при помощи привезенных из России рекомендательных писем. Пользу для себя он извлек только из повторных разговоров с Ранке.¹⁶²

Мы проследили развитие молодого Куторги как ученого в двух его основных этапах — в Профессорском институте и в заграничной командировке. Основным периодом является все-же первый из них. Именно здесь, в Тарту, Куторга стал мастером критики и анализа первоисточников. Здесь же он впервые показал свое мастерство в выдвижении прогрессивных, оригинальных

¹⁶⁰ ЦГИА (Л), ф. 733, д. 45690, стр. 83 и сл.

¹⁶¹ Там же, стр. 83а и сл. «Пример проф. Ранке служит убедительнейшим доказательством, что отличный ученый может быть иногда самым худым профессором. Г. Ранке не имеет даже и столько дара слова, чтобы выразить мысль свою и потому его лекции редко бывают привлекательны. Если к этому присоединить, что г. профессор иногда почти не готовится к лекции, то... увидите какую я могу почерпнуть пользу...» и на другом месте: «Ранке принадлежит к тем ученым, которые выбрали из науки одну какую либо часть, посвящают оной все труды свои, оставя в пренебрежении целую науку...» «Большая часть историков германских не следует сему пути (Куторга подразумевает здесь познания во всех областях исторической науки Ю. М.) и оттого и встречается часто в их сочинениях иногда всякой хвали достойных, разительное невежество.»

¹⁶² Там же, стр. 84а: «... я с благодарностью буду вспоминать некоторые из его разговоров.»

гипотез; в этом он превосходил большинство современных ему немецких историков, и недаром его гипотеза о происхождении афинских фил получила общее признание в тогдашней науке. В Тарту, наконец, усвоил Куторга сравнительно-исторический метод Гизо. Немало дала для развития Куторги как ученого и профессора заграничная командировка. Его изыскания для «Политического устройства германцев», так упорно проводимые им за все время этой командировки, стали основой той творческой переработки теории классовой борьбы, которую он развил в своей петербургской диссертации: «Колена и сословия антические», изданной им в 1838 г. непосредственно вслед за «Политическим устройством германцев» (1837). Даже окончившееся большим разочарованием для Куторги ознакомление с методом лекционной работы берлинских профессоров пошло на пользу его развитию, ибо по этому поводу Куторга развил свою теорию преподавания истории в университете, впервые сформулированную в первом берлинском семестровом отчете: «... профессор, имея обязанностью научать студентов, должен по возможности следить целую науку, дабы преподавать ее в том виде, в каком она находится.»¹⁶³

Подготовленный таким образом, Куторга мог произвести большие сдвиги в преподавании истории не только в Петербургском университете, где преподавание всеобщей истории десятилетиями находилось в плачевном состоянии, но и в любом другом русском университете. Та строгая наука, которая, по выражению Дестуниса, «слышалась» во всех его выступлениях, привлекала к нему лучшие молодые силы студенчества, и он скоро стал основоположником своей школы историков античности, обоснование которой в качестве основной ячейки «исторической школы Петербургского университета» совершенно верно ставит ему в заслугу С. Н. Валк. Наряду с исследованиями об античных филах и отдельными исследованиями и очерками им издаются также более крупные работы: «Греческая история до начала персидских войн» (1843), «История Афинской республики от убийства Иппарха до смерти Мильтиада» (1848) и «Персидские войны» (1858). Выдающиеся научные труды и формирование под его руководством школы русских историков античности не могли не обратить на него внимание официальных научных кругов; в 1854 году была выдвинута его кандидатура в академики.¹⁶⁴ Против кандидатуры Куторги в Академии наук ополчилась реакционная немецкая «партия», и избрание в академики не состоялось. Борьба реакционеров против признания научных достижений Куторги началась исподволь уже раньше. На конкурс Демидовских наград 1849 года была выдвинута и «История Афинской республики от убийства Иппарха до смерти Мильтиада» Куторги. Академия наук, по всей вероятности, не без умысла поручила составление рецензии на

¹⁶³ ЦГИА (Л), ф. 733, д. 45690, стр. 84а.

¹⁶⁴ См. архив Куторги 5.

этот труд Куторги его старому недругу времен Профессорского института, проф. Блюму, который, кстати сказать, сумел читать в течение 25 лет курсы статистики и географии России в Тартуском университете, так и не выучившись русскому языку. В «рецензии» Блюма,¹⁶⁵ вызвавшей справедливое негодование друзей и почитателей Куторги, умышленно обходится вопрос о крупных научных достоинствах труда Куторги, и вместо этого автор ее пускается в сумбурные разглагольствования о каких-то достижениях немецкой науки, показывающие лишь то, что сам Блюм не знает толком, что творится в немецкой науке. Несмотря на плачевное состояние аргументации, Блюм не постыдился заявить, что единственная ценность труда Куторги состоит будто бы в связной трактовке проблемы.¹⁶⁶ Весь замысел реакционеров из академии вскрывается в использовании ими «рецензии» Блюма. В своей сводке на русском языке, зачитанной на публичном заседании академии, неприменный секретарь лицемерно заявляет, что рецензия Блюма является «скорее строгою, чем снисходительною», и, фальсифицируя общую оценку Блюма, видит основную ценность труда Куторги. «... в искусном расположении и художественной обработке всего предмета». В те же 1850-ые годы Куторга, наконец, первым в тогдашней науке разрабатывал вопросы о социально-экономических отношениях древних Афин и своими работами о метэках и пр. вплотную подошел к своим исследованиям о трудящихся Афин, которые изданы лишь после его смерти в I томе сочинений в виде монографии «Общественное положение рабов и вольноотпущенников в Афинской республике».

¹⁶⁵ Blum, Kutorgas Geschichte der Republik Athen. Десятилетнее приращение учрежд. Демидовым наград. 1850 (= Blum, Kutorgas Geschichte), стр. 191—202, и сводка на русском языке, составленная неприменным секретарем академии. Bulletin de la classe historico-philologique de l'Académie des sciences de St.-Petersbourg. VIII. Supplement. 1851, стр. 9 и сл. Об этой рецензии см. Дестунис, *op. cit.*, стр. 11; Бузескул, Всеобщая история, стр. 102.

¹⁶⁶ Blum, Kutorgas Geschichte, стр. 196.

NOOR KUTORGA

(Vene antiikajalooteaduse tekkimisest)

Dots., ajalooteaduste kandidaat J. Madisson

Üldise ajaloo kateeder

Resümee

M. S. Kutorga kui teadlase ja professori tegevuse üle on küll olemas küllaltki ulatuslik historiograafiline ja memuaariline kirjandus, kuid sellel kirjandusel on palju ebakohti ja puudusi. Eriti suurel on selle kirjanduse väärseisukohad ja vassingud faktilise materjali osas noore Kutorga arenemise küsimuses. Suurema monograafilise uurimuse raamides, mis käsitleb Professorite Instituuti Tartu ülikooli juures ja tema osatähtsust vene ajalooteaduse arenemises, õnnestus autoril näidata uues valgustuses noore Kutorga arenemist. Seni kasutamata ENSV RAKA (ülikooli arhiivifond) ja ülikooli käsikirjade osakonna materjalid võimaldavad tõestada, et Kutorga juba Tartu perioodil (1828—1833) muutus tookordse ajalooteaduse progressiivsema õpetuse — Guizot' rassi- (klassi-) võitluse teooria ja tema võrdlev-ajaloolise meetodi veendunud pooldajaks ja et ta ei siis ega hiljem pole olnud Niebuhri meetodi pooldaja, nagu seda ilma vajaliku põhjendusega väidab Kutorgat käsitlev kirjandus. Selle põhiküsimuse kõrval käsitletakse töös uues valgustuses professorite instituuti ja temas toimuva töö seni täiesti uurimata meetodilist külge. Töös antakse uus hinnang reaktsioonilisele uus-humanistlikule ideaalile, mida mõned ülikooli professorid kasutasid surve avaldamiseks Kutorgale ja ka selleks, et läbi suruda tema saavutusi alahindav, ebaõiglane magistri teadusliku kraadi ostmamine. Töös tõestatakse, et ladinakeelne Kutorga Tartu dissertatsioon pole sugugi mingi üllatav esmakordne saavutus, vaid tema kui väljapaistva teadlase-erudiidi kasvu tulemus. Dissertatsioonile eelnes Kutorga seni kirjandusele tundmatu uurimus Trooja riigi üle. Nende tööde varal tõusis Kutorga kõrgemale tookordse antiikajalooteaduse esindajate enamikust. Laiema teadusliku üldsuse silmis kinnitas seda üleolekut Kutorga dissertatsiooni tunnustamine aastakümnete jooksul põhiteosena omal alal.

Töö järgmises osas näidatakse peamiselt, tuginedes senikasutamata arhiiviansesele Leningradi RAKA-s ja Kutorga arhiivis, et

Kutorga välismaakomandeering (1833—1835) piirdus töötamisega Berliinis, sest tsaarivõim hoidis instituudi kasvandikke ka välismaal pideva järelevalve all ja keelas Berliinist lahkumise. Kutorga ainus reis viis teda Berliinist üle Praha Viini, kus reis katkes tema raske haiguse tõttu. Selle välismaakomandeeringu ajal pole Kutorga, nagu tõestatakse käesolevas töös, tegelnud Niebuhri õpetuse uurimisega, mida vääralt väidab Kutorgat käsitlev kirjandus, vaid ta on suure usinusega töötanud Berliini, Viini ja Müncheni raamatukogudes oma germaani suguharude arenemist käsitleva uurimuse koostamisel, luues sellega võrdlev-ajaloolise baasi klassivõitluse õpetuse edasiarendamiseks Vana-Ateena ajaloo käsitlemisel. Töös esitatakse senitundmatuid Kutorga hindavaid seisukohti Saksa ajalooteaduse selliste väljapaistvate esindajate, nagu L. Ranke jt. kohta. Töö lõpposas näidatakse Kutorga tõusu Vene antiikajalooteaduse rajajaks ja tema senitundmatut konflikti reaksionääridega teaduses seoses Kutorga kandideerimisega akadeemiku kohale.

TÖÖLISLIHKUMINE EESTIS MAJANDUSKRIISI AASTAIL (1929—1934)

Ajalooteaduste kandidaat E. Plotnik

NSV Liidu ajaloo kateeder

1929. a. puhkes kapitalistlikus maailmas üldine, kõiki majandusharusid haarav ületootmise kriis, mis oli purustavam kõigist senistest kriisidest. 1929.—1933. a. majanduskriisi spetsiifika tuleks sellest, et ta toimus kapitalismi üldkriisi tingimustes.

Et majanduskriis kujunes üldiseks, siis haaras ta nii industriaalkui agraarmaad. Viimased on kapitalismi perioodil tavaliselt sõltuvas või poolsõltuvas seisundis tugevaist kapitalistlikest riikidest ja seetõttu kajastus 1929.—1933. a. majanduskriis erilise raskusega just nende riikide majanduses, sest tugevamad riigid püüdsid oma majanduslikke raskusi veeretada sõltlasriikide kanda.

Selliste majanduslikult ja poliitiliselt sõltuvate riikide hulka kuulus ka kodanlik Eesti, kes selle seisundi tõttu pidi lisaks oma kriisiraskustele aitama jagada ka oma peremeeste, s. o. peamiselt USA, Inglismaa, Saksamaa, Prantsusmaa, Rootsi jt. kriisiraskusi. Majanduskriis Eestis moodustas seega ühe osa ülemaailmsest majanduskriisist.

Kodanliku Eesti peamise majandusharu moodustas põllumajandus. Sellega tegeles 1933. a. andmeil umbes 60% kogu Eesti elanikkonnast, üldisest majanduslikust toodangust andis põllumajandus umbes 70%, tööstus 25%.¹ Seetõttu avaldus kriis hindade languse näol kõigepealt põllumajanduses. Esimesi kriisisümptome märgiti siin juba 1926/27. a. Pärast kolm aastat kestnud pingsat võitlust kodanluse üksikute grupeeringute vahel, milles peaosas etendasid ühelt poolt põllumajandusliku, teiselt poolt tööstusliku kodanluse huvid, kehtestati 1930. a. teravilja kaitsetollid, millega peamiste teraviljade (rukki, nisu) ja nende saaduste sissevedu muudeti riigi monopoliks, faktiliselt paari-kolme suure erafirma (J. Puhk ja Pojad, a/s „Rotermanni Tehased”) monopoliks.

„... Riiklik monopol kapitalistlikus ühiskonnas on ainult tulude

¹ Vt. Eesti entsüklopeedia II, Tartu 1933, lk. 556.

kõrgendamise ja kindlustamise vahendiks pankroti äärel olevaile miljonäridele ühest või teisest tööstusharust.”²

Lisaks soodustustele, mis sellega said üksikud viljaga kauplevad suurfirmad, teenis viljamonopol otseselt kulakute huve, kes olid peamisteks teravilja turustajateks.

Vahe viljahindade vahel maailmaturul ja Eestis kujunes märgatavaks, sest teraviljamonopoli abil hoiti viimases hinnad kulakluse huvides kunstlikult kõrgel (näit. tõusis nisu hind 1933. a. Eesti turul võrreldes maailmaturu hinnaga kolmekordseks).

Samasugune vahe sise- ja välisturu hindade vahel kujunes ka karjasaadustes, mis moodustasid ühe tähtsaima ekspordiartikli Eestist. Majanduskriisi tingimustes oli majanduslikult nõrgal Eestil võimalik oma kaupa turustada vaid dumpinghindadega.

Nii teraviljamonopoli kui ka karjasaaduste dumpinghinnad tasus lõpptulemusena eesti töötav rahvas. Toimus eesti tööliste kui tarbija süvendatud ekspluateerimine.

Põllumajanduse järel haaras kriis ka tööstuse. Tööstuskriis põimus läbi agraarkriisiga.

Juba enne majanduskriisi oli kodanliku Eesti tööstus teinud läbi tõsiseid nihkeid. Tootmisvahendeid tootev suurtööstus oli laostunud ning asendunud piiratud ulatuses tarbimisvahendeid tootva tööstusega. Eesti tööstuse selline saatus oli kodanluse majanduspoliitika otsene resultaat, millega Eesti tööstus tema loomulikust baasist — Vene turust — lahutati ning allutati Lääne-Euroopa imperialistide huvidele. Seetõttu avaldus kapitalismi üldkriis Balti riikides teravamini kui teistes kapitalistlikes riikides. Suurtööstuse laostumisega kaasnes töötete reservarmee kasv, proletariaadi dequalifitseerumine ja proletariaadi struktuuri muutumine juba enne majanduskriisi.

Tööstuskriis algas tööstussaaduste hindade langusega maailmaturul. Võitluses turu eest läksid monopolistlikud kartellid siseturul kõrgeid hindu säilitades välisturul üle dumpingule, muutes sellega majanduskriisi veelgi sügavamaks ja komplitseeritumaks. Monopolid dumping ähvardas kõige enam majanduslikult nõrkade maade tööstust, kelle hulka kuulus ka kodanlik Eesti. Sellised tööstusharud, nagu metalli-, paberi-, tekstiili-, nahatööstus ja mõned muud sattusid otsesesse katastroofi ohtu. Näiteks müüdi 1930. a. oksjonil Vene-Balti tehas, 1931. a. „Dvigatel”, 1935. aastaks viidi lõpule Põhja-Lääne Metallurgia, Mehaanika ja Laevaehituse Aktsiaseltsi (end. Böcker & Ko) likvideerimine, 1932. a. suleti Tallinna tuletikuvabrik ja Türi paberivabrik jne. Metall suurtööstuse 16 700 töölisest³ 1913. a. oli 1929. a. järele jäänud 4811 töölist, 1933. aastaks langes see arv 3256-le.⁴

Kriisiolukord pakkus välismaisele finantskapitalile suurepäraseid võimalusi majanduslikult nõrga Eesti sõltuvuse edasiseks

² V. I. Lenin, Teosed, 22. kd., Tallinn 1953, lk. 203.

³ Vt. „Klassivõitlus” nr. 152, 1933, lk. 2.

⁴ Vt. „Tähised” 1935, lk. 114.

süvendamiseks uute investeeringute ja laenude kaudu. Et kõik põhilised tööstusharud, nagu metalli-, puu-, paberi-, tekstiili-, tuletiku-, telliskivi-, mööbli- jne. tööstus olid juba väliskapitali käes, laiendas ta nüüd oma mõjusfääri peamiselt põlevkivitööstuses.

Väliskapitali investeeringud kodanliku Eesti põlevkivitööstuses kasvasid majanduskriisi ajal umbes kahekordseks.⁵ Peamist osa selles etendas Saksa ja Inglise monopolistlik finantskapital (firmad „Mendelssohn & Co” ning „The New Consolited Cold Fields Ltd”).

Tööliste arvult kodanlikus Eestis esikohal olevas tööstusharus — tekstiilitööstuses — valitses peaaegu täielikult väliskapital, peamiselt Saksa, Inglise, Hollandi jt. finantskapital. Märgitakse, et Kreenholmi Manufaktuuri osanikeks olid 130 kapitalisti, kes esindasid peaaegu kõiki kapitalistlikke maid.⁶

Nii kriis kui ka sellest tingitud monopolistliku väliskapitali intensiivistunud sissetung kiirendasid edasist monopoliseerumise protsessi tööstuses.

Juba 1928. a. asusid tekstiiliettevõtted läheneva majanduskriisi vastu oma jõude mobiliseerima, ühinedes sündikaadiks a/s „Kreenbalt”. Selles valitseva väliskapitali surve kõrghendas kodanlik valitsus majanduskriisi alguses 1929. a. tekstiili sisseveotolle (kuni 200%), muutes need maailmarekordilisteks. Selle operatsiooniga anti siseturg a/s „Kreenbalti” monopoolse valitsemise alla. Siseturu tõhusamaks ekspluateerimiseks asutas sündikaat oma kauplusi üle terve riigi (nn. „Tekla” kauplusi).

„Kreenbalti” turustamissfääri kuulusid ka Läti ja Leedu, kuhu ta kriisiaastail asutas oma osakonnad Kreenholmist ja Balti Püüvillavabrikuist viidud masinatega.

Tulenevalt „Kreenbalti” monopoolsest seisundist olid tekstiiltoodete hinnad siseturul sageli 60—70% kõrgemad tekstiiltoodete hindadest välismaal.⁷

Samasugune nähtus esines kummi- ja nahatööstuses. Kummitoodete kaitsetolle tõsteti isegi kuni 400% saaduste hinnast,⁸ siseturu jäeti monopoolsest valdama o/ü. „Põhjala”. Pole siis ime, et viimane just kriisitingimustes „õitsele löi”: tema läbikäik tõusis 1928.—1933. a. 6,7 korda (80 000 kroonilt 545 000 kroonile).⁹

Lisaks investeeringuile süvenes väliskapitali osatähtsus Eesti majanduses kriisiaastail ka välislaenude kaudu. Teadaolevail andmeil kriisiaastail uusi riiklikke välislaene ei lisandunud, kuid ala-

⁵ Vt. „Rahva Sõna” nr. 95 (649), 24. IV 1929 ja Eesti entsüklopeedia II, Tartu 1933, veerg 591.

⁶ Vt. М. Лыхмус, Борьба рабочих коллективов Кренгольмской и Балтийской мануфактур за выполнение четвертой пятилетки (1946—1950 гг.), Москва 1954, (диссертация), lk. 24.

⁷ Vt. ORKA, F 969, N 2, A 48, lk. 482.

⁸ Sealsamas, lk. 89.

⁹ Vt. „Eesti Nädal”, Tallinn 1934.

tes 1931. a. polnud kodanliku Eesti valitsus enam võimeline ette nähtud võlaosa koos protsentidega tasuma, millest peale välisvõlg hakkas protsentide näol kiiresti kasvama. Lõviosa sellest võlast moodustas võlg, mis pärines veel kodusõja päevilt USA-le. 127,3 miljonilt kroonilt 1929. a. kasvas välisvõlg 134,76 miljonile kroonile¹⁰ 1934. a. Riigivõlale lisandus eramajanduse välisvõlgnevus.

Finantsiline sõltuvus välisriikidest oli nii suur, et naelsterlingi lahkumisega kulla aluselt 1931. a. kaotas Eesti Pank suure osa oma kattevarast (mida hoiti naelsterlingites) ning 1933. a. kukutati kroon kulla aluselt. Kursi langus oli esialgu 35%, hiljem langes see veelgi. Kursi langusega käis kaasas elukalliduse tõus.

Toodud faktid on vaid üksikuiks eredamaiks näiteiks 1929.—1933. a. ülemaailmse majanduskriisi toimest kodanliku Eesti majanduses. Kapitalismi põhiline majandusseadus avaldub kriisitingimustes kõige teravamalt vormis. Töötavate rahvamasside ekspluateerimine, laostamine ja pauperiseerimine süveneb kapitalistide maksimaalse kasumi huvides. Eespool toodud faktidest nähtub, millist osa selles etendas väliskapital.

Igasuguste kriisinähtustega käib kaasas töötuse kasv. Töötust suurendas Eestis veelgi juba varem toimunud suurtööstuse laostamine, mis kriisi ajal süvenes. Kriisi sügavseisul 1933. a. algul oli üksnes tööbörsides registreeritud 25 000 töötut. Suure enamiku kohta, kes ennast tööbörsides ei registreerinud, ei ole meil mingeid andmeid. Samuti puuduvad andmed osaliselt töötute kohta (kelleks oli enamik tööstustöolistest). Töötus maaproletariaadi ridades oli samuti suur. 1932. a. EKP Märtsimanifestis märgiti, et külas on talvel kuni 100 tuhat töötut.

Töötuse kasv tõi kaasa töölistmasside elutaseme tohutu languse, sest 1) töötute ülalpidamine langes tööle olevate perekonnaliikmete kanda, alandades seega nende reaalpalka, 2) töötus muutus kapitalistide käes vahendiks, mille abil tööle olevate tööliste ekspluateerimist süvendati.

Teiseks olulisemaks elutaseme näitajaks on tööpalk, mis kriisitingimustes suruti viimase võimaluseni alla. Madalaimad olid palgad selliseis väliskapitaliga töötavais tööstusharudes nagu tekstiili-, paberi- ja puutööstus. 1932. a. moodustasid tekstiilitöölise palgad teiste tööliste palkadest keskmiselt 34%. Madalamad kui suurtööstustes olid väikeste ja keskmiste ettevõtete tööliste palgad, kus konkurentsivõime tõstmiseks tuli pidevalt alandada saaduste omahinda, mis toimus peamiselt tööliste tööpalga arvel. Meeste palkadest olid veelgi madalamad naiste ja laste palgad, kelle tööjõu ekspluateerimine kriisi ajal näitas suhteliselt tõusutendentsi. Nais-töölised teenisid keskmiselt 35—40% vähem kui meestöölised. Üldist palgasumma langust näitab see, et 1932. a. palgad moodustasid 1929. a. palkadest 70,8%.¹¹ See ei näita aga tegelikku tööliste

¹⁰ Vt. ORKA, F 969, N 5, A 290, lk. 101.

¹¹ Vt. „Töö ja Tervis“ nr. 1, 1933, lk. 172.

nominaalpalga langust, sest sinna arvati hulka ka ametnike ja direktorite kõrgeid palgasid.

Nii põllumajandus- kui ka tööstussaaduste hinna langus oli väiksem kui tööliste palga langus, sest kodanlik riik astus kapitalistide huvides samme hindade languse takistamiseks (kaitsetollid, monopolid jm.).

Eestis kui agraarmaal moodustasid proletariaadi enamiku põllutöölised. Kriisi ajal muutus massiliseks pideva tööjõu asemel ajutise tööjõu kasutamine päeviliste ja suviliste näol (päeva- ja suvetöölised). Ulejäanud ajal täiendasid nad töötü põllumajandusliku proletariaadi armeed, kellel oma tööjõudu polnud kuhugi müüa.

Põllutöölise olukord oli veelgi raskem kui tööstustöölise oma. Põllutöölise tööpäev oli suvel kohati 15—18 tundi pikk,¹² nende palgad moodustasid 1929. a. keskmiselt 55,60% tööstustöölise palkadest.¹³ Maal oli levinud tööpalga maksmine ka produktides, mis sageli olid alaväärtuslikud. 1932. a. jooksul langesid põllutöölise palgad keskmiselt 50%.¹⁴

Maapuudus, mille all kannatas eesti töötav talurahvas, avaldus sellistes tingimustes teravamini kui muidu. Isegi kodanlik ajaleht oli sunnitud Peipsi-äärsete elanike kohta (kus maapuudus oli kõige tunduvam) tunnistama, et nad nälgivad.¹⁵ 1932. a. andmeil elas Eestis 160 000 inimest 1 ha suurustel maalappidel, 1—2 ha suurusi kohti oli 70 000.¹⁶ Kriisi käigus süvenes maatustumise protsess külas kiirendatud tempos.

Seega võime konstateerida, et majanduskriis tähendas eesti proletariaadi majandusliku olukorra järsku halvenemist. Eesti proletariaat ei võinud seda passiivselt taluda, ja nii kujunesidki 1929.—1933. a. majanduskriisi aastad töölisliikumise uue elavnemise ja tõusu aastateks pärast ajutist mõõna kapitalistliku stabilisatsiooni perioodil.

Töölisliikumise uue tõusu sümptoome võis märgata juba 1927. a., murranguaastaks kujunes aga 1928. a., mis sai uue perioodi alguseks Eesti töölisliikumise ajaloos. Streigiliikumine haaras 43 tööstusettevõtet 1098 töölisega, milline arv moodustas ligi poole kogu kapitalismi ajutise stabilisatsiooni perioodil streikinute arvust. Need olid majanduslikud streigid, milles peaküsimuseks oli palgaküsimus. 1928. a. streikijate enamiku moodustasid trüki- ja rätsepatöölised — seega mitte proletariaadi kõige eesrindlikum osa, suur- tööstuste proletariaat — ja see andiski 1928. a. streikidele oma ilme, s. t. kitsalt majandusliku ilme. Kuid, nagu tähendas V. I. Lenin, on majandusliku streigi omaduseks äratada ja liikuma panna laiu

¹² Vt. „Edasi” nr. 10 (2873), 5. II 1929.

¹³ Vt. „Võitluse Lipp” nr. 8, 22. VII 1933.

¹⁴ Vt. „Töö ja Tervis” nr. 1, I 1933.

¹⁵ Vt. „Päevaleht” nr. 75, 17. III 1929.

¹⁶ Vt. „Töölise Võitlus” nr. 5, 8. X 1932.

töölisklassi, ¹⁷ mida võime ütelda ka 1928. a. streigiliikumise kohta Eestis. 1929. a. näitas streikide ja streikijate arv veelgi kasvutendentsi, haarates 30 tööstusettevõtet 1915 töölisega.¹⁸ Streigivõitlusse hakkas lülituma ka suuremate tööstusettevõtete proletariaat. 1929. a. streikidest oli suurim Türi paberivabriku tööliste streik, millest võttis osa 95% kogu Türi paberivabriku töolistest. Ka 1929. a. streigivõitlus oli peamiselt suunatud kodanluse tugevneva majandusliku surve vastu — palgaküsimus moodustas nendes streikides põhiküsimuse.

Majanduskriis süvendas kõiki imperialismi vastuolusid, millede arenemine allub kapitalistliku majanduse tsüklilise arenemise toimele. Seetõttu tõi majanduskriis kaasa ka kõigis imperialistlikes riikides kodanluse poliitilise surve süvenemise, mis väljendus fašiseerimistendentside kasvus. Sellest tingituna omas ka eesti tööliste klassivõitlus majanduskriisi algusest peale fašismi, s. o. kodanluse poliitilise reaktsiooni vastu suunatud iseloomu. Majanduslikku ilmet kandvais streikides avaldus see varjatud kujul, töölisklassi poliitilistes väljaastumistes aga, eriti demonstratsioonidel, koosolekutel jne. avalikumalt. Majanduskriisi ja fašiseerimisprotsessi edasi arenedes muutus see külg Eesti töölisklassi võitluses üha märgatavamaks.

Kahtlemata mõjusid töölisliikumise tõusule Eestis kaasa ka sotsialistliku ülesehitustöö edusammud Nõukogude Liidus ja Nõukogude Liidu tugevnemine, mis kummutas kõik kapitalistide laimujutud Nõukogude Liidu peatsest kokkuvarisemisest. Alates 1927. a. külastasid Nõukogude Liitu mitmed eesti tööliste delegatsioonid, kes tutvusid ise kohapeal olukorraga, tagasi tulles aga jutustasid sellest teistele töölisele.

Töölisliikumise tõusuga hakkasid üha suuremal määral ilmneva kapitalismi jaoks negatiivsed ja revolutsiooni jaoks soodsad tendentsid. Töölisklass vajab tugevat, revolutsioonilist juhti. Samal ajal oli aga Eestimaa Kommunistlikus Parteis organisatsiooniline kriis. See väljendus peamiselt partei isoleerituses laiadest rahvahulkadest, parteitöö väheses aktiivsuses ja partei liikmete arvulises vähenemises. Need nähtused omakorda viisid selleni, et partei ei suutnud sammu pidada töölisliikumise tõusuga majanduskriisi alguses ega asuda juhina selle etteotsa.

EKP organisatsiooniline kriis seletub rea muutustega, mis toimusid kapitalismi ajutise stabilisatsiooni ajal kodanlikus Eestis. Eesti kodanlusel õnnestus sellel perioodil väliskapitali abil oma majanduslikke positsioone mõnevõrra stabiliseerida. Poliitikas saavutati see verise terroriga töölisklassi arvel. Seoses majanduslike muudatustega (suurtööstuse laostumine, kodanluse agraarpoliitika) toimus tähelepandav väikekodanlike kihtide osatähtsuse kasv nii külas kui linnas, mis nõrgestas töölisklassi niihästi organisatsiooni-

¹⁷ Vt. V. I. L e n i n, Teosed, 18. kd., Tallinn 1953, lk. 65.

¹⁸ Vt. „Eesti Statistika” nr. 142 (9), 1933, lk. 451.

liselt kui ka ideoloogiliselt. Väikekodanlike kihtide kasvuga kujunes soodus pind väikekodanliku ideoloogia levikule, mille peamiseks kandjaks Eestis olid sotsid (sotsiaaldemokraadid). EKP-d ja tööliklassi nõrgestas ka kodanluse terror, milles sotsid olid kodanluse agaraiks abimeesteks. Tulemuseks oligi, et kapitalismi ajutise stabilisatsiooni perioodil kasvas töölisliikumises sotside mõju, pörandaluses EKP-s aga tugevnes perioodi lõpupoole parempoolne kallak,¹⁹ mida iseloomustatakse kui sotsiaaldemokraatliku mõju agentuuri kommunistlikes parteides.²⁰

Ideoloogiliseks aluseks parempoolseile vigadele oli kapitalismi ajutise stabilisatsiooni püsivuse, seega ka kodanluse jõu ülehindamine, samuti sotsiaaldemokraatia mõju ülehindamine töölisliikumises ning vastavalt tööliklassi revolutsiooniliste jõudude alahindamine. Sellest tulenes omakorda legaalsete, reformistlike võitlusvormide eelistamine revolutsioonilistele. Põhjendades „objektiivsete tingimustega”, mille all parempoolsed mõistsid kodanluse terrorit, teostasid nad likvidaatorlikku poliitikat. Tegelikult väljendus kodanluse terroris tema nõrkus, mistõttu võeti kasutusele äärmised abinõud, mitte aga tugevus, nagu arvasid parempoolsed. Sellistest arusaamadest tulenesid ka taktikalised vead EKP töös, mis viisid ta rahvamassidest isoleerumisele.

Parempoolne kallak oli rahvusvaheliseks nähtuseks. 1928. a. toimunud Kominterni VI kongress juhtis tähelepanu parempoolsusele kui peahädaohule kommunistlikes parteides. 1929. a. toimunud Kominterni Kesktäitevkomitee pleenum kohustas kommunistlikke parteid puhastama oma read parempoolseist, sest et uue revolutsioonilise tõusu tingimustes tekkis hädaoht, et kommunistlikud parteid võivad muutuda töölisliikumise avangardist selle sabassõrkijaiks. Olles koormatud oma ideoloogiliste ja neist tulenevate taktikaliste vigadega, ei näinud parempoolsed revolutsioonilise liikumise tõusu.

Hoolimata mõnedest edusammudest oma organisatsioonilises töös (näit. EKP Tallinna Linnakomitee moodustamine) ei suutnud EKP 1929. a. organisatsioonilisest kriisist väljuda. Ning see, aga samuti ka Eesti tööliklassi lõhestatus ja killustatus olidki nendeks teguriteks, mistõttu kodanlus võis minna pealetungile tööliklassi vastu. Kodanluse pealetung kutsus esile töölisliikumise tõusu ja vanade valitsemismeetodite mannetuse küsimus kerkis uuesti päevakorraks, väljendudes kõigepealt parlamentarismi-vastase propaganda intensiivistumises 1929. a. mais toimunud IV Riigikogu valimistel. Samal ajal võime kogu kodanluse meeolulises konstateerida tähelepanavat murrangut fašistliku diktatuuri kasuks. Kodanluse enamik pöördus fašistliku diktatuuri poole, mille senisteks eestvõitlejateks olid peamiselt põllumeestekogud. Põllumeestekogude erakond, rahvaerakond, kristlik rahvaerakond ja majandusrühm deklareerisid, et

¹⁹ Vt. „Klassivõitlus” nr. 147, 1932, lk. 1.

²⁰ „Klassivõitlus” nr. 127–128, 1931, lk. 22.

nende eesmärgiks on: 1) tugeva võimu sisseseadmine presidendi või riigivanema näol, 2) valimisreform, mis vähendaks Riigikogu koosseisu ja 3) omavalitsusreform, mis lihtsustaks ja koondaks omavalitsust,²¹ seega võimu kontsentratsioon, millele majandusliku baasi moodustas tootmise kontsentratsioon ning mille kodanlusele vajalikuks muutis tööliste klassivõitluse kasv.

Suurkodanluse järel hakkas fašistliku diktatuuri poole pöörduma ka väikekodanlus, keda surus ja laostas majanduskriis, muutes tema olukorra väga ebastabiilseks, ning keda hirmutas töölisliikumise tõus, milles väikekodanlus klassipiiratuse tõttu nägi ohtu oma eraomandile. Fašistlikus Itaalias toimus vastupidine nähtus: majanduskriis kiirendas väikekodanluse pettumist fašismis, mille tõttu see just kriisi ajal hakkas opositsiooniliselt meelestuma.

Mõlemad eesti suurkodanluse juhtivad parteid — põllumeestekogud ja rahvaerakond — esitasid kooskõlas oma deklaratsioonidega uuele valitsusele põhiseaduse muutmise eelnõud.

1930. a. peale aktiveerusid kodanlikus Eestis uued fašistlikud jõud. Vanade kodanlike parteide kõrval hakkas arendama oma tegevust fašistliku diktatuuri ettevalmistamiseks eesti kodanluse sõjaline, fašistlik organisatsioon Eesti Vabadussõjalaste Liit, nn. vapsid, kes kuulutasid oma eesmärgiks maa vabastamise erakondlikust korrupsioonist ja marksismist.²²

Lisaks aktiveerus soome kulakluse eeskujul ka eesti kulaklus, kes hakkas organiseerima oma, eesti lapua-liikumist.²³ Selle esimeseks pääsukeseks oli Karksi-Nuia kulakute ja nende käsilaste delegatsioon riigivanema juurde 300 põllumehe märgukirjaga. Karksinuialaste liikumine tekitas kõmu üle riigi ja haaras harusid ajades kaasa pankroti äärele sattunud ärimehi, spekulante ja muid kodanlike tegeliskeski, kes koos „isamaa päästmisega” taotlesid ka laenuprotsendi alandamist, rahakursi langetamist, tollide tõstmist jne. Et karksinuialastel jt. „isamaapäästjatel” oli vähe väljavaateid iseseisva poliitilise rühmitusena läbi lüüa, ühinesid nad vapsidega.

1931. a. läbis „Päevalehte” teadaanne, et Eestis tegutseb põrandaalune saksa ordu — „Balti Vendlus”. „Balti Vendlus” oli ajalehe andmeil balti sakslaste organisatsioone juhtiv organisatsioon Berliinis, mis seadis oma eesmärgiks germaanlaste riigi loomise Reinist Vaikse ookeanini. Oma osakondade kaudu muutus see organisatsioon Baltimaadel üheks saksa fašismi eestvõitlejaks. Balti sakslastest fašistid avastasid varsti oma hingesuguluse vapsidega, mis leidis kajastust nende praktilises koostöös.

Vapsidega arendasid koostööd ka vanad kodanlikud parteid. Esimeseks silmapaistvaks lähenemiseks oli vapside poolt esitatud rahva-

²¹ Vt. „Päevaleht” nr. 119 ja 120, 4. ja 5. V 1929.

²² Vt. ORKA materjalid.

²³ Lapua-liikumine sai oma nimetuse Soome samanimelise alevi järgi, kust 1930. a. suvel peamiselt kulaklikud kihid alustasid liikumist Soome töölisliikumise ja Kommunistliku Partei vastu.

hääletuse seaduse vastuvõtmine Riigikogu poolt. Põhiseaduse muutmise kergendamiseks pidi nüüdsest peale Riigikogus seda otsustama lihthäälteenamuse.²⁴ Nii muutusid vapsid kõigi reaktsiooniliste jõudude külgetõmbekeskuseks kodanlikus Eestis, fašistliku reaktsiooni avangardiks.

Eesti tööliste streigivõitlus näitas samal ajal ajutist langust, mis ei tähendanud aga töölisliikumise langust. Streigiliikumise ajutist langust võib seletada põhiliselt kolme teguriga: 1) kodanluse repressioonide süvenemisega, 2) töötuse üldise kasvuga ja 3) asjaoluga, et töölisel jäid (sotside mõju tagajärjel) eemale töötute liikumisest, mistõttu töölisliikumine jäi killustatuks. Nimelt samal ajal, kui tööliste streigivõitlus ajutiselt langes, elas töötute liikumine üle märgatavat tõusu, mis on seletatav peamiselt asjaoluga, et majanduskriis viis vabrikuvärvate taha hulgaliselt klassiteadlikke töölisi, kelledest ettevõtjad püüdsid eeskätt vabaneda.

6. märtsil 1930. a. organiseeris EKP ülemaalse töötute päeva, mispuhul Tallinnas kogunes tänavale ligi 1500 töötut; ratsapolitseil ajas need laiali. Järgmine võimas töötute meelevallandus toimus 25. nov. 1930. a. samuti Tallinnas. EKP lendleht „Proletaarlaste, maatööraha, sõdurid, madrused ja noortöölised“ nimetas seda esimeseks kevadet kuulutatavaks pääsukeseks.²⁵

Pealinna töötute eeskujul hakkasid aktiviseeruma ka väiksemate linnade töötud.

Esimestena Tallinna töötute järel tulid tänavale Tartu ja Narva töötud. Töötute liikumise kasv oli niivõrd märgatav, et see osutas uute klassilahingute perioodi lähenemisele.

Uutele klassinihetele kapitalistlikes maades juhtis tähelepanu J. V. Stalin oma kõnes „Parempoolsest kallakust ÜK(b) Parteis“ 1929. a. Ta ütles: „... on niisugused faktid, mis selgesti räägivad, et kapitalismimaades kasvavad uue revolutsioonilise tõusu elemendid.“

Siit tuleneb ülesanne — teravdada võitlust sotsiaaldemokraatia vastu ja eeskätt tema „pahempoolse“ tiiva kui kapitalismi sotsiaalse toe vastu.

Siit tuleneb ülesanne — teravdada võitlust kommunistlike parteide parempoolsete elementide kui sotsiaaldemokraatliku mõju agentuuri vastu.

Siit tuleneb ülesanne — juhtida võitluse teravik lepluse vastu, mida esineb parempoolse kallaku suhtes ja mis on oportunisti pelgupaigaks kommunistlikes parteides...²⁶

Arvestades toimunud klassinihkeid töötas Komintern välja oma taktika, mis oli suunatud proletaarsete masside ettevalmistamisele uuteks klassilahinguteks.

1930. a. juhtis EKP aprillipleenum partei liikmete tähelepanu

²⁴ Vt. „Võitlus“ nr. 2, 1. VIII 1931.

²⁵ Vt. ORKA materjalid.

²⁶ J. Stalin, Teosed, 12. kd., Tallinn 1952, lk. 16.

töölise klassivõitluse tõusule ja mobiliseeris nad võitlusse parteis aset leidnud parempoolse kallaku kui peahädaohu vastu, samuti lep- luse vastu parempoolsusega, mille partei oli pärandanud veel kapi- talismi ajutise stabilisatsiooni ajast.

Samal ajal süvenes tööliklassi revolutsioonilise liikumise ja kodanluse fašiseerumise tagajärjel lõhe parem- ja pahempoolsete sotside vahel nende parteis. Esimesed töötasid avalikult koos kodan- lusega. Viimased, et töölisliikumise arenemisega sammu pidada ja seda oma mõju all hoida, muutusid sõnades üha revolutsioonilise- maks. Tegelikult oli aga nende eesmärgiks töölisliikumist revolutsi- oonist kõrvale juhtida. Seetõttu muutus pahempoolsete sotside pal- jastamine EKP teiseks tähtsamaks ülesandeks. Siinjuures ei saa eitada fakti, et pahempoolseil sotsidel (kelle all me mõistame kapi- talistide teadlikke abilisi) läks korda osaliselt enestega kaasa tõm- mata revolutsiooniliselt meelestatud, kuid mitte küllaldaselt klassi- teadlikke töölisi ning et sotsiaaldemokraatia pahempoolsuses kajas- tus ka töölise revolutsioneerumine; seda enam aga oli vaja võidelda nende vabastamiseks sotsiaaldemokraatlikest tõekspidamistest. EKP tegi seda oma pörandaaluse ajakirjanduse ja lendlehtede kaudu. EKP selgitas ka töölisele kodanliku Eesti majanduslikku ja poliitilist olu- korda, paljastas kodanluse ettevalmistusi põhiseaduse muutmiseks kui ettevalmistusi fašistliku diktatuuri kehtestamiseks.

1931.a. veebruaris toimus järjekordne EKP Keskkomitee plee- num, kus märgiti murrangut, mis aasta jooksul oli toimunud partei seesmise kriisi likvideerimisel. Partei juhtiv osa oli kasvanud just töötute liikumises, oli suurenenud partei liikmete arv, juhtimine oli lähenenud kohalikele organisatsioonidele. Ent eraldatus töölistmassi- dest polnud veel kaugeltki likvideeritud ning nõudis selles osas EKP edasist võitlust.²⁷

Ka polnud veel suudetud ületada parempoolset kallakut. Lisaks parempoolsusele tugevnes majanduskriisi ajal partei ridades pahem- poolne kallak, mille kandjaiks, nagu märkis pleenum, olid kriisi ajal laostunud „pööraseks läinud väikekodanluse elemendid, kes olid sattunud tööliklassi ridadesse”.²⁸ Kui parempoolne kallak teostas avalikult kontrrevolutsioonilist poliitikat, siis pahempoolne kallak viis faktilisele tööst loobumisele. Loobudes igapäevasest partei- tööst asendasid pahempoolsed selle fraasidega.²⁹ Partei taktikas viis pahempoolsus sektantismi ning ähvardas viia siseparteilise kriisi süvenemisele perioodil, kus parteil oli vaja koondada paisu- vat töölisliikumist ühisriideks.

1931. a. veebruaripleenum rõhutas: „Käesoleval ajajärgul seisab partei peaülesanne selles, et hulkasid võitluseks osaliste nõudmiste

²⁷ Vt. Коммунистический Интернационал перед VII всемирным конгрес- сом (материалы), Москва 1935, lk. 324.

²⁸ Vt. J. S a a t, Marksismi-leninismi ideede levimine Eestis, Tallinn 1954, lk. 30.

²⁹ „Klassivõitlus” nr. 129—130, 1931, lk. 40.

eest (palganõudmised, maksude vastu, tööpuuduse vastu jne.) koguda, selles võitluses laia proletaarset ühisrinnet tegelikult teostada, võitlusele revolutsioonilist sisu anda ja võitlust kõrgemale astmele — poliitilise võitluse astmele tõsta.”³⁰

1931. a. veebruaripleenumil oli otsustav tähtsus kallakute likvideerimisel EKP-s ja õige, marksistlik-leninliku liini taastamisel kriisiaegses klassivõitluses.

Eduka võitluse tulemuseks kallakutega oli pahempoolsete ametiühingute vabanemine kallaklaste ja oportunistide mõju alt. Juba 1931. a. märkis kodanlik ajakirjandus, et „kommunistlik element tungib ametiühingutesse”.³¹ Kõige tugevam oli kommunistide mõju tekstiilitöölise ja sadamatöölise ametiühingutes, tekstiilitöölised aga olid eesti tööliste seas arvukuselt esikohal. EKP juhtiva osa tugevnemise ilmekaks demonstratsiooniks pahempoolsete ametiühingute osas oli 1931. a. algul Tallinnas toimunud I ülemaaline töötute kongress, mille põhinõuded ja otsused töötati välja EKP Keskkomitee büroo juhtimisel (sekretär Osvald Tuul).³² Majanduslike nõudmiste kõrval püstitati, vastu astudes kodanluse fašistliku diktatuuri ettevalmistamisele, kodanlik-demokraatlike vabaduste nõue.³³

Kongress valis töötute organiseerimiseks toimkonna, 25. veebruar kuulutati üleriigiliseks töötute päevaks.

On andmeid kommunistlike rakukeste tegutsemise kohta Narva tekstiilitöölise seas 1931. a. Krulli vabrikus tegutses oma EKP vabrikukomitee, kes andis välja ajalehte „Krulli Tööline”, samuti lendlehti.³⁴

Kommunistlikud ideed levisid ka koolides, peamiselt seminarides, kus õppis kehvem noorsugu. Läänemaa Opetajate Seminaris läks asi isegi nii kaugele, et nn. „isamaalisel hommikul” kandis kooli orkester kogu kooli administratsiooni ja õpilaskonna juuresolekul ette „Internatsionaali”.³⁵ Ka Tartu koolidest tuli teateid punanurkade ja -rakukeste olemasolust, kus õpiti tundma elu Nõukogude Liidus ja tehti usuvastast propagandat, nagu märkis kodanlik ajaleht.³⁶

Kõik sümptoomid näitasid, et Eestis valmisid revolutsioonilise situatsiooni eeldused, mis 1932. a. viisidki kodanluse poliitilise kriisini.

Poliitilise kriisi süvenemisele aitas kaasa ka majanduskriis, mis 1932. a. saavutas oma sügavseisu, esile kutsudes klassivastuolude äärmise teravnemise.

1932. a. algas tööliste ja töötatöölise väljaastumistega. Nii toimus jaanuaris Pärnus EKP juhtimisel töötute meelevaldus, Tartu

³⁰ „Klassivõitlus” nr. 131—132, 1931, lk. 13.

³¹ „Päevaleht” nr. 95, 9. IV 1931.

³² Vt. „Edasi” nr. 173 (1843), 1. IX 1934.

³³ Vt. „Tööliste Aeg” nr. 5, 8. II 1931.

³⁴ Vt. ORKA materjalid.

³⁵ Vt. „Päevaleht” nr. 131, 15. V 1931.

³⁶ Vt. „Päevaleht” nr. 149, 5. VI 1931.

töötuil oli organiseerimisel revolutsiooniline rinne, Narvas oli oodata töölise streiki, Viljandi töötud esitasid oma nõuded ning Narva-Jõesuus võttis töötute poolt valitud nõukogu osa tööbörsi funktsioone enda kätte, kusjuures kodanlik ajaleht hädaldas, et selles Eesti osas on juba kehtestatud nõukogude võim.³⁷

Streikijate arv näitas 1932. a. taas järsku tõusu — streikisid 5310 töölist.³⁸ See oli majanduskriisi-aegse streigivõitluse kõrgpunkt. Streikijate põhimassi moodustasid tekstiili- ja hädaabitöölised. Streigid olid suunatud peamiselt palkade alandamise ja tööliste vallandamise vastu. 11. I 1932. a. toimus Narva linavabriku tööliste üldkoosolek. 1400-st linavabriku töolisest võttis sellest osa 1300. Üldkoosoleku üksmeelne otsus oli palkade alandamise puhul alustada streiki. Tööliste ühise väljaastumise tõttu oligi vabriku administratsioon ajutiselt sunnitud kavatsatud palkade alandamisest loobuma.

Üldiselt olid 1932. a. streigid lühiajalised, välja arvatud Tallinna pottseppade streik, mis kestis kaks nädalat, kandsid aga tormilist ilmet nagu kogu tööliikumine Eestis 1932. a.

Klassivõitluse kasv suurendas ebakindlust kodanluse ridades, mis väljendus 1932. a. neljas valitsuse vahetuses. Esimese valitsusekriisi kutsus esile rea erakondade (rahvaerakonna, kristliku rahvaerakonna, majaperemeeste ja tööerakonna) ühinemine nn. rahvuslikuks keskerakonnaks, mis võeti ette kodanluse selle rühma jõudude koondamiseks. Ka ülejäänud kodanlikud parteid — põllumeestekogud ja asunikud — olid ühinenud 1932. a. jaanuari lõpul. Nii kujunesid 2 suuremat vanade kodanlike parteide blokki, kolmandaks oli vapside partei. „Faschistlike kodanlike parteide ühinemine, katsed luua hulgalist faschistlist parteid laiade väikekodanliste hulkade võitmiseks faschismile demagoogia abil, sidemete kõvendamine Soome ja teiste maade faschistidega, võimu andmine Teemandile, kes esitab faschistlike põllumeestekogu partei seda tiiba, kes nõuab „radikaalsemat tegevust”, tähendab seda, et faschismi pealetungimine astub uude otsustavasse ajajärku . . .”³⁹, kirjutas EKP.

Kodanlike parteide koondumine oli tingitud: 1) vastuolude teravnemisest linna- ja maakodanluse vahel, mis neid seestpoolt nõrgestas, ja 2) vajadusest koondada ridu otsustavaks pealetungiks tööliklassile. See algas viivitamata.

1932. a. märtsis võttis Riigikogu vastu põhiseaduse muutmise eelnõu, mille töötas välja 1931. a. suvel moodustatud nn. „Riigikogu rühmade vahelise mitteametliku komisjoni alamkomisjon”. Riigikogu liikmete arv pidi vähenema 80-le, senise riigivanema pidi asendama poliitiliselt Riigikogu ees mittevastutav president.

Rahvahääletus määrati 1932. a. augustile. Hääletusel kukkus

³⁷ Vt. „Päevaleht” nr. 23, 24. I 1932.

³⁸ Vt. „Klassivõitlus” nr. 154, 1933, lk. 21.

³⁹ Eestimaa Kommunistilise Partei ülesannetest ja taktikast, Leningrad 1932, lk. 6.

aga põhiseaduse muutmise eelnõu läbi ja reaktsiooni esimene otsustav pealetung oli seega tagasi löödud.

Veel sama aasta novembris esitasid vapsid oma põhiseaduse muutmise kava Riigikogule, mis oli järjekindlamalt fašistlik kui eelmine, vanade kodanlike parteide seaduseelnõu.

1933. a. omandas vapside sotsiaalne demagoogia ja fašistlik agitatsioon põhiseaduse muutmise ümber seninägematu ulatuse. Vapside majanduslikud ja poliitilised positsioonid hakkasid märgatavalt tugevnema just pärast fašistlikku riigipööret Saksamaal 1933. a. jaanuaris. Vapsid hakkasid nüüd raha saama nii annetustena Saksa kapitaliga seotud ettevõtelt Eestis kui ka vahetult Saksamaalt.

Vapse toetas otseselt hitlerlik propagandaministeerium, kelle esindajaks kohapeal oli endine von der Goltzi diviisi ohvitser, ametlikult Siemens-Schuckert'i firma esindaja Malzan,⁴⁰ samuti Saksa kindralstaabi finantsosakond „Die Auslandshilfe”. Selle abi pinnal tihenes veelgi balti sakslastest fašistide ja vapside koostöö, kasvas Saksa majandus- ja poliitikategelaste huvi Eesti vastu. Fašistliku riigipöörde teostamiseks ja Saksa ekspansioonile pinna valmistamiseks organiseerisid balti sakslastest fašistid 1933. a. oma põrandaaluse organisatsiooni. Paruneid hakkas Saksamaalt Eestisse tagasi tulema.

1933. a. juunis kukkus rahvahääletusel Riigikogu rühmade põhiseaduse muutmise eelnõu teist korda läbi. Asunistest ja rahvaerakonnast moodustatud valitsus Tõnissoni juhtimisel ei viivitanud seejärel enam krooni kursi kukutamisega, milline küsimus oli päevakorras olnud juba alates naelsterlingi devalvatsioonist (1931). Krooni kukutamine kujunes sel moel nagu karistuseks sõnakuulmatuile rahvamassidele, kes ei toetanud suurvõimude fašistliku diktatuuri kehtestamise püüdeid.

Et rahvahulkade rahulolematust juba eos summutada, järgnes 11. aug. 1933. a. üldise sõjaseisukorra väljakuulutamise. Igasugused „sihilikud Jugupidamatuse avaldused” kodanliku valitsuse aadressil keelati, ajakirjade ja väiksemate trükiteoste üle, mille kohta võis arvata, et nad rahva seas levivad, kehtestati eeltsensuur. Kodanluse üldine rünnak oli suunatud tööliklassi vastu, selle tõelise iseloomu maskeerimiseks aga suleti ka vapside organisatsioonid. Muidugi ilmneb vapside organisatsioonide sulgemises 1933. a. ka kodanluse omavaheliste vastuolude süvenemine. Tegelikult aga oli olukord kujunenud selliseks, et see vanade kodanlike parteide üritus tuli vapsidele aina kasuks, sest see kinnitas näiliselt faktiga vapside demagoogilist propagandat, milles nad endid püüdsid kujutada tõelise demokraatliku korra eestvõitlejatena, võimuloleva kodanliku valitsuse vastastena. Pealegi oli vapside organisatsioonide sulgemine suurel määral formaalne. Nende häälekandjal lubati ilmuda ja fašistlikku propagandat levitada. Samas vaimus toimus

⁴⁰ Vt. „Rahva Sõna” nr. 137 (1877), 15. XI 1933.

ka suuline agitatsioon, sest lähenes vapside põhiseaduse muutmise eelnõu rahvahääletus 1933. a. oktoobris. Ja peab märkima, et vapsidel, kes esinesid Tõnissoni valitsuse „paljastajatena” ja kehtiva korra „vastastena”, oli küllaltki menu laostunud või laostumishirmus oleva väikekodanluse hulgas, kuid samuti ka mitteklassiteadliku proletariaadi seas, kes ei suutnud poliitilist valet eraldada elu tegelikkusest. 14.—16. oktoobril 1933. a. toimus järjekordne, arvult kolmas plebistsiid, kus vapside põhiseaduse muutmise eelnõu, mis nägi ette fašistliku diktatuuri sisseseadmise, võeti rõhuva hääletenamusega vastu (poolt 414 714, vastu 156 342 häält). Hääletamise tulemus oli muidugi kaugel tegeliku olukorra kajastamisest, sest isegi mõne reaktsioonilise tegelase arvates sarnanes olukord 1848. a. hääletamisega Prantsusmaal, kus Victor Hugo sõnade järgi alatus hääli luges, kavalus kontrollis, valelikkus arvas kokku ja müüdavus tagajärgi kinnitas. Uus põhiseadus pidi kehtima hakkama 24. jaanuarist 1934. a.

Vapside võidurõõmul polnud piire, üle maa toimusid kirikuis tänujumalateenistused. Nii tõestusid Ed. Vilde sõnad: „See liikumine seisab meie ees — ühel käel landeswehrlük parun, teisel käel kaasakutsutud papp. See koalitsioon on programm. Ja see programm on sitikmust tagulus.”⁴¹

Vapside võit on seletatav selle üldise rahulolematusega, mille majanduskriis ja kodanliku valitsuse poliitika rahvamassides oli tekitanud. Osa väikekodanlust, hirmul majanduskriisi raskuste ja töölisliikumise tõusu ees, laskis ennast uskuma panna, et „tugeva käe” diktatuuriga algab tema elus uus, stabiilne periood, millal ta on kaitstud nii laostumise kui ka revolutsiooni eest. Ka suurendas majanduskriis üldiselt laostunud elanikkonna hulka, kes elu seeshoidmiseks oli valmis kinni haarama igast õlekõrrest. Kõik need momendid kasutas fašistlik agitatsioon ära, mängides demagoogiliselt kõigi elanikkonnakihtide kõige nõrgemal külgedel. Pea demagoogia aga hirmutati elanikkonda ka igasuguste ähvardustega, mis araverelisi sundiski minema hääletama.

Fašistliku diktatuuri ettevalmistamisperiood hakkas sellega lõpule jõudma. Tõnissoni valitsus andis nendele ettevalmistustele lõpliku viimistluse. „Tõnissoni valitsuse tegevus näitab meile väga selgesti, kuidas nn. kodanlisest demokraatiast avalik fašistlik diktatuur orgaaniliselt välja kasvab,”⁴² kirjutas EKP häälekandja „Klassivõitlus”.

Täitnud oma ülesande, kaotas Tõnissoni valitsus üldise sõjaseisukorra (see jäi kehtima pealinnas, Nõukogude Liidu piiri ääres ja raudteede piirkondades), samuti ajakirjanduse eeltsensuuri, ja lahkus.

Uue, nn. üleminekuvalitsuse moodustas vanadest kodanlikest parteidest kõige reaktsioonilisema — põllumeestekogude liider

⁴¹ Parunid ja põhiseadus, Tallinn 1933, lk. 30.

⁴² „Klassivõitlus” nr. 158, 1933, lk. 5.

K. Päts. Üleminekuvalitsusega algas üleminek fašistlikule diktaatuurile.

Kõigepealt anti vapside organisatsioonidele taas ka ametlikult täielik tegevusvabadus, kusjuures vanade kodanlike parteide tege-
lasi läks hulgaliselt üle vapside parteisse. Vapside partei esimeseks
ürituseks oli nüüd allkirjade kogumine „marksismi vastu võitle-
mise seadusele”.

Et kodanluse pealetung tööliklassile oli oma eesmärgi saavu-
tamas, siis astus Eesti tööliikumine oma otsustavasse ajajärku.
Kui EKP osa majanduskriisi algul organisatsioonilise kriisi tõttu
oli tööliste streigivõitluses olnud minimaalne, siis võib siin alates
1932. a. märgata murrangut — EKP juhtiv osa tööliste streigivõit-
luses hakkas kasvama. 1933. a. streigivõitluse peamiseks stiimuliks
oli krooni devalvatsioon. Neist streikidest oli silmapaistvaim
3. augustil alanud Sindi vabriku värvimisosakonna tööliste streik,
mis nn. „itaalia streigi” näol tõi majanduskriisi-aegsesse töölis-
klassi võitlusesse uue streigivormi. Streik oli suunatud madalate
palkade vastu. Kahe vahetuse tööliised tulid hommikul kell 6 vabri-
kusse ning viibisid seal töötamata 16 tundi. Streigimurdjaid sunniti
vabrikust lahkuma. Kes ise keeldus minemast, visati värava taha.
Värvijaid toetasid võitluses streigimurdjate vastu trükiosakonna
tööliised, kes ise ei streikinud. Järgmisel päeval alustasid streiki
sitsiosakonna tööliised. 700 töölist kogunesid koosolekule. Tööliste
koosolek teatas vabriku administratsioonile, et niipea, kui keegi
streikijaist vallandatakse, algab üldstreik. Hoolimata sellest, et
vabriku valitsus värvijad vallandas, üldstreiki ei järgnenud. Sindi
käitisevanemate seas olid ülekaalus sotsid ja need asusid üldstreigi
suhtes kõhklevale seisukohale, otsustades 5 päeva oodata. Vahepeal
saabus kohale ETKL- (Eesti Töölisühingute Keskliit — Eesti sotslike
ametiühingute keskorgan) esindaja ning ühiste jõupingutustega
õnnestus sotsidel veenda töölisi üldstreigist loobuma. Ettekäändeks
toodi fakt, et teiste linnade tekstiilitöölisedega polnud sidet ning üksi
oli raske midagi saavutada.

Nii ajasidki sotsid 1933. a. silmapaistvaima streigi nurja, ilma
et tööliised palgatõstmist oleksid saavutanud.

Krooni devalvatsioon tõi eesti tööliklassi streigivõitlusesse ka uue
streikijate kategooria — nimelt meremehed.

Töötute liikumine toimus 1933. a. endiselt valdavas enamikus
EKP loosungite all, seega otseselt fašismi vastu suunatud loosun-
gite all. 22. ja 23. jaanuaril 1933. a., V. I. Lenini surma-aastapäe-
val, toimus Tartus III ülemaaline töötute kongress. Kongress
mälestas Leninit „Leinamarsiga” ning esitas kodanlik-demokraat-
like vabaduste nõude.⁴³ Üldine töötute hulk arvati tõusvat sellal
200 000-le.⁴⁴

Uus töötute rahutuste laine algas 1933. a. sügisel, pärast sõja-

⁴³ Vt. „Teine Tööliste Võitlus” nr. 4 (6), 28. I 1933.

⁴⁴ Vt. Sealsamas.

seisukorra kaotamist. 31. oktoobril toimus umbes 1000 Tallinna töötü üldkoosolek, kus nõuti tööd. 3. novembril alustasid töötud näljastreiki. 7. novembril, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 16. aastapäeval, korraldasid töötud läbi Tallinna näljamarsi.⁴⁵ Tallinna töötute järel asusid streikima ka Pärnu töötud, kus üle 1000 töötü hulgest võeti tööle vaid 33 naistöölisi. Kuid sotsid ajasid Pärnu töötute streigi nurja delegatsiooni saatmisega kodanliku valitsuse juurde.

Viimane fakt näitab, et EKP mõju hakkas 1933. a. lõpupoolel töötute liikumises nõrgenema, aga ühtlasi tähendas see, et majanduskriisi-aegne töötute liikumine hakkas vastu minema oma langusele, et temas hakkasid kasvama vapside, sotside ja teiste töölisvaenulike elementide mõjud. Seletatav on see peamiselt sellega, et püsiva ja lootusetu töötuse olukorras suurenes majanduskriisi lõpupoolel deklasseerunud elemendi (kaltsakproletariaadi) osatähtsus töötute seas, samuti sellega, et majanduskriisi toimele sattus töötute ridadesse ka palju mitteproletaarset elementi: laostunud käsitöölisi, väikekaupmehi, taluomanikke jt.

EKP mõju vähenemine töötute liikumises 1933. a. lõpul ei tähendanud aga kaugeltki EKP mõju vähenemist tööliikumises üldse. Vastupidi: just see periood, aastad 1932—1933, on tähelepanuvate võitude ajaks EKP ajaloos. EKP kindlustus nii organisatsiooniliselt kui ideoloogiliselt, paljastades ja kihutades oma ridadest minema provokaatorid. Samuti kihutati nad minema teiste töölisorganisatsioonide, sealhulgas ka pahempoolsete ametiühingute ridadest. Faktiliselt tähendas see murrangut pahempoolses ametiühinguliikumises. Pahempoolsed ametiühingud olid muutunud revolutsioonilistest organisatsioonidest „... tööliste hulkadest täiesti eraldatuiks, kinnisteks, väikesearvulisteks, hulkade võitlusest eemalseisvaiks ja seda ignoreerivaiks organeiks”.⁴⁶

Alates 1933. a. seoses organisatsioonilise tugevnemise ja võitlusega tööliste ühisrindede eest, hakkas EKP erilist tähelepanu pühendama just ametiühinguliikumisele, mistõttu ka EKP juhtiv osa selles kasvas — Tallinnas ja Tartus läksid pahempoolsed ametiühingud kaasa EKP üleskutsega tööliklassi ühisrindede loomiseks fašismi vastu.

Tähtsaks võiduks ideoloogilisel rindel oli 1932. a. märtsis avaldatud EKP Keskkomitee manifest, nn. Märtsimanifest. Pöördudes Eesti tööliklassi poole kutsus EKP teda võitlema kodanliku diktatuuri vastu nii selle demokraatlikus kui ka fašistlikus vormis. EKP esitas oma programmi — revolutsiooni teel kriisist väljapääsu programmi. Suure tähtsusega oli 1918.—1919. a. Eesti Tööraha Kommuuni poolt agraarüksimuses tehtud vigade esmakordne avalik kriitika, mis aitas tugevdada liitu maakehvistu ja maaproletariaadiga. Agraarüksimuses tehtud vigade kriitikas arvestas EKP kollek-

⁴⁵ Vt. „Rahva Sõna” nr. 135 (1875), 8. XI 1933.

⁴⁶ ORKA materjalid.

tiviseerimise kogemusi Nõukogude Liidus. Hinnates kujunenud poliitilist situatsiooni öeldi Märtsimanifestis: „Eesti töölisliikumine asub praegu niisuguses seisukorras, kus me võime rääkida kaitsevõitlusest ja vastupealetungi eelduste kasvust.”⁴⁷ Kaitse ja vastupealetungi teostamiseks kutsuti töölisi ühinema ühisrindesse. Märtsimanifestiga andis EKP eesti tööliklassile õige, revolutsioonilise võitlusprogrammi, määras ära võitluse taktika ning lõi eeldused tööliste ja töötava talurahva liidu kindlustumiseks. Vaatamata saavutatud edusammudele ei olnud partei organisatsiooniline kriis veel likvideeritud. Side töötajate kõige laiemate hulkadega oli nõrk. 1932. a. avaldatud „Avalikus kirjas kõikidele EKP liikmetele ja poolehoidjatele” tegi Keskkomitee partei liikmetele ülesandeks asuda kõikjal kohapeal töölisliikumise etteotsa.

Mõlemad parteidokumendid olid tähtsaks etappi partei organisatsioonilise kriisi ületamisel. Nende abil mobiliseeris EKP tööliklassi võitluse põhiseaduse muutmise vastu, samuti kehtiva kodanliku korra vastu.⁴⁸ EKP näitas, et väljapääs kriisist ei seisne mitte põhiseaduse muutmises, vaid et ainsaks väljapääsuks võib olla kodanliku korra kukutamine.

1933. a. astus EKP poolt juhitud võitlus fašismi pealetungi vastu uude etappi. EKP asus organiseerima tööliklassi ühisrinnet võitluseks fašismi vastu. EKP pöördus ühisrindesse ühinemise ettepanekuga ka Eesti Sotsialistliku Tööliste Partei (sotside) ja Eesti Töölisühingute Keskliidu poole, ent need, jäädes truuks oma kodanluse teenri osale, vastasid EKP ettepanekule sõimu ja mõnitustega. Eesti tööliklassi seas hakkas aga ühisrinde idee võitma üha enam poolehoidu.

1933. a. aprilli algul hakkasid Tartu pahempoolsed ametiühingud EKP juhtimisel organiseerima tööliste ühisrinnet. Ühisrinne seadis oma eesmärgiks võidelda 1) üldise kindlustuse eest töötuse vastu, 2) palkade alandamise vastu, 3) põhiseaduse muutmise vastu ja 4) sõjaseisukorra kaotamise eest.⁴⁹

1933. a. augustist pärinevail andmeil alustas Tartu järel ka Tallinn-Harju Ametiühingute Kesknõukogu tööliste ühisrinde organiseerimist.⁵⁰ Fašismivastase ühisrindega ühines ka samal kuul toimunud üleriigiline töölisvanemate konverents.

Pööre, mis 1933. a. tööliste seas ühisrinde kasuks toimus, oli töötavate masside kaitsereaktsiooniks fašismiohu vastu, mis vahetult ähvardas.⁵¹ Kuid mitte üksnes töölisel, vaid nende järel ka kõik demokraatlikud kihid, näit. demokraatliku intelligentsi esindajad tõstsid häält fašismi vastu. „Reaktsiooni ristiämblik koob tihe-

⁴⁷ „Klassivõitlus” nr. 141—142, 1932, lk. 6.

⁴⁸ „Klassivõitlus” nr. 143—144, 1932, lk. 68—69.

⁴⁹ Vt. ORKA materjalid.

⁵⁰ Vt. ORKA materjalid.

⁵¹ Vt. «Коммунистический Интернационал» № 20—21, 20. XII 1935.

dat võrku kogu Euroopa kohal. Poeetid, olge valvel!"⁵² hüüdis Barbarus samal 1933. a., kutsudes poeete haarama oma sõjariista — sõnarelva. Sütiste läks „Läbi töötavate tänavate” (1932) ja näitas inimesi „Vaevamägede mailt”, Antson tuli oma epigrammidega (1933). Epigrammis „Eesti” ütles ta:

„Siin härrastel vaid kõrge lend,
töömeeste tõusu kus on rahvas igatsend.
Siin kestab igavene saagi jaht.
„Kultuurielu” loitvam taht
on omakasu, suur profiit.
Von Mühleni ja Scheeli liit —
see valmistamas Hitlerile asumaad.
Noh, õitseks jälle õilis
teoorjuse ja moonakluse laad.”⁵³

Seega võime kodanlikus Eestis a. 1932—1933 konstateerida revolutsioonilise situatsiooni elementide edasist kasvu. Valitsevad klassid ei suutnud enam muutumatul kujul oma võimu säilitada. Majanduskriis, kodanluse omavaheliste vastuolude teravnemine ja tööliste klassivõitluse kasv nõrgestas kodanlust ning viis ta poliitilise kriisini. Kriis ilmnas vanade kodanlike parteide sisemises lagunemises ja fašiseerumises, riigivõimu äärmises ebastabiilsuses, põhiseaduse muutmises ja kõigi kodanluse omavaheliste vastuolude senisest suuremas teravnemises. Kodanluse poliitilist kriisi näitas ka see, et ta läks otsesele koostööle balti parunite ja teiste baltisakslastega.

Seega lähenes kodanlik Eesti koos ülejäänud kapitalistliku maailmaga revolutsioonide ja sõdade uuele ajajärgule, millele juhtis tähelepanu Kominterni Täitevkomitee XIII pleenum 1933 a. detsembris.⁵⁴

Majanduskriisiga kaasnev vastuolude teravnemine kapitalistlike riikide vahel tugevdas maailma uue, vägivaldse ümberjagamise tendentse. Maailma uuest ümberjagamisest olid kõige enam huvitatud Versailles' süsteemi poolt ahistatud riigid — Saksamaa ja Itaalia. See oli üks nende riikide kiire fašiseerumise põhjusi, sest mitte ükski kapitalistlik riik ei saa tõsiselt sõdida, kui ta pole eelnevalt kindlustanud oma tagalat, ohjeldanud oma töölisi, ohjeldanud oma asumaid.

Sõltuvail ja poolsõltuvail riikidel, kelle hulka kuulus ka kodanlik Eesti, oli suurriikidega võrreldes erinev seisund. Koos teiste Balti riikidega pidi Eesti moodustama imperialistlikele riikidele platsdarmi sõja puhul Nõukogude Liidu vastu.

⁵² J. Barbarus, Kogutud teosed, Tallinn 1950, lk. 123.

⁵³ A. Antson, Epigramme III, Tallinn 1933, lk. 8.

⁵⁴ Vt. «Коммунистический Интернационал» № 36, 20. XII 1933, lk. 3.

Militaristlike tendentside tugevnemisega majanduskriisi ajal kasvas ka agressioonioht Nõukogude Liidule, sest teravnes vastuolu kahe erineva ühiskondliku süsteemi — sotsialistliku ja kapitalistliku süsteemi vahel. Sellest tulenevalt kasvasid suurte imperialistlike riikide huvid Baltimaade kui platsdarmi vastu. Sisemistest vastuoludest lõhestatud ja revolutsioonilise kriisi lävele jõudnud Eesti ei olnud vastuvõetav platsdarmina sõjas Nõukogude Liidu vastu, sest EKP juhtimisel hoogustus eesti proletariaadi seas üha enam võitlus sõja vastu, Nõukogude Liidu kaitseks. Et selline olukord likvideerida, oli Eestis vaja kehtestada fašistlik diktatuur. See soov ühtis täielikult eesti kodanluse enese taotlusega, kes samuti oli huvitatud töölisklassi revolutsioonilise liikumise mahasurumisest ja Nõukogude Liidu hävitamisest. Nende ühiste huvide baasil kujuneski välismaise ja omamaise reaktsioonilise kodanluse ühisrinne Eesti töölisklassi vastu, mis 12. III 1934. a. teostas fašistliku riigipöörde ja kehtestas fašistliku diktatuuri. Et suurte imperialistlike riikide hulgast oma mõjuga esiplaanile tõusis just Saksamaa, on seletatav kodanliku Eesti suure majandusliku sõltuvusega temast, samuti ka sellega, et fašistide võimuletulekuga muutus Saksamaa kõigi rahvusvaheliste reaktsiooniliste jõudude avangardiks.

Fašistliku riigipöördega saadeti kodanlik parlament laiali, valitsema asus piiramatu võimuga diktaator (K. Päts) koos oma klikiga, töölisklassi vastu suunatud terror süvenes.

Fašismi võit oli võimalik peamiselt seetõttu, et 1) Eesti töölisklass polnud küllalt tugev. Teda nõrgestas suur tööjõu laostumine, mille tagajärjel töölisklass killustus või dequalifitseerus; 2) sotsid reetsid töölisklassi kodanlusele; 3) EKP, Eesti töölisklassi juht, polnud selleks ajaks veel suutnud täielikult väljuda organisatsioonilisest kriisist ega suutnud seetõttu organiseerida laia antifašistlikku rahvarinnet võitlusele fašismi pealetungi vastu; 4) EKP ei suutnud organiseerida töölisklassi liitu kehvtalurahvaga. Kehvtalurahvas, kuigi rahulolematu kehtiva korraga, jäi faktiliselt klassivõitlusest kõrvale; 5) töölisklassi revolutsioonilise liikumise tõus ei jõudnud 1932.—1933. a. sellisele kõrgusele kui 1924. a. ega suutnud seetõttu vältida fašistliku diktatuuri kehtestamist nagu siis.

Ometi oli 1929.—1933. a. tööliikumise tõus tähtsaks etapiks Eesti töölisklassi võitluskoolis, milles valmisid kaadrid 1940. a. juunipöörde ja Nõukogude Eesti jaoks.

ПОДЪЕМ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ В ЭСТОНИИ В ГОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА (1929—1934)

Канд. истор. наук Э. Плотник

Кафедра истории СССР

Резюме

В 1929 г. в капиталистическом мире разразился всеобщий экономический кризис. Экономический кризис повлек за собою резкое ухудшение положения эстонского пролетариата и одновременно обострение классовых противоречий. Вследствие этого 1929—1933 годы были годами нового оживления и подъема рабочего движения после временного затишья в годы стабилизации капитализма.

Подъем рабочего движения выразился в подъеме забастовочного движения, достигшего своей кульминационной точки в год глубокого застоя экономического кризиса 1932 года. Существенной частью рабочего движения в годы кризиса было движение безработных. Кризис увеличил безработицу и вовлек в массы безработных много классово сознательных, революционно настроенных пролетариев, от которых предприниматели пытались освободиться в первую очередь.

Недостатком эстонского рабочего движения была его раздробленность — забастовочная борьба рабочих происходила врозь с движением безработных.

Вождь эстонского рабочего класса — Коммунистическая партия Эстонии — дала лозунги рабочему движению. Коммунистическая партия Эстонии одновременно успешно боролась также с уклонами и организационным кризисом в своих рядах, преодолев их к 1934 г.

Подъем рабочего движения вызвал политический кризис эстонской буржуазии. Буржуазия торопилась установить фашистскую диктатуру, что ей и удалось в 1934 году при помощи иностранных империалистов. Установление фашистской диктатуры в Эстонии было частью подготовки империалистических государств к агрессии против Советского Союза.

Победа фашизма оказалась возможной главным образом вследствие того, что эстонский рабочий класс был недостаточно силен, а также того, что он не был в союзе с крестьянством. Социалисты предали рабочий класс буржуазии. Коммунистическая партия Эстонии не могла выйти из организационного кризиса и вследствие этого не могла организовать широкий, антифашистский народный фронт.

SÖNALÕPULISE ÜLIPIKA KONSONANDI MÄRKIMISE KUJUNEMISEST EESTI KIRJAKEELES

Dots., filoloogiateaduste doktor A. Kask

Eesti keele kateeder

Tänapäeva eesti kirjakeeles kirjutatakse esimese silbi lühikesele vokaalile järgnev sõnalõpuline ülipikk konsonant reeglipäraselt kahe tähega, näit. *sepp, kott, pakk, õnn, tamm, lill, narr, kass, šahh, šeff, dušš*, samuti *kätt* (osastav sõnast *käsi*), *mett, vett* jt. Sellest üldreeglist erinevalt „kirjutatakse ülipikk konsonant ühe tähega 1) m õ n e d e s ü h e s i l b i l i s t e s sõnades, peamiselt abi- ja ase-sõnades, mis tavaliselt esinevad lauserõhutus asendis: *mul, sul, tal, mus, sus, tas, ses, kel, sel, tol, mil, kes, kas, kus, mis, jah, noh, säh, on, las* (lase), *et*.”¹

Tekib küsimus, kust on pärit ja kuidas kujunes meie kirjakeeles selline märkimisviis. Et seda küsimust selgitada, olgu alamal linnulennult jälgitud sõnalõpulise ülipika konsonandi märkimist eesti kirjakeele arenemise eri perioodidel.

Eesti kirjakeele kõige varasemal perioodil XVI ja XVII sajandil puudus eesti ortograafias veel vajalik ühtlus. Seetõttu ei olnud ka sõnalõpulise konsonandi märkimine kuigi ühtlane. Wanradt-Koelli katekismuses näiteks märgitakse *sel*, kuid *küll*, paralleelselt antakse *et* ja *eth*. Ka Mülleri jutlustes puudub ühtlus, nii märgitakse näiteks kahekordse tähega konsonant sõnades nagu *Linn, Kell, all, küll*, isegi *ayall* e. *ayal*, kuid selle kõrval kirjutatakse ka *Kullasep, sel, on* või tolleaegse ortograafia kohaselt *Kuck, kuß, kudd*.

Tunduvalt järjekindlam on H. Stahl, kes eelistab vastava konsonandi märkimist ühe tähega, näit. *Kel* (*Kellast*), *Tal, Ön, hal, Kot, pat, Trep, Sup*, samuti *kül, kas, kus*, kuid siiski ka *Mock, Pack, eth* jt.

Hoopis vastupidisel seisukohal asub aga H. Göseken, kes eelistab sõnalõpulise ülipika konsonandi märkimist kahe tähega, näit. *kell, öhkull, tamm, lipp, sepp, patt, pott, küll, wett*, kuid kes siiski kirjutab sõnu nagu *kas, kes, kus, sel* [*kombel*], *mil* ühekordse tähega.

¹ G. Laugaste ja M. Teder, Eesti keele grammatika VIII klassile, Tallinn 1955.

Kui Gösekenil puuduksid sellised võõrapäraselt märgitud näited nagu *kuck, pack, eth*, oleks Gösekeni poolt kasutatud märkimisviisi selles küsimuses väga lähedane meie tänapäevasele ortograafiale.

Tunduvalt ühtlasemaks kui eelmistel sajanditel kujuneb eesti ortograafia XVIII sajandil. Nüüd tuleb tarvitusele nn. vana kirjaviis, mille rajajateks olid Forselius ja Hornung. Vana kirjaviisi kohaselt märgiti sõnalõpuline konsonant alati ja järjekindlalt ühe tähega. Nii näiteks kirjutab Hornung oma grammatikas 1693 ühekordse sõnalõpulise konsonandiga mitte ainult käändsõnade nimetava vormid, nagu *Hal* (om. *Halla*), *Am, Tam, Pil, Pen, Kas* (om. *Kassi*), *Sep, Pap, Mat, Püt, Wak, Tek*, vaid ka osastava vormid *Wet* (nim. *Wessi*), *Met, Kät*, samuti kõik ase- ja abisõnad nagu *kes, mis, kel, mil aal, kus, kül, al* jne.

Seda märkimisviisi kasutavad kõik XVIII sajandi autorid, näit. Thor Helle ja Hupel oma töödes, samuti ka XIX sajandi esimese poole keelemehed, näit. Rosenplänter ja Masing. Ka Faehlmann kirjutab järjekindlalt vana ortograafia reeglite kohaselt: *al, el, tal, kul; äm, tam; sön, kon; nar, jor; kas, tus; ak, tak, luk; tap, täp; rüt*² jne. Nii püsis see märkimisviis eesti kirjakeeles seni, kuni tarvitati vana kirjaviisi, s. o. kuni eesti rahvusliku kirjakeele kujunemiseni möödunud sajandi teisel poolel.

Et vana kirjaviis toetus saksa ortograafia printsiipidele ega arvestanud eesti keele häälikute välteid, siis oli arusaadav, et sellise märkimisviisi kohaselt võidi kolmanda välte häälikut märkida ühe tähega (*lep, kel*) ja esimese välte häälikut vastupidiselt kahe tähega (*kallade, lubba*). Möödunud sajandi kolmandal veerandil tarvitusele tulnud uus ortograafia toetus aga enam foneetilisele printsiibile ja sellepärast oleks oodanud uue kirjaviisi rakendamisel sõnalõpulise ülipika konsonandi märkimist kahe tähega. Tegelikult aga seda ei esinenud ja alles sajandi lõpul pääses lõplikult uus kirjaviis selle praegusel kujul kehtivusele.

E. Ahrens, kes uut kirjaviisi esmakordselt rakendas oma keeleteoretise „Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschen Dialektes” (1843) esimese trüki lõpul leiduvas etümoloogilises sõnastikus, märgib siin sõnalõpulist ülipikka konsonanti vana kirjaviisi päraselt, s. o. ühekordse konsonandiga, näiteks sõnades *kap, kel, kep, kol, lot, pap, rok, rop, trum* jt. Samuti märgib ta ka oma grammatika teises trükis (1853), näit. *hal, tal, vil, lin, tam, nöm* (lk. 40), *kul, nar, vak, nok, suk* (lk. 41), *sep, lip, kot, jut* (lk. 42), osastavas *kät, et* (sõnast *esi*), *vet, süt*, jne. (lk. 53), asesõnades *ses, sel, kes, kel, mis, mil* (lk. 83) jne. Ahrensi grammatikas antud eeskujuga ongi seletatav, et see vanast kirjaviisist pärinev joon püsis eesti kirjakeeles tunduvalt kauemini kui vana kirjaviis.

F. J. Wiedemann, arvustades Ahrensi grammatikat, ei ole rahul Ahrensi märkimisviisiga. Ta leiab, et Ahrens oleks pidanud samuti

² Vrd. F. R. F ä h l m a n n, Ueber die Flexion des Wortstammes in der estnischen Sprache, Verh. GEG 1—2, lk. 18.

kui pikki vokaale ka pikki konsonante alati märkima kahe tähega. Nii ei pea Wiedemann õigeks, et ühesilbiliste sõnade lõpult on ära jäetud teine konsonandimärk, mis lastakse esineda alles siis, kui sõna on pikem, näit. *talla*, *nõmme* sõnadest *tal* 'tald', *nõm*. Samuti ei nõustu Wiedemann sellega, et Ahrens vormide *lepa*, *vaka*, *patu* puhul kõneleb elisioonist, kuid nimetava esitab kujul *lep*, *vak*, *pat*. Silma paistab Wiedemannile ka see, et Ahrens esitab partitiivi kujul *kät*, *vet*, partitiivist *e* lisandamise teel saadud illatiivivorme *käte*, *vete* peab aga elisioonilisteks. Wiedemanni arvates oleks õigem olnud kõikidel neil juhtudel märkida sõna lõpul olevat konsonanti kahe tähega.³

Et Ahrens sõna lõpul olevat konsonanti juhtudel nagu *vil*, *lep*, *kät* kahe tähega ei märgi, on ilmselt tingitud sellest, et talle eeskujuks olev soome ortograafia selleks otseselt tuge ei pakkunud, sest lõpukao puudumise tõttu olid seda laadi sõnad (*villa*, *leppä*, *kättä*) soome keeles kahe silbilised.

Kreutzwald märkis konsonandi sel puhul samuti ühe tähega (näit. *õn*, *tük*, *al*, *kät*), sest see ei tekitanud sõnade vääriri mõistmist ja oli lühem, pealegi võimaldas vältida kahe konsonandi kõrvuti kirjutamist, mis oli Kreutzwaldi arvates üheks vana kirjaviisi vastikumaks jooneks. Ometi kahtles ka Kreutzwald selles märkimisviisis, nagu seda näeme kirjast Sjögrenile 2. III 1853, kus ta küsib, kas kirjutada *trepp* või *trep*.

Ka J. Hurt „Lühikeses õpetuses õigest kirjutamisest parandatud viisi” (1864) käib Ahrensi ja Kreutzwaldi jälgedes ning kirjutab *kop*, *kas*, *sep*, *rop* jne. (lk. 6). Et Hurda brošüür oli määravaks juhtnööriks uue kirjaviisi tarvitamisel, siis püsis see sõnalõpuliste konsonantide märkimisviis ka selleaegses kirjakeeles.

Järjekindlalt kirjutab aga kahe tähega sõnalõpu ülipikka konsonanti akad. F. J. Wiedemann oma uurimuses „Versuch über den Werroehstnischen Dialekt” 1864, näit. *lõpp*, *patt*, *lukk*, *kas's* (lk. 10), *kätt* (lk. 25) jm. Ka oma suure eesti-saksa sõnaraamatus 1869 märgib ta nimetava lõpul kaks konsonanti, näit. *kul'l*, *kepp*, *las's*, *mul't*, kuid osastava lõpul ühe konsonandi, näit. *kät* (*lõma*), *vet* (*vēretama*). Ebakindel on tal sõnaraamatus ka asesõnade märkimine (näit. *kes*, *mis*, *mil*, kuid *kell* 'kellel', *sell* 'sellel'). Oma grammatikas 1875 kirjutab ta noomenite lõpul kaks konsonanti juhtudel nagu *käpp*, *lepp*, *sepp*, *pikk*, *lill*, *pil'l* (lk. 355), *kätt* (osast., lk. 378) jne., kuid asesõnade lõpul ei ole ta märkimisviis ka grammatikas päris ühtlane (näit. *kes*, *mis*, *sel*, kuid *kell*, *mill*). Et Wiedemann oma kirjaviisi pidas teaduslikuks transkriptsiooniks ega soovitanud seda rahvaraamatuile, siis ei avaldanud see ka kirjakeele ortograafiales otsest mõju. Ometi tuleb käesolevas märkida Wiedemanni kui esi-

³ F. Wiedemann, Ueber die neueste Behandlung der ehstnischen Grammatik. Bulletin de la Classe Historico-Philologique de L'Académie, XIII, 1856, vg. 47, 48.

mest keeleteadlast, kes eesti ortograafia süsteemi pärast peab õigeks sõnalõpulist ülipikka konsonanti kirjutada kahe tähega.

Samal seisukohal kui Wiedemann on ka soomlane J. Krohn, kes oma eesti keele grammatikas „Viron kielioppi Suomalaisille” (1872) juhib tähelepanu sellele, et pika konsonandi märkimine sõna lõpul ühe tähega on vanast kirjaviisist pärinev joon.⁴

Kuigi kirjaviisi käsitlevates kirjutistes otseselt ei selgitatud sõnalõpulise konsonandi märkimist, hakkasid üksikud autorid juba 70-ndate aastate algupoolel kirjutama neid konsonante kahe tähega. Nii on näiteks C. R. Jakobsoni „C. R. Linnutaja lauludes” (1870) sõnalõpulisel ülipikkadel konsonandid märgitud veel ühe tähega (*lil, nut, raudkep; kül, mul*), kuid „Kooli Lugemise raamatu” II osas (1875) juba kahe tähega (*linn, sepp, hall; küll, all; ka sell’ [aeal]*, kuid *kas, tal* ‘temal’). Sedasama võib märgata ka M. Veske ja K. A. Hermannini selleaegseid kirjutisi jälgides. Teataval määral kajastub see ka Eesti Kirjameeste Seltsi aastaraamatutes. Kui näiteks 1873. a. aastaraamatus on veel võrdlemisi vähe näiteid kahe konsonandi tarvitamisest (näit. *jutt, küll*), siis 1874. a. aastaraamatus esineb sellist tarvitusviisi juba palju rohkem. Ometi ei saa väita, et järgnevatelgi aastatel ülipika konsonandi märkimine kahe tähega sõna lõpul täiel määral valitsema pääseks.

Teoreetiliselt puudutab neil aastail seda küsimust Põide pastor N. Nolcken, kes oma „Aabitsaraamatus” ja „Aabitsaraamatu sissejuhatuses” (1873) taotleb samuti kui M. Veske foneetilise kirjaviisi rakendust, mitte ainult lühikeste ja pikkade häälikute, vaid ka pikkade ja ülipikkade (venitatud) häälikute eristamist. Ta ütleb, et ta oma „Aabitsaraamatus” „vasstusõdimist karrtes” ei ole kõiki sõnu nii kirjutanud, nagu need tema arvates tuleks kirjutada, kuid õpetajaile määratud „Aabitsaraamatu sissejuhatuses” on ta seda teinud. Ja nii kirjutabki ta oma „Aabitsaraamatus” veel selleaegse traditsioonilise kirjaviisi kohaselt *luk, sam*, „Aabitsaraamatu sissejuhatuses” aga *lukk, samm*, mida ta peab õigemaks, sest „iga k a h e tähega ülespanndud umbheli tuleb rasskeste, iga ühe tähega — k e r r g e s t e l u g e d a”.⁵

Et mitte ainult selles, vaid ka terves reas teistes õigekirjutuse küsimustes 1870-ndates aastates veel täielikku selgust ja ühtlust ei olnud, siis tekkis keeletarvitajate hulgas õigustatud nurin. Kõrdd-korralt hakati ikka tungivamalt nõudma, et keelemehed ortograafia küsimustes kokku lepiksid ja ühised normid välja töötaksid. See rahulolematu avaldus 1875. a. novembris Eesti Kirjameeste Seltsi koosolekul, kus otsustati ortograafia küsimuste lahendamiseks ülemaoline kongress kokku kutsuda ja valiti korraldav komitee, mille koosseisu kuulusid J. Hurt, M. Veske ja C. R. Jakobson. See rahulolematu õigekirjutuse ebakindluse suhtes avaldus aga ka ajakirjanduses. Nii ilmub 1876. a. „Eesti Postimehes” -rr-i (J. Kurriku)

⁴ Vrd. J. Krohn, Viron kielioppi Suomalaisille, Helsinki 1872, lk. 48.

⁵ N. Nolcken, Aabitsaraamatu sissejuhatus, Kuressaare 1873, lk. 9, 10.

sulest kirjutis „Eesti kirjaviisid”, kus täie õigusega kõige muu kõrval juhitakse tähelepanu ka sellele, et uue kirjaviisi tarvitamisel on hakanud kõikuvusi esinema ka sõnade nagu *tük — tükk, kät — kätt, kül — küll, kap — kapp, vet — vett, kan — kann, töt — tött, pois — poiss, jut — jutt, al — all, mil — mill, sel — sell, mul — mull* jne. tarvitamises. Et kõiki ortograafia küsimusi lahendada, soovib Kurrik fikseerida kõigepealt printsiibid, millest lähtudes keelt normeerida. Konkreetseid lahendusettepanekuid Kurrik aga selles kirjutises veel ei esita.⁶

Eesti Kirjameeste Seltsi poolt valitud komitee tuli kirjaviisiküsimuste lahendamiseks kokku alles 1877. a. märtsis. Siin võeti küsimuste lahendamisel aluseks M. Veske käsikirjas olev raamat „Eesti keele healte õpetus” ja tehti rida otsuseid, kusjuures sõnalõpulise konsonandi märkimise kohta siiski seisukohta ei võetud. „Eesti kirjutusviisi parandamise komitee protokoll” lisas tõstab Veske aga ka selle küsimuse üles, öeldes: „Kas pean *vak, kot, lep* kirjutama, või *vakk, kott, lepp*? Mis on siin Nominativi muude, teine või kolmas nende healte järk? Muidugi kolmas. Selle pärast kirjutata *vakk, kott, lipp*, nagu see [p. o. *sa*] ju õigeste kõige kõvemas järgus *kink, pant, temp* kirjutad.”⁷ Kuigi see ei olnud ametlik otsus, oli see ometi EKmS-i juhtiva tegelase ja autoriteetse keelemehe seisukoht, mida arvestati nii Kirjameeste Seltsi ringides kui ka väljaspool. Sama seisukoha esitas M. Veske ka oma raamatus „Eesti keele healte õpetus ja kirjutuse viis” 1879, kus ta samuti rõhutab, et „nominatiivi muude on kolmandamas järgus ja peab kirjutatama „*vakk*”, „*lott*”, „*sepp*””.⁸ Seega lähtub M. Veske küsimuse lahendamisel mitte niivõrd ortograafilisest süsteemist, nagu tegi seda akad. Wiedemann, vaid eelkõige just vastava sõnalõpulise konsonandi kvantiteedist, vältusest. Seejuures rõhutab M. Veske ühtlasi nende vormide kujunemist, näidates, et „vanast oli see muude „*vakka*”, „*lotti*”, „*seppa*”, nagu praegu veel Viru rannas ja Soome keeles”.⁹ Sedasama foneetilist printsiipi rakendab ta ka *käsi*-tüüpi sõnade ainsuse osastava õigekirjutuse fikseerimisel, märkides: „Üksikuse infinitivi ja illativi t-heal on kolmandamas järgus, „*kätt*”, „*kätte*”, „*vett*”, „*vette*””.¹⁰ Asesõnade ja nende käänete ning abisõnade ortograafiat Veske oma „Eesti keele healte õpetuses” lähemalt ei käsitlenud, kuid nagu Veske enese keeletarvitusest järeldada võib, on ta ka vormides nagu *mull, sell, küll* pidanud lõpul olevat konsonanti kolmandavärteliseks, kuna sõnades nagu *mis, kas, kus* on ta nähtavasti pidanud sõnalõpulist konsonanti lühikeseks, sest muidu oleks ta ka need sõnad kirjutanud kahe konsonandiga lõpul.

70-ndate aastate lõpul ja 80-ndates aastates tuleb küll sõnalõpu-

⁶ Vrd. „Eesti Postimees” 1876, nr. 33, lk. 197.

⁷ EKmS-i aastaraamat 1877, lk. 42.

⁸ M. Veske, Eesti keele healte õpetus ja kirjutuse viis, Tartu 1879, lk. 23; vrd. ka lk. 48.

⁹ Sealsamas, lk. 23.

¹⁰ Sealsamas, lk. 66.

lise ülipika konsonandi märkimine kahe tähega üldisemalt tarvitusele, kuid täielik ühtlus siiski puudub. Küsimust puudutab lähemalt oma raamatus „Kirjutamise õpetus” (1882) J. Kurrik, kes annab õpetajaile siin peale muu ka näpunäiteid selle kohta, mis-suguseid keelelisi norme tuleks eelistada. Nii esitab ta siin reegli, et ühesilbiliste lühikese täishäälikuga sõnade „lõpeotsas (ainsuse esimeses muutes) ikka k a k s umbhealelist peab olema”, s. o. et sõnad nagu *sepp, käpp, tupp, tükk, mütt, tikk, kopp, jutt, lakk*, samuti sõnad nagu *pill, tall, tumm, tamm, kann, õnn, kass, püss* jne. ikka tuleb kirjutada kahe konsonandimärgiga lõpus.¹¹ Ühtlasi esitab ta siin rea näiteid selliste sõnade ja sõnavormide tarvitamise kohta, milledes tol ajal esines väga palju kõikuvusi. Nii peab ta soovitavaks sõnalõpulist konsonanti märkida kahe tähega sõnades *mull* 'minul', *sull, tall* 'temal', *sell* 'sellel', *küll, kauss, poiss, vett, kätt*, pidades vähem soovitavaks ühe konsonandiga vorme *mul, sul, tal, sel, kül, kaus, pois, vet* ja *kät*.¹² Sõna *on* puhul rõhutab ta, et seda sõna ei tule ära vahetada sõnaga *onn*, sõnade nagu *kas, kes, mis, kus* jt. ortograafiast ta aga ei kõnele, sest nende sõnade kirjutusviis oli juba välja kujunenud ja siin kõikuvusi enam ei esinenud.

Samuti kui Kurrik soovitab ka K. A. Hermann oma „Eesti keele grammatikas” (1884) märkida sõnalõpulist konsonanti sõnatüüpides nagu *lepp, kott, pakk* (lk. 52) või *kann, kell, narr, tamm, kass* (lk. 51) ja osastava vormides nagu *kätt, lütt* (sõnast *lusi*), *sütt, sutt* (lk. 50) alati kahe konsonandimärgiga. Mis puutub aga ase-sõnadesse *mul, sul, tal* (lk. 87), *sel, tol* (lk. 88) ja *kel, mil* (lk. 89), siis soovitab Hermann siin märkida neid alalütlevalisi vorme ühe *l*-iga, samuti kui ta seesütlevalisi vorme *mus, sus, tas* (lk. 56), *ses, tos* (lk. 88) märgib ühe *s*-iga.

Et ka J. Hurt oli nüüd hakanud sõnalõpulist ülipikka konsonanti märkima kahe tähega,¹³ siis olid õieti kõik nimekamad keelemehed sellise märkimisviisi poolt. Kui aga J. Kurrik 1886. aastal ka selle küsimuse „Üleüldiselt pruugitava kirjaviisi” fikseerimise ettepanekus üles tõstab, siis selgub üllatuslikult, et Kirjameeste Seltsis leidis küllaltki neid, kes pooldasid vana tarvitusviisi.

J. Kurrik oma ettepanekus vaatleb küsimust diferentseeritult, esitades selle järgmiselt: „Kas sõna lõpule ikka kaks umbhelilist tuleb kirjutada ühe heale tähendamiseks, või saab ühestki?”

a) Adessivi lõpul: *mull sull tall sell mill?*

b) Infinitivi lõpul: *kätt vett mett tõtt sütt?*

d) Nominativi lõpul: *kott kepp pakk tamm kann kull kass?*¹⁴

Kurriku ettepaneku puhul avaldatakse mitmesuguseid seisukohti. Nii võtab „Olevikus” sõna „üks Eesti kirjaviisi ühenduse sõber”,

¹¹ Vrd. J. Kurrik, Kirjutamise õpetus, Tartu 1882, lk. 12, 13.

¹² Sealsamas, lk. 15.

¹³ J. Hurda keeletarvitust 70-ndate aastate lõpul kajastab ta töö „Pildid isamaa sündinud asjust” (1879), milles ta tarvitab näiteks vorme nagu *linn, vall, jutt, küll, sell* 'sellel', *kell* 'kellel' jne., kuid osastavas siiski veel *met, tõt*.

¹⁴ „Postimees” 1886, nr. 9, „Postimehe” eralisa nr. 9 juurde.

kes esitab vähe põhjendatud lahenduse, soovitades tarvitada adessiivi ja partitiivi lõpul üht tähte (*mul, sul; kät, vet*), nominatiivis klusiilid ja *s* märkida ühe tähega (*kap, kas*), *l, m, n, r* aga kahe tähega (*kull, konn*).¹⁵

Eesti Kirjameeste Seltsi 25. märtsi koosolekul on ka see küsimus üksikasjalisema kaalumise all ja Selts on otsustanud — nagu nähtub Kurriku protokollist — pooldada sõnalõpu konsonandi märkimist mitte kahe, vaid ühe tähega nii adessiivis (*mul, sul*), partitiivis (endise nimetusega infinitiivis: *kät, vet*) kui ka nominatiivis (*lõp, kep* jne.). Seega täiesti ootuste vastaselt on koosolek asunud seisukohale, et kõikides nendes rühmades tuleb kirjutada sõnalõpuline konsonant ühe tähega, hoolimata selle kvantiteedist.

Pikemalt võetakse selle küsimuse kohta sõna ka ajakirjanduses. Nii kirjutab Hermann 1886. a. „Postimehe” 26. numbri juhtkirjas „Eesti kirjakeelest” selle kohta: „Teaduse põhjal edasi uurides peame ka tunnistama, et koguni võimatu on kirjutada: *kap, jut, suk, kul, kum, kan, kas, nar* jne. Niisugune kirjaviis on küll natuke lühem, aga temal ei ole mingit põhja. Enne kirjutati kiriku-keele nõnda, ega meie nüüd enam vanadesse vigadesse tagasi ei või langeda. Vana kirjaviis on surnud ja jääb surnuks, temas ei ilmu peaaegu mitte ühte ainustki raamatut. Ka kõige vanameelsemad inimesed armastavad juba uut kirjaviisi lugeda. Uue kirjaviisi põhjusel tuleb aga järele andmata kirjutada: *kapp, jutt, sukk, kull, kumm, kann, kass, narr* ja nõnda kõik teised sõnad, kus ühesugune pikk kolmandavärteline häälik tüvis on. Seda viisi nõuab teadus. Teisiti ei ole õige.”¹⁶ Edasi selgitab Hermann praeguste vormide ajaloolist kujunemist ja kolmandavärtelise konsonandi tekkimist ning leiab, et kolmanda värtelise konsonante sellistel juhtudel saab ainult kahe tähega märkida. Ta olevat selle põhjenduse ajalehes toonud ainult sellepärast, et Eesti Kirjameeste Seltsis olevat häälteenamusega otsustatud ühe tähe kasuks, kuigi kõik kirjamehed ja ajalehtede toimetajad pooldavat sõnalõpu konsonandi märkimist kahe tähega. Hermann märgib, et tema jäävat endiselt kahe tähega märkimise juurde ega saavat aktsepteerida seda ebateaduslikku otsust. Seda seisukohta pooldavad ka „Olevik” ja „Virulane”.

Pikema kirjutisega „Mõtted üleüldise kirjaviisi kohta” esineb „Olevikus” ka mag. A. Nooli (M. J. Eisen), kes samuti on üllatatud Kirjameeste Seltsi otsusest. Ka tema leiab, et oli kujunenud juba ühtlane tarvitusviis, kuid nüüd olevat see heidetud „kiirkirja” põhimõttest lähtudes kõrvale, kuigi kõik teadlased (Krohn, Wiedemann, Veske, Hermann) peavad õigeks kolmanda värtelise hääliku kirjutamist sel puhul kahe tähega. Kui Hermann *mul, sul* kirjutamisest vaikides möödub, siis arvab Eisen, et järjekindluse pärast tuleks kirjutada ka *mull, sull, sell, mill*. Et siin tegemist on alalütleva käändega, see ei tarvitsevat olla takistuseks. Ta jõuab tulemusele, „et me u m b -

¹⁵ Vrd. „Olevik” 1886, nr. 12, lk. 1.

¹⁶ „Postimees” 1886, nr. 24, lk. 1, vrd. ka „Olevik” 1886, nr. 25, lk. 2.

häälikuid, kõige vähemalt ühesilbiliselt sõnades kahe kordselt peame sõnalõpul kirjutama".¹⁷

Sellest Kirjameeste Seltsi otsusest kuuldes on ka Veske vihane, pidades sellist tagasiminekut vanale päris pentsikuks ja küsides, kas nüüd siis üldse ei tahetavat enam kolmandat vädet kirjas märkida.¹⁸ Ta ütleb: „Kõige enam teaduse vastu on, et nad nüüd on hakanud *lin, kül, kul, vak, pois* (võrdle pais) kirjutama.”¹⁹

Samal ajal kerkivad ka kiriklikes ringkondades seoses vaimuliku kirjanduse väljaandmisega ortograafia küsimused päevakorraile. 1886. a. juunis tuleb kokku vastav komisjon, kuhu kuuluvad J. Hurt, C. Malm, R. Kallas jt., ja töötab Ahrensi kirjaviisi alusel välja vastavad ortograafilised reeglid, mis siiski mõnel määral erinevad Ahrensi grammatikas antud seisukohtadest. Erinev Ahrensis on ka pika konsonandi kirjutamise reegel, mis on esitatud järgmiselt: „Ühesilbilistes nominativustes kirjutatagu lõppkonsonandid, kus grammatika seadused nõuavad, ikka kahekordselt. Näitused: *kepp, kott, pakk, — tall, tamm, konn, narr*. Mõned üksikud väljaütlemise poolest nende sarnased sõnakased kirjutatagu vana tutvat viisi: *kas, kes, kus, ses, on*.”²⁰ Seega hakati ka kiriklikus kirjanduses tarvitama sama märkimisviisi, mis oli üldiselt levinud selle aja kirjanduses.

Et juhtivad keeleteadlased vastu olid kevadel Kirjameeste Seltsis vastuvõetud otsusele kirjutada sõnalõpuline konsonant ühe tähega, siis tuli seda küsimust Seltsis veel kaaluda. Järgmisel Seltsi koosolekul 1886. a. juunis otsustati ortograafiliste küsimuste lahendamiseks valida 21-liikmeline komisjon, kes teeks kirjaviisiküsimustes lõplikud otsused. See „kirjaviisi parandamise komisjon” tuli M. Veske juhtimisel 26. augustil kokku ja otsustas vastu võtta seisukoha, mille kohaselt sõnalõpuline konsonant nendel juhtudel tuleb kirjutada kahe tähega. „Postimees”, kirjeldades seda koosolekut, märgib selle otsuse vastuvõtmise kohta järgmist: „Seda otsust, mis viimasel koosolekul võetud, „*kul, püs, pois, kap, kot, kuk, nar*” kirjutada, nimetas Dr. Veske täitsa õigusega teaduse ja seaduse vastaseks, ja selle pärast võttis koosolek nõuaks edespidi jälle „*küll, püss, poiss, kapp, kott, kukk, narr*” kirjutada.”²¹ Sellega oli jällegi ametlik alus antud sõnalõpuliste pikkade konsonantide märkimisele kahe tähega. Et see seisukoht ka üldiselt juba rakendusel oli, ei tekitanud selle otsuse vastuvõtmine nüüd ka enam mingisuguseid avalikke vastuvaidlusi. Ühtlasi oli selle otsuse vastuvõtmisega ka viimane vana kirjaviisi joon meie ortograafiast välja tõrjutud, kuigi tunduvalt hiljem kui teised vana kirjaviisi erijooned.

¹⁷ „Olevik” 1886, nr. 21, vg. 1, 2.

¹⁸ M. Veske J. Kurrikule 3. VI 1886.

¹⁹ M. Veske J. Kunderile 23/16. VII 1886.

²⁰ J. Hurt, Püha kiri pannakse uue kirjutusviisi järele ümber. „Postimees” nr. 23, 5. VII 1886, lk. 2.

²¹ „Postimees” nr. 37, 6. IX 1886, lk. 1.

Kogu küsimus ei olnud aga eelmise otsusega siiski lõplikult lahendatud. Otsus fikseeris ikkagi sõnade nimetava lõpul oleva pika konsonandi märkimise küsimuse. Kuigi otsuses ei toodud otseselt näiteid osastava (näit. *vett*, *tõtt*) tarvitamise kohta, kujunes ka osastavas ilma vaidlusteta kahe tähega märkimine harilikuks. Hoopis kauemini püsisid aga kõikumised asesõnade alalütleva käände märkimisel. Veske ja Kurrik, kelledega liitus ka Hurt, pooldasid sõnakujusid *mull*, *sull*, *sell* 'selles', pidades sellist märkimisviisi hääldusele vastavamaks. Hermann aga väitis, et alalütleva käände lõpp on alati *-l* ja sellepärast tuleb kirjutada *mul*, *sul*, *sel* jt.²² Ühes hilisemas kirjas Hurdale rõhutab Hermann ühe *-l*-i kasuks veel sedagi asjaolu, et ühe *-l*-iga kirjutamine võimaldab sõnade tähendust eristada, näiteks juhtudel nagu *tal on tall*, *kel on kell*, *sel on sell* jne.²³ Pealegi ei ole Hermann arvates *-l* nendes sõnades pikk, vaid lühike, sest need sõnad esinevad lauses rõhutus asendis. Kui neid sõnu aga rõhutatakse, siis tarvitatakse pikemaid sõnakujusid *minul*, *sinul*, *selles* jne. Hermann mõjul pääseski võistlevaist vormidest lühem kirjakeelde. Seejuures on tähelepanav, et hilisemadki grammatikud on ühekordse *-l*-i kasuks esitanud samu põhjendusi, tõstes eriti esile *-l*-i lühidust lauserõhutus asendis ja võimalust eristada sõnu nagu *mul* ja *mull*. Kirjakeeles hakkas kirjutusviis *mull*, *sell*, *mill* taanduma juba möödunud sajandi 80-ndate aastate lõpul ja 90-ndates aastates; käesoleva sajandi algul esines ainult üksikuid keeletarvitajaid (näit. J. Hurt), kes kirjutasid veel *sell*, *mill* kahe *l*-iga. Kõikuv oli möödunud sajandil ka sõna *küll* õigekirjutus, kuid et *küll* ei ole alalütlev, pääses selle sõna puhul hääldamispärane kirjutusviis tarvitusele.

Sama põhjenduse, mis esitati asesõnade alalütleva ortograafia õigustamiseks, võib esitada ka selliste seesütlevaliste asesõnavormide nagu *mus* 'minus', *sus* 'sinus', *tas* 'temas', *ses* 'selles', *tos* 'tolles' õigekirjutuse selgituseks. Ka nende sõnade puhul võib öelda, et lauserõhutus asendis nende sõnade *-s* ei tarvitse olla ülipikk, et ühe *s*-iga märkimine võimaldab eristada sõnu nagu *tas* ja *tass*, *tos* ja *toss*, ja et seesütleva käände lõpp on alati *-s*. Tegelikult ei ole neid sõnu kunagi püütud kahe *s*-iga kirjutada ja juba vanast kirjaviiisist peale on need sõnad esinenud ühe *s*-iga.

Samuti kui eelmistes sõnades kirjutatakse ühekordne *-s* lõpul ka sõnades *kes*, *mis*, *kus*, milledes esinevat *s*-i kõik meie õigekeelsussõnaraamatud ja grammatikad peavad ülipikaks. Et sõnu nagu *kes* ja *mis* ka seesütleva käändega siduda ei saa, siis tuleb nende puhul põhjuseks, miks neid kunagi ei ole kirjutatud kahe *s*-iga, pidada ühelt poolt nende sõnade tarvitamist lauserõhutus asendis, kus sees teiste sõnadega *-s* ei ole ülipikk (näit. *miš_sà tēv?*), ja teiselt poolt nende sõnade vanakirjaviisilist kuju, mis üleminekul uuele

²² Vrd. „Postimees” nr. 25, 15. IX 1886, lk. 1.

²³ K. A. Hermann J. Hurdale 9. VI 1902.

kirjaviisile jäi muutmata, sest *s*-hääliku välde nendes sõnades ei olnud päris selge. Hiljem muidugi soodustas traditsioonipärase kirjapildi säilitamist ka võimalus kirjas eristada sõnu nagu *mis* ja *miss*, *kes* ja *kess*, *kus* ja *kuss*. Mis aga puutub sõnadesse *kas* ja *las* 'lase', siis nende puhul asub päris õigel seisukohal „Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat”, milles märgitakse, et *s* nendes sõnades ei ole ülipikk. Tavaliselt esinevadki need sõnad kõnes tihedalt liitununa järgnevate sõnadega (näit. *kaš_sà teäv, laš_tà olla* jne.) ja *s*-i nendes sõnades pole põhjust ülipikaks pidada, kuigi seda sageli kooligrammatikates tehakse. Lõpuks tuleb märkida ka sõnu *on* ja *et*, mis samuti meie õigekeelsus-sõnaraamatus on märgitud ülipika konsonandiga sõnadena, kuid kirjutatakse ühekordse tähega. Ka nende sõnade ortograafia puhul tulevad arvesse eespool mainitud tegurid, nimelt sõnade hääldamine lauserõhutus asendis, vajadus eristada neid sõnadest *onn* ja *ett* (osast. sõnast *esi*) ja lõpuks vana kirjaviisi mõju.

Omaette rühma moodustavad nende sõnade hulgas *h*-lised hüüd-sõnad *noh*, *säh*, *ah*, *oh*, *neh*, *päh*, *puh*, *aitäh*, *tohoh*, samuti jaatus-sõna *jah*. Nendes sõnades on *h* ilmselt ülipikk ja meie ortograafia reeglite järgi tuleks neid kirjutada kahe *h*-ga. Näib, et nende hüüd-sõnade kirjutamine tänapäevalgi veel ühe *h*-ga on vanast kirja- viisist pärinev joon, mis on säilinud tänu sellele, et hüüdsõnade ortograafia oli kuni viimase ajani veel küllalt kõikuv. Olgu selle kinnituseks märgitud, et alles 1935. a. fikseeriti seisukoht kirjutada hüüdsõnu eesti ortograafia üldiste reeglite kohaselt, näit. *sirr-sorr*, *sordi* jne. Erandiks on kuni tänini jäänud *h*-ga lõppevate hüüd-sõnade rühm.

Kuigi sõnalõpulisel ülipika konsonandi märkimine, nagu eespool selgunud, kujunes peajoontes välja juba möödunud sajandil, oli ka käesoleva sajandi algul erandlikult kirjutatavate sõnade arv tunduvalt suurem kui praegu. Nii näiteks märgitakse käesoleva sajandi esimesel veerandil ilmunud keelelistes harjutustikkudes, et lisaks sõnadele nagu *mul*, *sul*, *kes*, *mis*, *on* jne. kirjutatakse erandlikult ka tähtede nimed *em*, *en*, *är*, *jot*, *es* jt.²⁴ Tänapäeval kirjutame aga tähtede nimedid ortograafia üldiste reeglite kohaselt, näit. *ell*, *emm*, *jott*²⁵ jne. Samuti ei olnud käesoleva sajandi kolmandal aastakümnelgi veel lõplikult fikseerunud sõnalõpu võõrhäälikute kirjutamine. Nii esitati näiteks „Eesti õigekeelsuse-sõnaraamatu” I ja II köiteski (1925, 1930) veel sõnakujud *duš*, *guljaš*, *panaš* ja alles „Väikeses õigekeelsus-sõnaraamatus” (1933) anti sõnakuju *dušš*.

Kuid isegi tänapäeva kirjakeeles on sõnu, mille ortograafia on tekitanud kahtlusi. Nii on sellisteks sõnadeks teatavaid tiitleid märkivad sõnad *don*, *pan*, *von*, milledes *n* hääldatakse tavaliselt kolmandavältelisena, kuid kirjutatakse traditsioonipärasel kujul ühe

²⁴ Vrd. A. Jung, Emakeele õpetus ja kirjalikud harjutused, Tartu 1907, lk. 9; E. Peterson, Algharjutused, seitsmes trükk, Tallinn 1919, lk. 5.

²⁵ Vrd. Väike õigekeelsuse sõnaraamat, Tallinn 1953.

n-iga. Pealegi kõneldakse rahvakeeles mitte *parunitest* ja *vonidest*, vaid *vonnidest*. Samuti on tõstetud üles küsimus, kuidas me peak-
sime kirjutama sellise tuntud jõe nagu *Doni* nime. Kui me kirju-
tame tuntumaid vene kohanimesisid nagu *Krimm*, *Neeva* jt. häälda-
mispäraselt, kas ei tuleks seda siis teha ka sellise nimega nagu *Don*.
Üldiselt aga selliseid küsitavusi tänapäeva ortograafias esineb vähe
ja neid esineb kas võõra päritoluga oskussõnades (näit. muusikas
sol, *soli*, kuid *moll*, *moll*) või kohanimedes.

Nagu kõigest eelmisest selgub, on sõnalõpulise ülipika konso-
nandi märkimine olnud kirjakeele arenemise eri perioodidel erinev.
Kirjakeele algusperioodil XVI ja XVII sajandil oli märkimine väga
ebaühtlane ja kõikuv. Alates Forseliusest, kes rajas nn. vana kirja-
viisi, kujunes märkimisviisi ühtlaseks. Vana kirjaviisi reeglite koha-
selt märgiti XVIII sajandil ja XIX sajandi esimesel poolel ülipikk
sõnalõpuline konsonant ühe tähega. Selle võõrapärase märkimis-
viisi võtsid üle ka esimesed uue kirjaviisi tarvitajad E. Ahrens ja
Fr. R. Kreutzwald. Selle märkimisviisi puudulikkusele juhtis tähele-
panu juba Wiedemann, kuid võitlust selle vastu alustas õieti
M. Veske möödunud sajandi 70-ndatel aastatel, mil uus kirjaviis
oli juba üldiselt kehtivusele pääsenud. Lõplik otsus hakata sõna-
lõpulist ülipikka konsonanti kahe tähega märkima tehti aga alles
1886. aastal. Hoolimata sellest otsusest on mitmesugustel põhjustel
osa sõnu (näit. teatavad asesõnad ja hүүdsõnad) jäänud väljapoole
selle ortograafilise reegli piire ja neid kirjutatakse tänapäevani veel
erandlikult ühekindse lõpukonsonandiga.

К ВОПРОСУ О НАПИСАНИИ ДОЛГОГО КОНЕЧНОГО СОГЛАСНОГО В ЭСТОНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Доц., докт. филол. наук А. Каск

Кафедра эстонского языка

Резюме

В современном эстонском литературном языке долгий конечный согласный после краткого гласного пишется через две буквы, напр. *sepp* (кузнец), *tamm* (дуб), *kass* (кошка), но в некоторых словах, главным образом в местоимениях и междометиях, долгий конечный согласный, в виде исключения, обозначается одной буквой, напр. *mul* (у меня), *kes* (кто), *noh* (ну). В статье рассматривается, чем обусловлено и как образовалось такое правописание.

В XVI и XVII вв. отсутствовали еще единые правила орфографии, и конечные согласные писались по-разному. В XVIII в. установилось т. н. старое правописание, по которому долгий конечный гласный обозначался всегда одной буквой, напр. *sep*, *tam*, *kas*, *wet* (воды), *kät* (руки), *mul*, *kes* и др. В третьей четверти XIX в. старая орфография должна была уступить место новому правописанию, однако конечные согласные продолжали обозначаться по-старому, т. е. одной буквой. В 70-х и 80-х годах прошлого столетия вопрос о написании конечного долгого согласного неоднократно обсуждался на собраниях Эстонского общества литераторов и в газетах. М. Веске и др. показали, что написание долгого согласного одной буквой противоречит правилам новой орфографии. После многих прений в 1886 г. было, наконец, установлено, что долгий конечный согласный в номинативе (*kott* 'мешок', *õnn* 'счастье') и в партитиве (*vett* 'воды') обозначается двумя буквами. Но этим вопрос не был исчерпан. В аллативе одни языковеды (напр. М. Веске) писали по правилам новой орфографии *mull* (у меня), *sull* (у тебя), другие же (напр. К. А. Херманн), исходя из того, что *-l* является здесь окончанием аллатива, писали *mul*, *sul*. Лишь в начале XX века было установлено, что в этом случае местоимения пишутся через один *-l*.

В современном эстонском литературном языке долгий конечный согласный обозначается, в виде исключения, одной буквой в следующих группах слов: 1. в аллативе местоимений, в целых

различия местоимений и существительных, напр. *mul* (у меня) и *mull* (пузырёк), *tal* (у него) и *tall* (ягнёнок), а также потому, что *-l* является окончанием аллатива; 2. в инессиве по тем же причинам (*tas* 'в нём' и *tass* 'чашка', *-s-* окончание инессива); 3. в словах *kes* (кто), *mis* (что), *kus* (где), *on* (есть), *et* (что — союз) потому, что эти слова в предложениях часто произносятся с кратким согласным и что это написание дает возможность различать слова, напр. *on* (есть) и *onn* (избушка, лачуга); 4. в междометиях на *-h*, напр. *noh* (ну), *säh* (бери), *oh* (о), *ah* (ах) и др., где прочная орфография установилась сравнительно недавно. При этом нельзя отрицать, что во всех случаях написание долгого конечного согласного одной буквой является в известной мере и пережитком старой орфографии. С другой стороны, в современном эстонском литературном языке встречаются и такие слова иностранного происхождения, написание которых не соответствует правилам эстонской орфографии, напр. *don* (дон), *pan* (пан), *sol* (нота соль) и др. Обыкновенно же иностранные слова в эстонском языке пишутся по общим правилам, напр. *moll* (моль — муз. терм.) и др.

KONSONANTIDE PALATALISATSIOON EESTI KEELES

G. Laugaste

Eesti keele kateeder

Konsonantide palatalisatsioonil on eesti keele foneemide süsteemis tähtis koht, sellepärast on keeleteaduslikus kirjanduses korduvalt püütud määrata palatalisatsiooni olemust ja selle esinemispiirkondi eesti keeles. Kindlate õigekeelsuslike normide fikseerimiseni pole aga tänini jõutud, ja seda peamiselt sellepärast, et palatalisatsioon kõnekeeles väga suurel määral varieerub. Alljärgnevalt püütakse pilk heita eesti keele palatalisatsiooni kirevusse ja selgitada selle põhjust.

Konsonantide palatalisatsioon eesti keeles on osalise assimilatsiooninähtus, mille puhul palataalne häälik koartikulatoorselt mõjutab oma naabruskonsonanti palataalsuse suunas. Koartikulatoorse palatalisatsiooni kõrval võib esineda ka fonemaatilist palatalisatsiooni, mille puhul sõna teatavas asendis palataliseeritud konsonant kujutab endast uut kvaliteeti iseseisva foneemi näol.

Palataliseeruvaks konsonantideks eesti üldrahvalikus kõnekeeles on dentaalid. Nendest *l*, *n*, *t(d)* ja *s* palataliseeruvad enam-vähem ühesugustel tingimustel, *r*-i peenendumine on ebajärjekindel, varieerub isikuti ning fonemaatiline vahe tegemine palataliseeritud ja palataliseerimata *r*-i vahel on taandumas murdenähtuseks. Koartikulatoorselt palataliseeruvad isikuti ka velaarne klusiil *k(g)* ja velaarne nasaal *ŋ*, kuid seda ainult eesvokaalseis sõnades, nende palataliseerimine tagavokaalseis sõnades on murdeline.

Palatalisatsiooni asend sõnas on piiratud. Fonemaatiline palatalisatsioon võib esineda ainult pearõhulises silbis, s. t. palataliseerub pearõhulise silbi vokaalile järgnev konsonant oma *e s i o s a g a*. Viimast momenti tuleb eriti tähele panna: selle poolest erineb eesti keele palatalisatsioon samast nähtusest vene keeles. Konsonantühendis palataliseerub järelikult esikomponent, ja kui see ei ole palataliseeruv häälik, jääb ühend palataliseerumata (näit. *lamp*, *kõmpsi*, *vaht*). Sõnaalgulist ja sõnalõpulist palatalisatsiooni (pikemais kui ühesilbilistes sõnades) eesti keeles ei ole. Järgsilbis võib peenenduda sõnasisene *i*-eelne dentaal, kuid väga ebaühtlaselt,

ja palatalisatsioon on seejuures kaasrõhulises silbis ilmsem kui rõhutus.

Eesti keele palatalisatsioon on põhiliselt regressiivne, s. t. järgnev palataalne häälik mõjutab eelnenud dentaali artikulatsiooni. Peamiseks palatalisatsiooni põhjustajaks on türevokaal *i*, mis annab eelnenud konsonandile või konsonantühendile palataalse varjundi. Kuid palatalisatsioon esineb ka neis vormides, kust lõpuvõi sisekao tagajärjel *i* on kadunud, jättes oma palataalsuse eelnenud konsonandile. Sellisel puhul, eriti lõpukaolises nominatiivis, ongi tegemist eesti keele fonemaatilise palatalisatsiooniga, s. t. palatalisatsioon on ainus sõna tähenduse eristaja. Sellest mõned näited kõigepealt *i*-tüveliste sõnade kohta:

<i>hal'l</i> (: <i>hal'li</i>)	—	<i>hall</i> (: <i>hallá</i>)
<i>mul'l, mul'le</i> (mitm. osast.)	—	<i>mul</i> (: <i>mulle</i> (alaleütlev))
<i>mõ'l'l</i> (: <i>mõ'l'li</i>)	—	<i>möll</i> (: <i>mõllu</i>)
<i>sel'l</i> (: <i>sel'li</i>)	—	<i>sel</i> (= <i>sellel</i>)
<i>vil'l</i> (: <i>vil'li</i>)	—	<i>vill</i> (: <i>villa</i>)
<i>mul'k</i> (: <i>mul'gi</i>)	—	<i>mulk</i> (: <i>mulgu</i>)
<i>pal'k</i> (: <i>pal'gi</i>)	—	<i>palk</i> (: <i>palga</i>)
<i>tul'p</i> (: <i>tul'bi</i>)	—	<i>tulp</i> (: <i>tulba</i>)
<i>kan'n</i> (: <i>kan'ni</i>)	—	<i>kann</i> (: <i>kannu</i>)
<i>män'd</i> (: <i>män'ni</i>)	—	<i>mänd</i> (: <i>männa</i>)
<i>on'n</i> (: <i>on'ni</i>)	—	<i>on</i>
<i>kas's</i> (: <i>kas'si</i>)	—	<i>kas</i>
<i>ju't</i> (: <i>juti</i>)	—	<i>jutt</i> (: <i>jutu</i>)
<i>ko't</i> (: <i>ko'ti</i>)	—	<i>kott</i> (: <i>kota</i>)
<i>na't</i> (: <i>na'ti</i>)	—	<i>natt</i> (: <i>nata</i>)
<i>nu't</i> (: <i>nu'ti</i>)	—	<i>nut</i> (: <i>nutu</i>)
<i>pe't</i> (: <i>pe'ti</i>)	—	<i>pet</i> (: <i>petu</i>)
<i>ma't's</i> (: <i>ma't'si</i>)	—	<i>mats</i> (: <i>matsu</i>)
<i>mü't's</i> (: <i>mü't'si</i>)	—	<i>müts</i> (: <i>mütsu</i>)
<i>ot's</i> (: <i>ot'si</i>)	—	<i>ots</i> (: <i>otsa</i>)
<i>pät's</i> (: <i>pät'si</i>)	—	<i>päts</i> (: <i>pätsu</i>)
<i>ku's's!</i>	—	<i>ku</i> s
<i>to's's</i> (: <i>to's'si</i>)	—	<i>toss</i> (: <i>tossu</i>)
<i>la's't</i> (: <i>la's'ti</i>)	—	— <i>last</i>

On veelgi selliseid sõnapaare, mille puhul palatalisatsioon hoiab ära üksikute muutevormide kokkulangemise. Palataliseeritud häälik võib olla eri foneemiks ka pika vokaali järel:

vaat' (: *vaad'i*) — *vaat!* (= *vaata!*)

Peale *i*-tüveliste sõnade võib esineda palataliseerituna ka *e*-tüveliste sõnade nominatiiv. Siingi on palatalisatsioonil sageli foneemi väärtus, näiteks sõna:

tal'v (: *talve*) — *talv* (murdes, täh., *talb* : *talva*)
õl'g (: *õle*) — *õlg* : *õla*

Seega on fonemaatilise palatalisatsiooniga tegemist kõigil puhkudel, kus nominatiivi lõpul *i* on kadunud ja ilma palatalisatsioonita võiks sõna seetõttu kokku langeda mõne teise sõna nominatiiviga või teatava muutevormiga või ka muutumatu sõnaga. Mõningail puhkudel võib fonemaatiline palatalisatsioon sattuda ka mõne teise vokaali ette (*kas'te* — mitm. osast. sõnast *kas't*, *kaste* — ains. omast. sõnast *kaste*). Antud näites ei põhjusta palatalisatsiooni mitte vokaal *e*, vaid tüvevokaal *i*.

Fonemaatilise palatalisatsiooni juhtumid on kogu palatalisatsioonisüsteemis kõige stabiilsemad ja üldrahvalikumad.

Koartikulatoorselt palataliseeruvad nimetatud konsonandid alati tüvevokaali *i* ees, enamasti ka mineviku tunnuse ees (*võl'tis*).

Peale *i* põhjustab konsonantide peenendumist palataalne häälik *j*. Konsonantühendeis dentaal + *j* on teist silpi algav *j* assimileerinud eelnenud konsonandi artikulatsiooni enda sarnaselt palataalseks (*kal'ju*, *os'jad*). Seejuures kaldub eesti keeles tõdvalt, vokaalselt häälduv *j* ise assimileeruma ja kõnes võib sageli esineda *l'j* asemel *ll* (*väl'las*, *pal'las*). Assimilatsiooni korral on *l-i* palataalsus tugevam.

Eesti keeles esinevad konsonandid teatavasti kolmes fonemaatilises pikkuses. Palatalisatsioon tabab kõiki kvantiteediastmeid, kuid mida pikem on konsonant, seda ilmekam on palatalisatsioon: sõnas *pal'lid* ilmekam kui sõnas *pal'i*, sõnas *pal'le* aga eelmistest veelgi ilmekam.

Et palatalisatsioon mõjutab konsonandile eelnevat vokaali, siis on arusaadav, et palatalisatsioon mõnevõrra sõltub eelnevast vokaalist. Kõigepealt ei esine ühiskeeles peaaegu üldse peenendumist diftongi järel (*poissi*, *kaussi*, *nautis*, *teati*, *taoti*). Diftongijärgse konsonandi palataliseerumise korral saaks vokaal epenteesi tõttu triftongi iseloomu (*tao'ti*), see aga ei ole eesti keeles võimalik. Samal põhjusel on ka *i* järel palatalisatsioon vähem kuuldav.

Peale nimetatud juhtumite on veel üksikuid sõnu, kus sõna eesvokaalsus näib põhjustavat või vähemalt soodustavat konsonantide palataliseerumist. Nii näiteks palataliseerib rohkem kui 50% kõnelejaskonnast sõnu *külm*, *selge*, vähemal määral ka *silm*. Siin ei ole teada muud palatalisatsiooni põhjustajat kui sõnade eesvokaalsus. Veel silmapaistvam on eelneva eesvokaali osatähtsus häälikute *ŋ* ja *k* palataliseerumise puhul: palataliseeruda võivad kõnekeeles ainult eesvokaalsed sõnad, nagu *män'g*, *sän'g*, *käk'k* jt., kusjuures sekundaarselt võib palatalisatsioon sattuda ka *u* ette (*män'gu*).

Peale juhtumite, kus palatalisatsioon teataval määral sõltub eelnevast vokaalist, võib eesti keeles juhuslikult leida ka otseselt progressiivset palatalisatsiooni. Nimelt hääldatakse *i*-lõpulist diftongi kiirkõnes mõnikord ebatäpselt, nii et sellest jääb ainult palatalisatsioon järgnevale konsonandile, kui see on dentaal, näit.: *kud'as*, *mud'u*, *nas'te*, *tes'te* jt.

Märkimist väärrib ka taotlev palatalisatsioon deminutiivsõnades. Siin ei ole palatalisatsioon tingitud naabrusest ega eelda palataalse hääliku assimileerivat mõju. Taotlev palatalisatsioon on eesti keeles nagu mujalgi tekkinud laste keele matkimisena, esinedes sageli koos *u*-deminutiiviga: *kut'su*, *not'su*, *tüd'u*, *kus'su*, *põs'sa* jne. Üksikuis sõnades võib selline palatalisatsioon omada foneemi väärtust, näit. *kul'u* — vrd. *kulu*, *kol'u* — vrd. *kolu*, *võt'a* — vrd. *võta*. Viimane sõnapaar tuleneb küll samast verbist, kuid tähendusvarjund on erinev.

Omaette tuleb vaadelda palatalisatsiooni teistest keeltest tulnud sõnades, mida eesti keele seisukohalt võib jaotada laen- ja võõrsõnadeks. Esimesed on keelde tulnud ammu, peamiselt suuliselt ja enne rahvusliku kirjakeele kujunemist. Need sõnad on häälikuliselt igapidi kohanenud eesti keelele, ka palatalisatsiooni poolest. Võõrsõnadeks nimetatakse selliseid sõnu, mis häälikuliselt ei ole kohanenud, vaid on säilitanud võõrhäälikud (*ž*, *š*, *ř*), enamasti esialgse rõhuasetuse ja muid eesti keelele võõraid häälikulisi iseärasusi. Kuid palatalisatsioon käib võõrsõnades oma teed. Et võõrsõnades käänamisvokaaliks on *i*, siis tekib nende käänamisel *i* eel koartikulatoorne palatalisatsioon. Sedamööda, kuidas sõnad keeles kodunevad, üldistub tüvevokaali *i* mõjul palatalisatsioon ka nominatiivi, kus *i* kunagi ei ole esinenud, näit. *kros's*, *mat't*. Samasugune lugu on pikemais sõnades pearõhulise silbiga: *artel'l*, *anten'n*, *tualet't*. Kui sõna rõhk aja jooksul on siirdunud esimesele silbile ja eriti kui kvantiteet väheneb, siis palatalisatsioon järgsilbis kas nõrgeneb või koguni kaob: *portfel(l)*, *protokol(l)*, *karamel(l)* jt. Hilisemaid ja vähekasutatavaid laene palataliseeritakse vähe, eriti nende poolt, kes hästi oskavad võõrkeeli, näit. sõna *akvarell*, *horisont* jt.

Üldiselt on palatalisatsioon rahvusvahelistes sõnades väga ebaühtlane nii oma intensiivsuse kui ka ulatuse poolest, olenedes sõna tuntuusest, rõhu kujunemisest jm. tegureist. Isikuti käib piiratum palatalisatsioon kaasas võõrkeelte suurema tundmisega.

Olukorrast võõrsõnade palatalisatsioonis näib võivat järeldada: kui palatalisatsioon on puhtfoneetiline nähtus, ei esine see ühtlasena ega stabiliseeru. Nii ka keele oma sõnavaras, näit. esmavärtelistes sõnades, kus järgnev *i* on alati püsinud, esineb palatalisatsioon isikuti kord üsna intensiivselt, kord väga nõrgalt, kord puudub täielikult. Peale selle võib pika vokaali järel palatalisatsioon kord puududa, kord esineda (*paat* — *paat'*, *saan* — *saan'* jt.), samuti *e*-tüveliste sõnade nominatiivis (*lesk*, *põsk*, *talv*, *külg*). Üksikute häälikute osas, nagu öeldud, on *r*-i palatalisatsioon tänapäeva keelest kadumas, aga isikuti siiski esineb, näiteks üliõpilastest palataliseeris *r*-i ca 15%.

Palatalisatsiooni varieerumist eesti keeles aitab mõnel määral selgitada selle nähtuse käsitlus eesti kirjakeele ajaloos. See pakub kirjut pilti.

Palatalisatsiooni esinemisele ja selle nähtuse märkimise vajalikkusele eesti keeles on juhitud tähelepanu grammatikute ja keeleteadlaste poolt juba alates 17. sajandist. Esimest korda esitab palataliseeritud sõnu J. Gutsloff 1648. a. oma grammatikas „Observationes Grammaticae circa linguam Esthonicam” ja märgib neid tähega *j* konsonandi järel (*panj, kotj* — lk. 6). 1660. aastal ilmunud Gösekeni grammatika „Manuductio ad Linguam Oesthonicam” annab teistsuguseid näiteid palatalisatsiooni esinemise kohta, käsitledes nähtust ilmsesti Lääne-Eesti murrete põhjal hoopis teisiti, epenteesina. Leiame näiteid, nagu *Jaen, saen, taet, vaet*. Näeme, et kumbki autor on käsitanud nähtust eri viisi. On ilmne, et üks märkab nähtust konsonandi, teine vokaali osas. Samasugune vastuolu läbib kogu möödunud sajandi keeleteaduslikku kirjandust selle küsimuse kohta. Põhjuseks ongi asjaolu, et palatalisatsioon eesti keeles ei kujuta endast ühtset nähtust, vaid suuresti erineb murdeti, ja iga autor on küsimust käsitledes lähtunud oma kodukoha kõnekeele seisukohalt. Palatalisatsioonist räägitakse Gutsloff’ist alates paljudes grammatikais, kuid esimesena analüüsib nähtust põhjalikumalt O. W. Masing 1816. aastal ja teeb ettepaneku palatalisatsiooni kirjas märkida. Ta esitab siin rea palataliseeruvaid sõnu ja märgib neid kaht viisi: *änd mäнд ja täll, õlg*.¹ Masingu poolt algatatud, saab palatalisatsiooniküsimuse käsitletlus erilise hoo Rosenplänteri ajakirja „Beiträge . . .” veergudel, kus Rosenplänter enese ja paljude teiste poolt püütakse selgitada palatalisatsiooni olemust ja enamasti rõhutatakse vajadust seda kirjas märkida. Kuid nähtuse seletamisel puudub üksmeel. Eriti ägedaks kujuneb poleemika palatalisatsiooni ümber sajandi teisel poolel Hurda ja Veske vahel, millel ilmselt on mõlemapoolne murdeline taust (vt. näit. „Sitzungsberichte d. GEG” 1870, lk. 46—48). Eelmisel sajandil ja osalt käesolevalgi esitatud seisukohtade kirevust iseloomustab hästi palatalisatsiooni märkimise ettepanekute rohkus ja mitmekesisus. Sellest alljärgnevalt mõned näited (koos autori kodukoha märkimisega):

- 1) *Jaen, saen* — Göseken (Läänemaa, Kullamaa)²
uis, saint — Luce (Saaremaa)³
kuill, kooil — M. Veske (Viljandimaa, Paistu)⁴

¹ O. W. Masing, Ehstnische Originalblätter für Deutsche. I. Dorpat, 1816, lk. 50—51.

² H. Göseken, Manuductio ad Linguam Oesthonicam, Anführung zur Öhstnischen Sprache . . . Reval 1660.

³ [J. W. L.] L[uce] kirjutab oma sõnavõtus „Orthographischer Vorschlag”: „Der öselsche Ehste liest die Wörter Sant, hunt, us etc, dass sie fast klingen wie Saint, huint, uis.” J. H. Rosenplänter, Beiträge VI (1816), lk. 49.

⁴ Sitzungsberichte d. GEG 1874, lk. 56. Sel puhul vt. ka referaati Hurda ettekandest OES-is. (Sitzungsberichte d. GEG 1870, lk. 46—48.) Hiljem on hakanud Veske kasutama samasugust märkimist, nagu esineb Wiedemannil: kar’g, kar’p, keer’ jne. (Vt. M. Veske, Славяно-финския культурныя отношения. Kaasan 1890, lk. X jj. (Указатель.)

poitt, toill, vainn, kojtt, kuujl, kajst — Preisberg (Järva-
maa?)⁵

loit, uis — Masing (Tartumaa, Lohusuu)⁶

aënd, mãnd — *ölg, pãlk* — Masing⁷

põl, põlw, putk — Masing⁸

võil, saân, kãs — Hirschhausen (Kuusalu)⁹

hal, kan, kaş, kaški, vars } — Rosenplänter (Pärnumaa)¹⁰
sant, kulp, tal

⁵ K. Preisberg, Häälikute peenendus ja kolm pikkuse järku. Eesti Kirjandus 1909, lk. 145 jj.

⁶ „Es wird dem Elephanten auch einen Rüssel geben können, den er lot (der Aussprache nach: loit) nennt.“ — „Mis see on?... Küllap opeetaja teab: us (spr. uis).“ [J. H. Rosenplänter], Ein Schreiben des Herrn Pastor Masing's zu Ecks an den. Herausgeber. Rosenpl., Beiträge XII (1818), lk. 38.

⁷ O. W. Masing, Ehstnische Originalblätter für Deutsche I. Tartu, 1816, lk. 50—51. Siin avaldab Masing kahetsust, et eesti alfabeedis puudub vaste vene tähestikus leiduvale märgile „b“, mis tähistaks palatalisatsiooni. Lk. 51 toob ta rea sõnu, milles leidub palataliseeritud häälikuid ja mida ta märgib tsirkumfleksiga tähe peal: mãnd, die Quirl, mãnd, die Fichte; and, die Gans, im Accusativ, aënd, die Gabe jne.

⁸ Hiljem kasutas Masing ka punkti asetamist (palataliseeruvale konsonandile eelneva) vokaali alla. Vorschläge zur Verbesserung der Ehstnischen Schrift, Tartu 1820, lk. 8—9. Sealsamas kõrvutab ta muljeeritud ja muljeerimata sõnu, nagu: palk ~ palk: sulg ~ sulg jne. Vt. ka „Marahwa Näddala-Leht“ 1821, „Juhhataja“ [= sisukord]: rukki us. Sama ajaleht 1825, nr. 32, lk. 254: „... ja õskame issi källimat pibo- ja ninna-tubbakat valmistada...“ — Marahva Kalender ehk Taht-ramat 1823 aasta peale, Pernos, lk. 47: „Temma olli tark tislar, ja kulus treial, kes elewandi hamba luist källid kunstwärgid treis...“ Samal leheküljel on veel palataliseerimismärgiga sõna „kroonlühtrid“. Vt. ka O. W. Masing, Beleuchtung der, über O. W. Masing's Beitrag zur ehstnischen Orthographie, Pernau 1827, lk. 29. Heller, Anmerkungen zum XIII Heft dieser Beiträge. Rosenpl., Beiträge XV (1825), lk. 93: „Kol, tulle tülle mannu, viska lats tülle. Kol ist mouillirt.“ Samal leheküljel veel: Kõtti, krampi, kaşti. — [Steingruber], Bemerkungen über O. W. Masing's Beitrag zur ehstnischen Orthographie von einem Freunde der ehstnischen Sprache, Pernau, 1826, lk. 17—18: ölg, sõlg, sulg, wars. Tartumaal leiduvat palatalisatsiooni veel laiemalt, esinevat rohkem palataliseeritud sõnu kui Põhja-Eestis, nagu näiteks: uts, kats, lats.

⁹ J. Hirschhausen, Ueber einige Vorschläge zur Verbesserung der ehstnischen Orthographie. J. H. Rosenplänter, Beiträge XIII (1821), lk. 10. Samas artiklis lk. 16 ütleb Hirschhausen: „Ei maksa muidugi jätta juurde lisamata, et rannamurre ei tunne seda erilist vokaalide toonitust.“

¹⁰ J. H. Rosenplänter, Vorschläge, die ehstnische Orthographie betreffend. Beiträge XIII (1821), lk. 70. Autor ütleb, et punkt pannakse muljeeritud tähe alla; siin on asetatud konsonandi alla.

1825. a. Beiträge XV kõites asetab ta punkti eelneva vokaali alla: „P a r w,

vars, kont, paat — Faehlmann (Järvamaa) ¹¹

hal'l, kaßs, küll — Grenzstein (Viljandimaa) ¹²

2) *parta, koita*
tujdu, jaajn, nojtt } Riomar (Tartumaa, Kursi) ¹³

ki,nk, ku,rk... , ka,n... ,

ki,nk, (kiñk,), pä,t,s (pät,s); } Ansomardi (Järvamaa) ¹⁴

toill, tojll

koñt, kaßt, kal'l'is — Wiedemann (Haapsalu) ¹⁵

vill, vaht — Hermann (Viljandimaa, Põltsamaa) ¹⁶

gen. e, suur hulk lindu, kalla ehk palka, mis koos tullevad ehk lähhedwad." Veel: *pant, pandi, pändil, pändile, andist, armist, armiline, täntsimine* jt. *Rosenplänter*, Acht und sechzig gelegentliche Sprachbemerkungen aus Briefen des Herrn Probst, Ober-Consistorial-Assessors und Ritters O. W. Masing. Gesammelt und nebst einer Bitte mitgetheilt von dem Herausgeber. Beiträge XV, lk. 45. Hiljem temalt säilinud käsikirjas „Lühhike oppetus/Kuida viljapuid harrida“, Pernus 1841, on kasutatud samasugust märkimist: „...et pu, mis santi wilja kannab, peab head wilja hakkama kandma,“ (lk. 8). (F. R. Kreutzwaldi nimeline Kirjandusmuuseum. OES, M. A. 137.)

¹¹ Fr. R. F ä h l m a n n, Ueber estnische Orthographie. Verhandlungen d. GEG II, 4 (1852), lk. 67: „Masingu märk on mugav ega moonuta kirja. Märgi kasutamine on vajalik. Kahekordse vokaali puhul on õige panna punkt teise vokaali alla, näit. *kaas, toos, kuusk.*“ F. R. F a e h l m a n n, Kribus-Krabus. Ma-rahva Kalender ehk Täht-ramat 1845, lk. 51: „...ja pahhema käe kolmas põikulits ja al maddal majja rohheliste akna-laudadega.“ Ka Faehlmanni kalendrijuttude mõningais hilisemais väljaandis on need palatalisatsioonipunktid säilitatud. (Vt. Friedrich Robert F ä h l m a n n, Kirjatööde kogu I (1915), lk. 47.) Kasutatud on seda viisi ka Faehlmanni kaasaegseis õpikuis: [R e i n t h a l], Tarto maa-keele Abits, kost latse võiva tävveste lugemist opi. Tarto liinan, 1845: „Kuis lats huka lät vanembide hooletuse läbi“ (lk. 16); „...nink panep mähitu latse rahakõtiga ema üska“ (lk. 19).

Punkti vokaali all kasutab selguse mõttes harva ka Kreutzwald:

„...pissohänd, rahhakandja, krat...“ Tekst on vanas kirjaviisis, mis laseb järeldada, et see on kirjutatud enne aastat 1851, millal Kreutzwald läks üle uuele kirjaviisile. (Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nimelise Kirjandusmuuseumi käsikirjade osakond fond nr. 64, mapp 4, vihik 5.)

- A. G r a n z s t e i n, Eesti Lugemise-raamat. Teine jagu, Tartus 1888, lk. 23: *ku'tsade, ha'll, hu'nt*; lk. 24: *hu'nt, hu'ndi*; lk. 25: „Ka'ss arvas hiire olema.“

¹³ T. R i o m a r, Eesti keel kõnes ja kirjas. „Postimees“ 1904, nr. 99.

¹⁴ Ansomardi, Eesti praeguse kirjakeele, kirjaviisi ja grammatika arevustus. „Rahva Lõbu-leht“ 1900, lk. 371—372.

¹⁵ F. J. W i e d e m a n n, Grammatik der Ehstnischen Sprache, St.-Petersbourg, 1875, lk. 125—126. Ka: W i e d e m a n n, Ehstnisch-deutsches Wörterbuch, St. Petersburg, 1869. Seda märkimisviisi on kasutatud tänapäevani muide kasulgeks jäävate sõnade palatalisatsiooni märkimiseks. Nii näit. *lindur* ühe oma jutustuse „Or'st“ pealkirjas jm. Vt. ka Anna Haava, Luuletused, Tallinn 1954, lk. 387: koll'.

- A. H e r m a n n, Eesti keele grammatik. Koolidele ja iseõppimise tarvis kõikidele, kes Eesti keelt õigesti ja puhtasti kõnelema ja kirjutama ning sügavamalt tundma ja uurima tahavad õppida, Tartus, 1884, lk. 11: „(kaubal on) pood; (sina) pood (üles); (välja- ehk õõ-) vaht; (õllel on) vaht.“

3) *kotj, panj* — Gutschlaff (Võrumaa, Urvaste) ¹⁷
arm', palk' — Hurt (Võrumaa, Põlva) ¹⁸

Paistab silma, et valdav osa autoreist, kes pooldavad palatalisatsiooni märkimist vokaalile, pärinevad aladelt, kus praegugi palatalisatsioon on oluliselt muutnud vokaali, kuni *i* epenteesini (*laits, uiss, saen*), — Saaremaa, Läänemaa, osalt Pärnumaa ja mulgi murde alal. Ka kodavere murde alalt on allakirjutanu registreerinud kõige vanemalt kõnelejailt epenteesi näiteid (*suaän, Juaän*), mis lubaks oletada niisuguse nähtuse olemasolu Masingu ajal ka Lohusuus, mille põhjal siis Masing seda tahtis märkida vokaalile. Aga Masing tundis ka teisi murdeid, mis võisid teda mõjutada.

Teiseks paistab silma 3. rühm näiteid, milles esinev märkimisviis on omane ainult võrumaalastele ja mille järgi palatalisatsioon peaks esinema konsonandi lõpus, eelnevat vokaali oluliselt mõjutamata, sarnaselt vene keelele — nii, nagu see võru murde alal tõepoolest esineb. Wiedemann, Hermann ja Riomar on oma märkimisviisiga kõige ligemal sellele, kuidas tänapäeva keeles palatalisatsioon kõige tavalisemalt esineb ja nagu seda peetakse õigeks märkida ka viimaste aastakümnete teaduslikus kirjanduses, Kettunen ¹⁹ ja Aristega ²⁰ eesotsas. Selle järgi on palatalisatsioon peaaesjalikult konsonantisminähtus.

Eesti rahvuskeel on levinud ja ühtlustunud kirjakeele alusel. Palatalisatsiooni aga kirjas ei märgita, seepärast pole ka tänapäevani välja kujunenud kindlaid norme ega täiesti ühtset häälduslikku uusust. Iga keelekõneleja on mõningal määral mõjustatud oma lähikonna keelepruugist, ja palatalisatsioonialane varieerumine on tegelikult väga suur. Selle olukorra mõistmiseks on vaja vaadelda palatalisatsiooni murdeis.

Palatalisatsiooni poolest jagunevad eesti murded nelja rühma:

¹⁷ J. Gutschlaff, *Observationes Grammaticae circa linguam Esthonicam*, Dorpati Livonorum 1648, lk. [20]: „6. Cavondum est nè litera jod in fine enuncietur per i. Sic non pronunciantum est Kotti pro Kotj Saccus, ut nec panni / olli pro panj olj / tc.”

¹⁸ [J. Hurt], *Lühikene õpetus õigest kirjutamisest parandatud viisi*. Väljaandnud Tartu õpetatud Eesti Selts, Tartus, 1864, lk. 4: „Peenenduse tähenduseks tehakse üleval pookstavi kõrvale kriipsukene (‘), mis kustutamise märgi sarnane on [ainult vastupidise kaarega]: l', n', r', s' jne. Kustutamise märk'on: ', peenenduse märk': '. Mõned näited: „s ä r g' on kala, s ä r k' on ihukate” (lk. 7); „palk', tal', sulg', saan', vars'” (lk. 10).

Ka: A. Erman, *Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland XXV* (1867), lk. 82.

Ka rahvalauluväljaannetes praktiseerib Hurt samasugust pehmenusmärgi, ainult märgi kaarel pole enam tähtsust: pal't'u; röövarull' (vt. „Vana kannel” II, lk. 171; 212; vrd. ka „Vana kannel” I, lk. VII).

Hurda sellele ettepanekule vastavalt märgib ka Koidula: „... isa mul'ki väimehks ei võta.” (*Säärane Mul'k*, 1872, lk. 8.)

¹⁹ L. Kettunen, *Eestin kielen äännehistoria*, 1929.

²⁰ P. Ariste, *Katselisfoneetilisi tähelepanekuid. Tartu Ülikooli Toimetised B-12* (1942); P. Ariste, *Eesti foneetika* (1953), lk. 77—83.

1²¹ murdealad, kus puudub igasugune palatalisatsioon;

2 murdealad, kus palatalisatsioon esineb ainult fonemaatilise palatalisatsioonina *i* lõpukao ja sisekao tingimusel, seejuures sageli epenteesina (Viljandi- ja Saaremaa);

3 murdealad (keskkohaga Võrumaa), kus palatalisatsioon esineb palju laiemalt kui kirjakeeles: palataliseeruvad kõik konsonandid, kusjuures palataliseerub just konsonandi lõpuosa, nii et seda tugeva palatalisatsiooni korral võiks märkida *j*-ga konsonandi järel. Palatalisatsioon võib esineda sõna igas asendis, palataliseerida võivad peale *i* ka teised eesvokaalid;

4 murdealad, kus palatalisatsioon esineb assimilatsiooninähtusena nii *i* püsi kui kao korral, samuti *j* ees, kusjuures palatalisatsioon on suhteliselt nõrk; palataliseeruvad ainult konsonandid, eelnevat vokaali oluliselt mõjutamata (Põhja-Eesti keskmurre ja sellel baseeruv üldrahvalik kõnekeel).

1. Palatalisatsioon puudub kahel teineteisest lahus seisval alal, nimelt Hiiumaal ja Põhja-Eesti rannikul, alates Tallinna ligidalt kuni Narva jõeni. Viimase ala piirjoon on pidevalt nihkumas mererannale ligemale kõigi murdejoonte kahanemisega. Palatalisatsiooni nähtusena võib siin paiguti kuulda ainult *j*-i assimilatsioonist tekkinud peenendust (*nal'lakas, väl'la*).

On andmeid, et kirde-eesi rannamurre ulatus varemini kaugemale sisemaale ja algas juba Hiiumaa ligidalt Noarootsist. Sel korral oleks see võinud moodustada Hiiumaaga ühise murdeala. Teised murdenähtused seda aga küllaldaselt ei kinnita ja ainult palatalisatsioonile sellist oletust rajada ei saa.

2. palatalisatsiooniala esindab puhtfonemaatilist palatalisatsiooni, mille põhiiseloomuks on palatalisatsiooni esinemine ainult *i* lõpukao tingimustes (*tal'l : talli, kas's : kassi*). Peale nimetatud põhitunnuse esineb selles palatalisatsioonitüübis terve rida ühiseid ja kirjakeelest erinevaid jooni, nimelt:

1) tugev epenteetilisus, näit. *su'p, w's, to'ep*;

2) peale dentaalide palataliseeruvad veel labiaalid, näit. *kum'm, rep'p, raa'ev*;

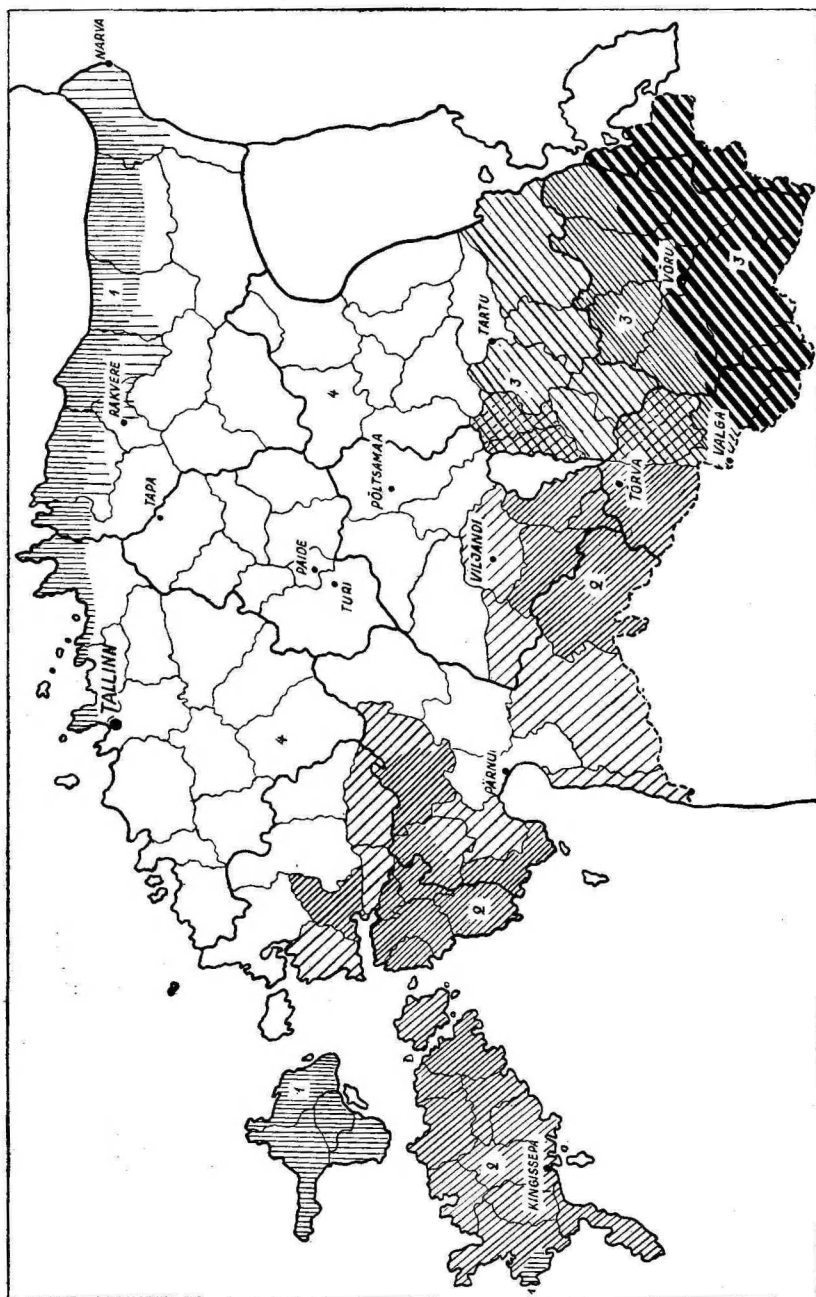
3) *k* ja *ŋ* palataliseeruvad igal tingimusel, näit. *ak'k, pan'g*;

4) *j* ees ei ole üldiselt palatalisatsiooni, vastavad sõnad esinevad kas metateesiga või ilma palatalisatsioonita, näit. *asjad, paelu, laaha*.

Erinevusena selle palatalisatsioonipiirkonna lääne- ja idaosade vahel võiks märkida pikkade vokaalide täielikku diftongistumist lääne pool: *jaen, taet*.

Sellel palatalisatsioonitüübil on kolm üksteisest lahutatud levikuala: nn. mulgi murde ala, Saaremaa ja Läänemaa lõunaosa. Tegelikult võib neid piirkondi redutseerida vähemalt kaheks: mulgi

²¹ Numbrid kaardil ruuduketes märgivad siin kirjeldatud murdealasid. (Vt. kaart lk. 83.)



Palatalisatsioonitüüpide esinemisalad. (Koostanud G. Laugaste.)

murde ja Saaremaa-Läänemaa alaks, sest Saaremaa on Läänemaaga alati olnud tihedas kokkupuutes. Saaremaa vastasrannikul on Virtsu sadam, millel minevikus on olnud veel suurem tähtsus ühenduse seisukohalt Saaremaaga kui tänapäeval. Ka ajaloost on andmeid saarlaste väga rohke siirdumise kohta mandrile, seega võiks ühiste murdejoonte olemasolu panna saarlaste mandrile siirdumise arvele. Keeleliselt ei oleks mingit raskust ka kogu seda palatalisatsiooniala pidada kunagi kokkukuulunuks, sest ühist murdeala võisid lõhestada Pärnu linn, mis oma aja kultuurikeskusena tõi enesesse mitmesuguseid keele-elemente, ja Pärnu jõgi, mis arheoloogia ja ajaloo andmeil oli tähtis liiklustee. Ei ole miski tõenäolisem kui see, et veeteed mööda tulid ka keelelised mõjud Kesk-Eestist Pärnu laheni. Aga ajaloolisest ajast ei ole mingeid otseseid andmeid siin ühise hõimu oletamiseks, kuigi mõned teisedki keelelised faktid seda toetaksid.

Kolonisatsiooni ja liiklusteede mõju kohta palatalisatsiooninähtusse, nagu seda võis oletada Pärnu jõgikonnas, on otseseid tõendeid hilisemast ajast, nimelt eelmisest sajandist. Samalt mulgi murde alalt on asunud talude ostmise eesmärgil rohkesti viljandi-maalasi Tartumaale, lõuna poolt Võrtsjärve Sangastesse ja põhja poolt Randu. See kajastub selgesti palatalisatsiooninähtuses, samuti ka teistes murdejoontes. Põhja pool soodustas Viljandi-Tartu maantee murdejoonte levimist veelgi kaugemale, Puhja.

3-ndana tuleb märkida kõige rikkalikuma palatalisatsiooniga ala. Siin esinev palatalisatsioonitüüp läheneb oma iseloomult vene keelele. Seda iseloomustavad põhiliselt järgmised jooned: a) kõigi konsonantide palatalisatsioon nii *i* püsides kui ka kao puhul; b) palatalisatsiooni esinemine ka teiste eesvokaalide ees; c) palataliseerub konsonandi lõpuosa, nii et seda tugeva palatalisatsiooni korral sobiks märkida *j*-ga; d) palatalisatsioon eelnevat vokaali oluliselt ei mõjuta; e) palatalisatsioon esineb ka sõna algul (*t'ek'k*, *k'äsi*, *t'ül'ü*), kusjuures üksikul juhtumel vokaal on minetanud oma palataalsuse (*k'ulm*, *n'ago*, *t's'alk*). Selle palatalisatsioonitüübi levikupiirkond on kagus, võru ja setu murdealal. Selle kujunemise tingimusena võib kindlasti oletada tihedaid kokkupuuteid vene keelega.

Tartu murdeala moodustab sisuliselt ülemineku võru palatalisatsioonitüübilt põhja-estti keskmurde palatalisatsioonitüübile, võiks ütelda — on võru murde palatalisatsiooni lahjendatud väljaanne. Palataliseeruvad samad konsonandid (põhja pool ainult *h* ja *v* välja arvatud), kuid ainult *i* eel. Et palatalisatsiooni piir ei ulatu endise maakonna piirini, sellest võib järeldada, et võrumurdeline palatalisatsioon on taandumas tartumaalise kui kirjakeelele lähedasema eest.

Lõpuks 4. palatalisatsioonitüüp, mille levikuala on kõige suurem, esineb põhja-estti keskmurdes ja selle ümbruses. Siinsed palatalisatsioonisuhted vastavad üldiselt kirjakeelepärase kõnekeele pala-

talisisatsioonisuhetele: palatalisatsioon on konsonantisminähtus, aga mõjutab ka eelnevat vokaali; palataliseerub konsonandi algusosa; palatalisatsioon hõlmab ainult dentaale ja esineb üldise assimilatsiooninähtusena nii *i* kao kui ka püsi korral, samuti *j* ees, on seejuures varieeruv ja lühikese konsonandi puhul üsna nõrk; *i* kaoga vormides omab ta fonemaatilist funktsiooni ja esineb järjekindlamalt.

Peale nimetatud nelja põhiala esineb veel sega- ja ülemineku-alasid, nii et tegelikult on üldpilt palatalisatsioonist murretes kirjum. Seepärast pole ka palatalisatsiooni keeleajaloolise olemuse ega märkimise küsimuses saavutatud üksmeelt. Peale murdeerinevuste tuleb arvestada veel nähtuse dünaamikat. On võimalik konstateerida palatalisatsiooni järkjärgulist nõrgenemist, eriti *i* ees, kus sel pole foneemi väärtust. Vanem generatsioon palataliseerib üldiselt järjekindlamalt, vähemalt *r*-i palatalisatsiooni kadumine noorema generatsiooni juures on vaieldamatu.

Kirjakeele mõjul on toimumas murrete pidev nivelleerumine ja keele ühtlustumine, kuid et foneetilised murdenähtused on keeles kõige püsivamad, eriti kui kirja pilt ei aita neid esile tuua, siis on täiesti ühtse palatalisatsioonisüsteemi väljakujunemine eesti keeles veel pikk protsess.

Mis puutub palatalisatsiooni tekkimisse, siis üldiselt ollakse seisukohal, et see on toimunud enne lõpukadu. Kuid läänepoolse palatalisatsioonitüüpi sunnib oletama, et vähemalt sel alal olid palatalisatsiooni tekkimine ja lõpukadu üheaegsed, on ühe ja sama nähtuse kaks poolt. Siin palataalse assimilatsiooni tendentsi pole. Ida- ja põhjapoolsel alal võib palatalisatsioonitendentsi pidada lõpukaost vanemaks, mis aga viimase tõttu sai uue funktsiooni ja tugevnes.

Kokku võttes eelöeldut võib märkida tänapäeva eesti keele palatalisatsiooni kohta: see ei ole ainult keeleajalooline fakt, vaid ühtlasi pidev tendents, häälduslik hoiak, millele allub nii keele vana sõnavara kui ka uudismoodustised. Palatalisatsioon on suhteliselt piiratud nähtus, häälduselt nõrk, selles ilmneb nõrgenemise ja kadumise tendents. Nähtus pole täiesti ühtlustunud, sest murdeline taust on kirju, milles võib eraldada neli peamist ja üksteisest oluliselt erinevat palatalisatsioonitüüpi. Palatalisatsiooni kui eri foneemi kirjas ei eraldata, mis oluliselt raskendab nähtuse ühtlustumist.

ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ СОГЛАСНЫХ В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ

Г. Лаугасте

Кафедра эстонского языка

Резюме

Палатализация в эстонском языке носит двойкий характер: а) коартикуляторный или ассимилятивный и б) фонематический. Фонематическая палатализация наблюдается в том случае, когда вызвавший палатализацию звук исчез и палатализация сохранилась для разграничения значений слов (tulp — tul'p). Палатализация в эстонском языке представляется не столько фактом исторической фонетики, сколько постоянной тенденцией, общим явлением регрессивной ассимиляции, которое сказывается в одинаковой мере как в старом словарном составе, так и в позднейших заимствованиях, в зависимости от их распространенности.

Палатализируются в эстонском языке зубные *d, t, l, n, s*, и палатализация происходит при одинаковых условиях. Палатализация звука *g* в литературном языке не отличается последовательностью, и фонематическое различие *g* и *g'* представляет собой диалектное явление. Коартикуляторно (ассимилятивно) палатализируются иногда также велярный смычный и носовой сонант, однако лишь в словах с гласными переднего ряда и при этом последовательно (*män'g; käk'k*).

3. Место палатализации в слове ограничено. Фонематическая палатализация встречается лишь в слоге с главным ударением. Палатализуется следующий за этим слогом согласный в своей начальной части, что оказывает влияние и на предшествующий гласный звук. В группе согласных палатализуется первый компонент, а если этим компонентом является не палатализуемый звук, то и группа согласных не подвергается палатализации (*koršima*). В долгих согласных и геминатах смягчается также начальная часть.

Явление палатализации в эстонском языке обусловливается главным образом звуком основы *i*, который регрессивно воздействует на артикуляцию предшествующих согласных в направлении палатализации. В случае сохранения второго слога мы имеем дело с коартикуляцией, причем различителем значения слова

остаётся гласный (palga, pal'gi). В формах слова, где конечное *i* исчезло, наблюдается фонематическая палатализация (pal'k — palk), при этом лишь в односложных словах. Только в немногих случаях в формах более длинных слов, где имела место синкопа, палатализация может получать фонематическую функцию (kas'te — kaste, gen.) и наблюдаться перед гласным.

Кроме *i*, смягчение согласных вызывается палатальным звуком *j*.

Палатализация по существу имеет регрессивный характер.

Прогрессивная палатализация при неточном произношении может наблюдаться лишь в том случае, если второй компонент дифтонга — звук *i* — не произносится (muidu — mud'u, tes'te).

После дифтонга палатализация согласного вообще не наблюдается (poissi, kausse, nautis, teati, laoti). Это, повидимому, объясняется особенностью эстонской палатализации, а именно ее перенесением на предшествующий гласный. В случае же палатализации согласного после дифтонга гласный приобрел бы характер трифтонга (taoitti), а это в эстонском языке невозможно.

Трактовка палатализации в истории языка представляет пеструю картину. Противоречия, наблюдаемые, начиная с XVII в., в высказываниях по этому вопросу, явно обусловлены происхождением авторов из различных диалектных областей.

В современном языке варьирование палатализации зависит еще в значительной мере от того же фактора. Чтобы уяснить себе положение вещей, необходимо рассмотреть явление палатализации в отдельных диалектах.

В отношении палатализации эстонские диалекты разделяются на четыре группы: 1) диалекты, в которых палатализация вообще отсутствует (Хийума, диалект побережья); 2) диалекты, в которых палатализация наблюдается в результате исчезновения гласного в конце или внутри слова и может быть только фонематической, причем она нередко превращается в частичную или полную эпентезу (Саарема, часть Ляэнема и Пярнума и южная часть Вильяндима); 3) диалекты, в которых палатализация представляет собой явление ассимиляции как в случаях исчезновения, так и в случаях сохранения звука *i*, а также перед *j*, причем она гораздо более непоследовательна, а в отношении краткого согласного весьма слаба (центральный диалект северной Эстонии); 4) диалекты, в которых палатализуются все согласные перед *i* и другими передними гласными, причем палатализации подвергается как раз конечная часть согласного, так что при сильном смягчении его мягкость можно было бы обозначить йотом (Вырума, Сету).

Варьирование палатализации у говорящих на эстонском языке обусловлено не только локальным фактором, т. е. она является различной не только у отдельных лиц, но и у разных

поколений. Старшее поколение вообще более склонно к палатализации.

Палатализация согласных в эстонском языке, по сравнению с ближайшими родственными языками, носит относительно слабый и ограниченный характер. Случаев замены непалатального звука совершенно новым палатальным звуком в истории эстонского языка не наблюдается.

ÜHEST VADJA RAHVALAULUST

Prof., filoloogiateaduste doktor P. Ariste

Soome-ugri keelte kateeder

Viimased vadjalased on olnud tuntud oma rahvalaulude rikkuselt. Isegi veel siis, kui vadja keele oskajaid leidis kõigest sadakond vanakest, oli nende hulgas häid laulude oskajaid, nagu Matjo Gerasimova Jõepära külast, kes peale pulma- ja lüüriliste laulude mäletas ka rea eepilisi laule. Nagu on selgunud spetsiaaluurimisest, on vadjalastel peale isurite ja eestlastega ühiste laulude olnud ka selliseid, mis olid loodud nende eneste hulgas ja olid omased vaid neile enestele.¹ Et vadjalased on olnud laulurikas rahvas, siis on otse ootuspärane, et esimene vadja tekstikujuline keelenäide on rahvalaul, mis XVIII sajandi teisel poolel pandi kirja ning avaldati trükis narvalase Fr. L. Trefurti poolt.

Narva Jaani kirikus oli a. 1765 kuni 1777 abiõpetajaks ja a. 1777 kuni 1798 pastor ordinariuseks Friedrich Ludolph Trefurt. Tema elust ja tegevusest teame trükitud allikate² järgi ainult nõnda palju, et ta oli sündinud Peterburis ja on koostanud rea vaimuliku sisuga brošüüre. Soome-ugri keeleteaduses ja etnograafias on aga tema nimi jäädvustatud, sest oma ametireisidel praeguse Leningradi oblasti lääneosas ehk tolleaegsel Lääne-Ingerimaal on ta vadjalased teadusele uuesti avastanud ning pannud kirja mitmesuguseid vadja kombeid ja uskumusi, keelenäiteid, ühe rahvalaulu ja huvitava etnograafilise kirjelduse tolleaegsete vadjalaste kaasajast. Trefurti kirjanepääd on vanimad usaldusväärsed andmed, mida seni tunneme vadjalaste elu-olu kohta. Tartu justiitsbürgermeister Fr. K. Gadebuschi teose „Versuche in der livländischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit“ esimese köite viiendas vihikus³ on Trefurt kogutud materjali põhjal avaldanud äärmiselt tähtsa kirjutise „Tšuudidest”

¹ V. Salminen, Tutkimus vatjalaisten runojen alkuperästä, Helsinki 1929.

² J. F. Recke — K. E. Napiersky, Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexicon der Provinzen Livland, Esthland- und Kurland IV, Mitau 1832, lk. 395; C. H. Busch, Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Russland I, St.-Petersburg—Leipzig 1867, lk. 69.

³ Riga 1783.

(„Von den Tschuden“). Vadjalasi nimetab ta tšuudideks venelaste järgi, kes tänapäeva vadjalaste kohta tarvitavad kollektiivnimetust *чудь* ja üksiku isiku kohta nimetust *чудин*. Oma kirjutises on Trefurt muide õigesti osutanud, et vadjalased on iseseisev soome-ugri rahvas ning neil on iseseisev keel, mis on lähedane soome keelele, nõnda et soomlane võivat vadjalasest ja vadjalane soomlasest aru saada. Ta konstateerib ühtlasi sedagi, et ka eesti keelega on vadja keelel sarnasust. Vadja keele iseloomustamiseks on Trefurt lasknud ühel vadja tüdrukul, kes oskas ka vene ja saksa keelt ning kes oli talle üldiseks keelejuhiks, ette ütelda rahvalaulu, mille laulu ütleja on ise ühtlasi ka saksa keelde tõlkinud.⁴ Laul on järgmisel kujul trükitud:

*Awita minnu arma toita
Tschen saennad tschen toisell
Ku mihall tuhae toisae poika.
Ae boui milla wannopat,
Tschelli tschett tschen minna opaetap,
Ae boui milla then minnu okkoi opaetap,
Mae isson kui lindo puen pael,
Ja meolaen kui lamma, metsae kaent.*

Laulu saksakeelne tõlge on järgmine:

Helfet doch mir Armen,
Der eine mit Worten, der andere mit Zureden,
Alsdenn, wenn ich auf eine fremde Stelle komme.
Ich habe weiter keine Aeltern mehr,
Ich habe sonst keine irgend mehr,
Die mich armen Tropf lehren und unterweisen könnten.
Ich sitze verlassen, gleich einem Vogel auf dem Baume,
Und so verloren, wie ein Schaf im Walde.

Et Trefurt ei ole enese sõnade järgi osanud ühtki läänemere keelt, on laul väga vigaselt kirja pandud. On võimalik, et algsesse kirja-panekusse on hiljemini tulnud uusi vigu kas ümberkirjutamisel või reisil tehtud märkuste hilisemal dešifreerimisel. Kahjuks pole meil kasutada laulu algupärast käsikirja ega või siis sellepärast kindlaks teha, missugused arvatavad trükivead on laduja omaltki poolt juurde teinud. Pole kerge laulu ehtsat vadja sisu taibata. Mõnel määral aitab sisust aru saada saksakeelne tõlge, mis siiski pole täiesti adekvaatne. Et laul on väga vigases vadja keeles kirja pandud, seda on nenditud varsti pärast Trefurti kirjutise ilmumist.

Juba tuntud literaat ning mitmekülgne uurija Hupel on oma kirjutiste kogus „Nordische Miscellaneen“⁵ konstateerinud, et Trefurti poolt keelenäitena toodud laul on keeliliselt puudulikult kirja pandud ning et selles on liiatigi ohtrasti trükivigu. Hupeli arvates olid eest-

⁴ Fr. K. Gadebusch, Versuche in der livländischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit I 5, lk. 12. Toodud laulus on pikk f asendatud s-ga.

⁵ Achtes Stück, Riga 1784.

laste esiisad need tšuudid, keda vene kroonikad sageli mainivad. Hupel kirjutas sellepärast terava kriitika Trefurti vastu, kes pidas samaks vadja rahvaks kroonikate tšuude ja XVIII sajandi tšuude. Oma kriitikas analüüsib Hupel ka vadja rahvalaulu, mille oli Trefurt toonud. Hupeli arvates on rahvalaul üldse ebaõnnestunud keelenäide, sest eestlastel ja soomlastel esinevat lauludes selliseid väljendeid, millel polevat mingisugust mõtet, sõnadele lisatavat ebatavalisi lõppsilpe ja venitatavat sõnu. Kes ei valdavat hästi eesti keelt, saavat harva aru eesti rahvalaulust. Vaevalt suutvat keegi eesti rahvalaulu õigesti kirja panna. Pealegi olevat eesti ja soome keeles häälikuid, mida olemasolevate kirjatahtedega üldse ei saavat paberile märkida. Et Trefurt pole osanud ei eesti ega soome keelt ega ole ka varemini vadja keelt kuulnud, siis arvab Hupel, et mõnigi sõna on valesti kuulnud ja vääralt kirja pandud. Hupel ei ole muudelgi juhtumitel eesti rahvalaulude olemusest õigesti aru saanud. Ta eksib siingi, arvates, nagu oleks läänemereelaste rahvalauludes mõttetuid väljendeid. Hupel on aga õigesti ära näinud, et Trefurti kirjapanekuis on vigu. Ta püüab esitada otsese tekstikriitika, analüüsides laulu värssvärsilt.⁶ Hupel seletab õigesti ära mitmedki Trefurti vead. Nõnda osutab ta, et *Toisäe poika* peaks olema *toise paika*, et teises värsis sõna *toisel* on valesti tõlgitud sõnaga *Zureden* jne. Mitmed raske- mad seigad on aga Hupelil jäänud selgitamata. Ta arvab näiteks, et kaheks poolitatud sõna *arma toita* (s. o. *armatoita*) teine osa oleks eesti sõna *toita* vaste. Õigesti osutab ta aga, et sõnad *mihall tuhae*, *meolaen* jne. on niivõrd valesti trükitud, et neist pole võimalik aru saada. Hupel väidab, et laul koosnevat suuremalt osalt eestikeelseist sõnadest. Sellest võivat järeldada, et tšuudide keel on eesti keelega lähedalt sugulane. Järelikult olevat tšuudid ja eestlased vennad, kellel olevat olnud ühesugune keel, mis praegu küll olevat hargnenud eri murreteks. Keeleandmete põhjal olevat võimalik uskuda, et tšuudid kuuluvad suurde „soome” rahvaste perre. Kaugemale Hupel ei osanud minna, sest tema ajal oli soome-ugri keelte võrdlev uurimine alles hakanud tegema esimesi argu samme. Ungarlase J. Sajnovicsi sulest ilmunud „Demonstratio”⁷, milles püüti teaduslikult põhjendada eri soome-ugri keelte sugulust, polnud kaugele Põltsamaale Hupelini küündinud. Teksti analüüsides on Hupelil olnud abiks üksnes praktilised teadmised eesti keele alalt. Sellepärast on talle jäänud selgusetuks kõik see, mida ta pole saanud selgitada käegakatsutavate eesti keele näidete varal.

Umbes 50 aastat hiljem avaldas noor soome üliõpilane C. A. Gottlund, kellel oli suur uurijavaimustus soome-ugri keelte ja rahvaluule vastu, tähelepanndava koguteose „Otava”.⁸ Selle koguteose teises

⁶ Nordische Miscellaneen IX—X, lk. 331 jj-d.

⁷ J. Sajnovics, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae 1770; Acta Linguistica III, Budapest 1953, lk. 459 jj-d.

⁸ C. A. Gottlund, Otava eli suomalaisia huwituksia II 4, Tukhulmi 1832, lk. 206 jj-d.

köites on muide kirjutis „Tõlge vadjalaste ehk tšuudide keelest” („Keännös Watjalaisten taki Tschuudilaisten kielestä”). On toodud Trefurti poolt kirjapandud vadja rahvalaul mõnede paranduste ja soomekeelse tõlkega. Gottlundi arvates peaks laulu õige kuju olema selline:

*Awita minnu armatoita,
Tschen saennad, tschen toisell!
Ku mihall tulae toisae poika,
Ae boui milla wannopat;
Tschet tschen minna opaetap,
Ae boui milla then minnu okkoi opaetap,
Mae isson kui lindo puen pael,
Ja me olaen kui lammas metsae kaent.*

Originaalse vadja teksti ees olev soomekeelne tõlge on järgmine:

Auta minua armatointa,
Toinen sanall', toinen toimell'
Kuin minä tulen toiseen paikkaan,
Eip' ou mulla vanhempia.
Toiset toisin minua opettaapi,
Ei' ou mulla kekä minua oikeen opettaapi,
Mie istun kuin lintu puijen peällä,
Ja mie olen kuin lammas metsään keäntyn't.

Gottlund on õigesti näidanud, et *arma* ja *toita* moodustavad ühe sõna *armatoita* ja et *meolaen* on tegelikult kaks sõna *me* ja *olaen*. Samuti on ta teinud õige paranduse kolmandasse värssi, kus sõna *tuhae* asemele on esitatud sõna *tulae*. Laulu soomekeelses tõlkes on aga küllalt ebatäpsusi, mis kõneleb sellest, et Gottlund pole laulu kogu sisust siiski õigesti aru saanud. Laulu kirjapaneku kohana on Gottlund maininud Baabina küla: „Laulettu yheltä Tschuudin tytöltä Babinan kylästä, Kattilan pitäjässä, Peipuksen rannalla, Inkerin moassa”. Selle maateaduslikult fantastilise märkuse järgi on hilisemad autorid mitmeti korranud, nagu oleks kõnesolev rahvalaul kirja pandud Baabina külast, vadja keeli Jarvi ehk Jarvigoistšülä. Trefurt kirjutab oma ülevaates üksnes „tšuudi tütarlapsest”, ilma et tolle elukohta oleks lähemalt märgitud. On vaid kindel, et laul on kirja pandud Kattila ala vadjalastelt, sest Trefurt ütleb ise, et ta on vadjalasi tundma õppinud Kattila kihelkonnas (im kattilaschen Kirchspiele), kus ta on lühemat aega peatunud.

A. Ahlqvist on oma vadja keeleõpetuses „Wotisk grammatik”⁹ õigesti hinnanud Gottlundi parandusi ja tõlgenduse katseid. Omalt poolt ei ole aga Ahlqvist laulu kommenteerimiseks midagi uut lisanud.

Gottlundi kaudu on kõnesolev vadja laul saanud populaarseks, sest „Otava” oli õige levinud kirjanduslik koguteos. Gottlundi „Ota-

⁹ Acta Societatis Scientiarum Fennicae V 1, Helsingforsiae 1856, lk. 11.

vast" on V. Salminengi võtnud selle laulu soome runokokku „Suomen kansan vanhat runot" IV 3¹⁰. Mainitud teoses avaldatud vadja laulud on ilmunud ka äratrükina „Vatjalaiset runot". Gottlundi redaktsioon esineb ka V. Salmineni uurimuses „Tutkimus vatjalais-ten runojen alkuperästä" ¹¹. Laulule vadja teiseid Salminen ei tunne. Teiseid pole ka hiljemini kirja pandud. Vadja laulude kohta olevas eriuurimuses on Salminen käsitlusel olevale laulule lisanud lühikese kommentaari: „Võib kergesti nentida, et Trefurti värsid on vadja pulmalaulust, ent nad ei moodusta mingisugust ter-viklikku pulmalaulu. Kolmes viimases värsis on isegi värsimoot segi, nõnda et kuuenda värsi sõnade „*Ae bou milla*" järel on olnud midagi muud jätkuks või pigemini, kuna Trefurtil on olnud raske paberile panna laulu, millest ta ei saanud midagi aru, on tüdruk korranud seda, mida ta oli juba öelnud värssides 4—5 ning teinud seda proosa-kõnes seletades. On olemas muidugi ka see võimalus, et tüdruk ise ei osanud korralikult laulu sõnu."

Ei ole seega Salminengi, vadja laulude parim tundja, täiel mää-ral jagu saanud laulu tekstist ning on teinud isegi ebaõigeid põhilisi järeldusi.

On säilinud eesti rahvalaulude koguja ja publitseerija H. Neusi väärtuslik vihik „Volklied der Ehsten gesammelt in den Jahren von 1818 bis 1863, 1. Heft" ¹². Selles kogus tuuakse vana eesti rahva-
laul „Minna üksi kui se tedre". Sellele eesti rahvalaulule on lisatud lühike seletus, kus temaga muide võrreldakse Trefurti avaldatud vadja rahvalaulu. Viimane on Neusi poolt vigadeta maha kirjutatud. Saksakeelses tõlkes on esimesele värsile lisatud arvatav parandus-
katse: Helfet doch mir Armen (? mich ernähren). Seega on Neuski arvanud, et valesti poolitatud sõna *armatoita* teine osa *toita* vastab eesti sõnale *toita*.

Olgu veel mainitud, et allakirjutanu on Trefurti originaali järgi avaldanud laulu oma kirjutises „Two Old Vocabularies of the Votic Language", ilma et oleks toodud tekstikriitikat.¹³

Nagu juba senine kriitika on õigesti rõhutanud, on laul väga vigaselt kirja pandud. Teksti analüüs on aga raske selle tõttu, et pole teada ühtki laulu teisendit. Ainsad vadja rahvalaulude värsid, mis mõnel määral tuletavad meelde kõnesolevat laulu, on ühes A. Ahlqvisti poolt kirjapandud rahvalaulus:

Awittakâ armassani
Cen sõnala, çen sõwala,
*Kumba wassela wanala.*¹⁴

¹⁰ Helsinki 1928.

¹¹ Helsinki 1929, lk. 5 jj-d.

¹² Fr. R. Kreutzwaldi nimelise Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakond ELG F 232 f I, lk. 68 jj. Vt. ka Eesti Kirjandus 1930, lk. 331, kus mainitakse H. Neusi asjaomast vihikut.

¹³ Opetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1935, Tartu 1936, lk. 14.

¹⁴ A. Ahlqvist, Wotisk grammatik, lk. 93, nr. 4. Vt. ka V. Salminen, Vatjalaiset runot, lk. 679, 701 ja 721.

Avitage minu armast,
kes sõnaga, kes rõivaga,
kes vasega vanaga.

Käesolevas kirjutises tahetakse Trefurti poolt kirjapandud vadja rahvalaulu omaltki poolt lähemalt analüüsida. On ju see laul vanim märkus vadja rahvaloomingust ning üldse vanim vadjakeelne tekst, mida seni tunneme ja millel on vadja keele uurimise seisukohalt vägagi suur tähtsus.

Laulu sõna-sõnalt analüüsides saab järgmise ülevaate. Esimeses värsis *Awita minnu arma toita* peavad viimased sõnad ühte kuuluma, nagu seda on osutanud juba Gottlund. Oodatav õige sõna on *armatoita* 'armetut'. Nõnda siis on see esimene värss Kattila vadjalaste praeguse hääldamise järgi:

avita minū armatoita
aita mind armetut.

Vadja keele praegune hääldamine ja see hääldususus, mis oli Trefurti ajal, umbes 170 aastat tagasi, ei või olla põhiliselt väga erinevad. Seda osutavad muide Ahlqvisti saja aasta eest tehtud kirjanekud, mille keel ühtib tänapäeva vadja keelega. Ahlqvisti vanemad keelejuhid olid Trefurti ajal juba sündinud. Mõni neist võis olla isegi suur poiss või tüdruk, nagu muide kuulus rahvalaulik Anna Ivanovna, kellelt Ahlqvist on kirja pannud rohkesti keelenäiteid. Seega on kõigiti tõenäoline, et XVIII sajandi teise poolegi ja praeguste viimaste vadja keelt kõnelevate vanakeste hääldus on olnud sarnane. Esimeses värsis on keeleliselt tähelepandav sõna *armatoita*. Tänapäevases vadja keeles esineb *armatōta*.¹⁵ On võimalik, et diftongi säilimine sõnas *armatoita* kajastab vanemat keeleuusust, mis meie päevil on kadunud. Kuid on võimalik oletada sedagi, et on tegemist isuri keele mõjuga. Vadja keeles on niihästi sõnavaras kui ka kohati foneetikas ja morfoloogias isuri keele ilmseid jälgi. Isikuti on isuri (või ka soome murrete) mõju seda suurem. Diftongilised karitiivsed adjektiivid on tüüpiliselt omased just isuri murretele,¹⁶ kus esineb näiteks *onnēdoin*, partitiiv *onnēdoinv* 'õnnetu', *emādōin* 'ematu' jne. Trefurti kirjapandud pulmalaulu keeles on veel mõni muugi erijoon, mis viitab isuri keele mõjule. Üldiselt on vadja keeles sihitav *minū*, ent mõnes Kattila-lähedases külas (Mati, Kõrvõttula, Jarvi) võib olla ka *miñnu* lühialgulise geminaadiga üksiku *n*-i asemel, mis on taas isuri keele mõjul tekkinud foneetiline muutus. Seega pole võimatu, et esimese värsi teine sõna, mille Trefurt on kirja pannud kujul *minnu*, on hääldatudki geminaadiga. Et aga ka üksikkonsonant võib Trefurti kirjaviisis olla märgitud

¹⁵ L. Kettunen, *Vatjan kielen äännehistoria*, Helsinki 1930², lk. 161.

¹⁶ V. Porkka, *Ueber ingrischen Dialekt, mit Berücksichtigung der übrigen finnisch-ingermanländischen Dialekte*, Helsingfors 1885, lk. 122.

kahe tähega (*wannopat*), ei saa absoluutse kindlusega ütelda, misugune hääldus peitub kirja pildis *minnu* taga.

Teisel värsil *Tschen saennad tschen toisell* on teises sõnas kas kirjutus- või trükiviga. Sõna *saennad* asemel peaks olema *saennal* 'sõnaga, sõnal'. Seega kõlab see värs järgmiselt:

tšen senā, tšen teizeē
kes sõnaga, kes teisega.

Vadja keskvoakaali *ē*, mis oma moodustamisviisilt on sarnane eesti *õ*-ga, on Trefurt edasi andnud kirjamärkidega *o*, *ae* ja *e*.

Kolmandal värsil *Ku mihall tuhae toisae poika* on mitu kirjutus- ja trükiviga. Sõna *tuhae* asemel peaks olema Trefurti õigekirjutuse järgi *tulaen*, s. o. *tulen* 'tulen'. Sõna *poika* asemel peaks olema *paika*, nagu seda on osutanud varasemadki kommenteerijad. Käesoleva värsi teine sõna *mihall* on sedavõrd arusaadamatult kirja pandud, et tema tõeline vaste ei ole otseselt läbinähtav. Arvesse võttes saksakeelset tõlget võib arvata, et tegemist on sõnaga *miä* 'mina', ent kirja pilt on kõige lähemal sõnale *mehelē* 'mehele', mis ka sisuliselt on täiesti võimalik. Sõna lõpus olev teine *l* näib olevat trükiviga, mis on tekkinud sel teel, et käsikirjas olnud *e* on loetud *l*-ks.

Kolmanda värsi rekonstrueeritud kuju oleks seega:

ku mehelē tulēn teise paikkā
kui mehele tulen teise paika.

Neljas värs *Ae boui milla wannopat* on kirja pandud võrdlemisi täpse häälikulise vastavusega. Raskusi on kirjutajale toonud üksnes *ē*-hääliku märkimine. Pikk *ē* on nimelt tähistatud kirja- tähtedega *oui*. Neljas värs kõlab seega:

e bē milla vanepāt
ei ole mul vanemat.

Viies värs *Tschelli tschett tschen minna opaetap* on kogu laulus kõige segasem. Kõigepealt võib nentida kahe kirjutusvea või trükivea olemasolu. *Tschelli* ja *minna* on ootuspäraste **Tschelle* 'kellele' ja **minnu* (akusatiiv) või **minua* (partitiiv) 'mind' asemel. Muidu on värs häälikuliselt küllaltki täpselt edasi antud. Mis aga teeb värsi segaseks, on esimese sõna erisugune kordamine. Laulik on nähtavasti värsi algust või kogu värssi üleskirjutajale mitmel korral ette ütelnud. Seda tööka on nentinud juba V. Salminen. Värssi korrates on laulik kõigepealt tarvitanud allatiivi *Tschelli* = *tshellē* 'kellele'. Et aga allatiiv ei ole sobinud selle sisuga, mida Trefurt on lõplikult kirja pannud, siis näib, et laulik oli vahepeal oma mõttekäiku muutnud ja korrates kavatsenud värssi teisiti ütelda. *Tschett* = *tšed* 'kes' on mitmus sõnast *tšen* 'kes'. Et aga eelmises värsis on ainsuses sõna *vanepāt* 'vanemat', mis regeerib

pronoomenit, on laulik lõplikult värssi öeldes tarvitanud ainsust *tschen* = *tšen*. Käesolev värss oleks seega:

tšen minū (~ *miñnū*, *minua*) *epeṭab*
kes mind õpetab.

Allatiiv *Tschelli* nõuab infinitiivi, kui temaga väljendatakse vajadust, sundust: *tšellē mennā* 'kes peab minema'. Kui allatiiv *tšellē* oleks jäänud viienda värsi algusse, oleks see värss kõlanud vist järgmiselt *tšellē minua epeṭtā* 'kes peab mind õpetama'. Vadja murrakuis, mis on Kattila ümbruses ja millega Trefurt on kokku puutunud, on asesõna *miä* 'mina' ainsuse partitiiv harilikult *minua*, kuid sellega kõrvuti võib esineda ka *minū* või *miñnū*.

Kuuendas värsis *Ae boui milla then minnu okkoi opaetap* on *then* kirjutus- või trükiviga õige *tschen* 'kes' asemel. Sõna *okkoi* on kogu laulus kõige tumedam. See võib olla sõna *eikea* 'õige' instruktiiiv *eikei* 'õigesti'. Sisult sobib selline tõlgendus igati hästi. Pole aga siiski võimatu, et küsimuses on isuripärane deminutiivvorm *oikkoi* sõnast *oikka* 'õrn, sale'. Saksakeelne tõlge on selle ja eelmise värsi suhtes õigegi ebatäpne, mis ei aita aimata originaali õiget sisu. Muude sõnade suhtes võib konstateerida, et seda värssi on häälikuliselt kõllaltki hästi tabatud. Algselt võis siis värss kuuluda järgmiselt:

e_bē milla, tšen minū (~ *miñnū*) *eikei* (ʔ*oikkoi*) *epeṭab*
ei ole mul, kes mind õigesti (õrnukest) õpetab.

Seitsmes värss *Mae isson kui lindo puen pael* kõlab tänapäeva vadja häälduse kohaselt:

miä isun kui lintu pūn pāl
ma istun kui lind puu otsas.

Sõnas *puen* on alles vana genitiivi lõpp *-n*, mis tänapäeva vadja keeles on säilinud üksnes harval juhtumil.¹⁷ Sõnas esinev *-e-* on kas kirjutusviga või autori õigekirjutuslik võte, kui arvata, et küsimuses on ainsuse genitiiv *pūn*. Gottlund on oletanud, et tegemist on mitmuse genitiiviga. Kattila ümbruskonna tänapäeva murrakuis on mitmuse genitiiv sellest sõnast *pud'd'ē* ehk *pud'jē*. On siiski usutavam, et tegemist on ainsuse genitiiviga. Genitiivilõpu *-n* säilimine käesoleval puhul ei ole üldse ootuspärane vadja keele seisukohalt. Siingi peab taas nägema isuripärast (või soomepärasest?) joont, mis on esinenud lauliku keeles.

Viimases värsis *Ja meolaen kui lammas metsae kaent* on Trefurt teises sõnas kirjutanud ühte kaks iseseisvat sõna, kui küsimuses pole trükiviga. Vadja keeles on *miä e_æn* 'ma olen', mis Trefurti kirjaviisis võinuks olla **me olaen*. Muidu on seda värssi häälikuliselt hästi tabatud. Arusaamatum on aga laulu viimane, peaaegu mõistatuslik sõna *kaent*, mida senine tekstikriitika on tõlgitsenud

¹⁷ L. Kettunen, *Vatjan kielen äännehistoria*?, lk. 101.

mitmel viisil. Saksakeelses tõlkes esineb selle sõna vastena *verloren*. Kattila murrakus on vastav partitsiip *kaonnu* 'kadunud', mis on häälduslikult siiski sedavõrd erinev Trefurtil esinevast kirjapildist *kaent*, et vaevalt on usutav häälduse ja kirjapildi otsene ühtekuuluvus. Siingi peab arvama, et tegemist on isuripärase partitsiibiga *kaont*. Isuri keelele on just omane *nt-* (\sim *nd-*) tunnuslik partitsiip: *läänt* 'kõnelnud', *kirjuttant* 'kirjutanud' jne.¹⁸, mis on isikuti tunginud vadja keelde. Seda on hiljemini Kattila kandi vadja murrakuist kirja pandud. E. Lönnroti kirjapanekuis 1844. aastast esineb näiteks *Eip antant ane magata* 'ei lasknud hanel magada'.¹⁹

Viimase värsi rekonstruktsioon on seega järgmine:

ja miä eļen kui lammaz mettsä kaond
ja ma olen kui lammas metsa kadunud.

Trefurti poolt kirjapandud vadja rahvalaul on tõenäoliselt kõlanud siis selliselt:

avita minū (~miinnū) armatoita,

tšen senaā, tšen teizeā,

ku mehelē tulen teisē paikka.

e bē mīlā vanepāt,

tšen minū (~miinnū, minua) epetav,

e bē mīlā, tšen minū (~miinnū) eikei (?oikkoi) epetav.

miä isun kui lintu pūn pāl,

ja miä eļen kui lammaz mettsä kaond.

Aita mind armetut,

kes sõnaga, kes teisega,

kui ma tulen mehele teise paika.

Ei ole mul vanemat,

kes mind õpetab,

ei ole mul, kes mind õigesti (?õrnukest) õpetab.

Ma istun kui lind puu otsas,

ja ma olen kui lammas metsa kadunud.

V. Salminen on oma kommentearinguis õigesti ütelnud, et laulu värsimõõt on mitmes kohas regivärsi seisukohalt täiesti vigane. On ilmne, et vadja tütarlaps, kellelt Trefurt sai teksti, ei ole laulu ette laulnud, vaid on seda dikteerides ette ütelnud ning usutavasti eri kohti korduvalt ütelnud, et kirjutaja oskaks võhivõõrast keelt paberile panna. Sellise etteütlemise juures on laulu luulekeel võinud õige tugevasti kannatada. See laulukatkend erineb kogu oma olemuselt muist vadja pulmalauludest, mida kaasitajad laulsid. Laulu on pidanud esitama kas mõrsja või noorik ise. Mõrsja või noorik

¹⁸ V. J. Junus, Ižoran keelen grammatikka, Moskova—Leningrad 1936, lk. 124.

¹⁹ Suomen kansan vanhat runot IV, lk. 699, nr. 4619, värss 53.

harilikult *ittši äneltä*, s. o. loetles itkusid.²⁰ Trefurti poolt kirjapan-
dud laul ongi pigemini pulmaitk kui pulmalaul. Itkudel on aga
hoopis teine värsimõõt kui regivärsi tüüpi olevail pulmalauludel.
Ühtlasi on itku sõnastus tunduvalt vabam kui laulu oma.

Nagu teksti analüüsides on korduvalt mainitud, leidub laulus
mitmeid isuripärasusi (vähem usutatavalt soomepärasusi). See seik
pole täiesti juhuslik. Isurite ja vadjalaste vahel on olnud väga tihe-
daid keelelisi ja rahvalaulusidemeid, mis tuleb õige mitmete vadja
rahvalaulikute loomingus väga ilmekalt esile.

1947. aasta suvel pani allakirjutanu Jõepära külast päritolevalt
vadja rahvalaulikult Matjo Gerassimovalt kirja hulga laule ja
kirjeldusi selle kohta, missugustes olukordades vadja rahvalaule
esitati. Laulik jutustas, kuidas vadjalased laulsid omi laule isuritele
ja isurid vadjalastele. Vadja ja isuri laule peeti ühiseks varaks,
mida kummalgi poolel esitati oma keeles. Kui näiteks vadjalased
kuulsid isuritelt uue laulu, õppisid nad selle ära, ent korrates laul-
sid nad seda vadja keeli nõnda hästi kui said. Samuti toimisid isu-
rid kuulnud vadja lauludega. Vadja pulmakaasikud olid käinud laul-
mas isuritel (ja soomlastelgi) ja vahel isurid ka vadjalastel. Pul-
mades oli olnud selliseidki juhtumeid, kus teine kaasik laulis teises
keeles. Et vadja ja isuri keel on vägagi lähedased, saadi üksteisest
küllaltki hästi aru. Matjo Gerassimoval oli eri lauludes mõnel
määral erinev keeletarvitus selle järgi, kust laul oli õpitud. Kui laul
oli vana traditsiooniline vadja rahvalaul, oli selle sõnastus täiesti
korrektses vadja keeles. Kui aga laul oli kunagi isuritelt üle võetud,
esines selles isuri sõnu ja ka morfoloogilisi ning foneetilisi isuri-
pärasusi. Neis isuri rahvalauludes, mis on saadud vadjalastelt, on
taas vadjapärasusi.

Et Trefurti poolt kirja pandud vadja rahvalaulus või itkus on
isuripärasusi, võib olla tingitud kahest põhjusest. On olnud külasid,
kus isurid ja vadjalased elasid segi ja kus on esile tulnud vastas-
tikune keeleline mõju. Trefurti keelejuht on võinud pärit olla ühest
niisugusest külast. Ent pole võimatu seegi, et kõnesoleva laulu isuri-
pärasused on põhjustanud laulu või itku põlvnemine mõne isuri
lauliku repertuaarist.

²⁰ Vt. V. Alava, *Vatjalaisia häätapoja, häälauluja ja -itkuja*. Vähäisiä
kirjelmia XLII, Helsinki 1908.

ОБ ОДНОЙ ДРЕВНЕЙ ВОДСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНЕ

Проф., докт. филол. наук П. Аристе

Кафедра финно-угорских языков

Резюме

Последние старики и старушки, говорящие по-водски, славятся своими народными песнями, которые сходны с древними рунами финнов, карелов, ижорцев и эстонцев. Из уст води записаны сотни лирических и эпических песен. Эти песни лишь частично опубликованы в разных изданиях, которые цитируются в настоящей статье. Первый пример водского языка, изданный Ф. Л. Трефуртом в 1783 году, также представляет собой народную песню. Так как Трефурт совершенно не владел водским языком, то в его записи много ошибок и опечаток. Немецкий перевод песни неточен. Поэтому некоторые слова песни не ясны, и потребовались комментарии для точной дешифровки текста. Первые комментарии изданы ещё в 1784 году. Позднее сама песня с разными комментариями переиздавалась неоднократно. Однако до сих пор не было окончательной дешифровки всех слов песни.

В настоящей статье автор анализирует все строки песни и на основании данных живого водского языка реконструирует её вероятный первоначальный текст.

Анализ текста показывает, что песня была не спета, но продиктована, причем сказительница повторяла некоторые строки с вариантами.

По своему содержанию песня, записанная Трефуртом, является свадебным причитанием невесты. В языке данного причитания имеются некоторые особенности морфологии ижорского языка. Водский и ижорский языки очень близки друг другу. Поэтому водские народные песни пелись ижорцами и наоборот. В водских песнях, которые перешли от ижорцев, нередко встречаются некоторые ижорские слова и формы. Нужно учесть и тот факт, что в некоторых местах водь и ижора жили вперемешку и поэтому могли повлиять на языковые традиции друг друга.

***n*-ILISTEST INFINIITSETEST VERBIVORMIDEST SOOME-UGRI KEELTES**

Filoloogiateaduste kandidaat H. Rätsep

Eesti keele kateeder

Soome-ugri keeltes on kõige produktiivsemaks infiniitsete verbivormide tunnuseks *-m*. Esinemissageduselt järgneb talle *-t*. Kolmandaks ulatuslikult levinud tunnuseks on *-n*, mis puudub ainult lapi ja handi keeles. *n*-ilist infiniitivi näeme permi keeltes ja mansi ning ungari keeles. *n*-ilised partitsiibid on läänemeresoome ja mordva keeltes ning mansi keeles. *n*-ilist gerundiumi kasutatakse mari, mansi ja eesti keeles.

Alljärgnevas püütakse anda ülevaade *n*-ilise formandiga infiniitsete verbivormide esinemisest üksikuis soome-ugri keeltes ja teha mõned järeldused selle formandi päritolu ning üksikute vormide kujunemise käigu kohta.

Liivi keeles esineb *n*-iline infiniitne verbivorm mineviku-partitsiibina. Ta tunnuseks on ühesilbilistel (ida-liivis ka kahesilbilistel) verbitüvedel singularis *-nd*, pluuralis *-nāvd*. Kahe- ja enamasilbilistel tüvedel on singularis *-(ā)n*, pluuralis *-nd* või *-nāvd*. Näiteks: *sāl um vōñd sūr sañgdā mešā* (näited on pärit Tartu Riikliku Ülikooli soome-ugri keelte kateedri kogudest; SÜ 48, lk. 1) 'seal on olnud suur tihe mets'; *tāmppā ma ūob je'nñā lāūlān* (ibid.) 'täna ma olen palju laulnud'; *siz āt amat kūolānd* (ibid., lk. 7) 'siis on kõik surnud'; *mæg ūom lālanāvd* (ibid., lk. 158) 'me oleme laulnud'.

Lähtevormideks on singularis **-nut*, pluuralis **-nut'et*.¹ Praegused ainsuse ja mitmuse vormid võivad olla nii häälikuseaduslikud kui analoogilised. Arenemist **-nut* > *-nd* > *-n* on võimalik foneetiliselt seletada. Kui teise kinnise silbi vokaal on helilise konsonandi naabruses, ta kaob. Tavaliselt toimub see siis, kui esimeses silbis on pikk vokaal. Analoogia alusel siirdus vokaali kadu enamasilbilistesegi

¹ L. Kettunen, Hauptzüge der livischen Laut- und Formengeschichte, Helsinki 1947, lk. 87.

sõnadesse. Pärast vokaali kadu kadus *D*.² On arvatud, et *D* kadu tugines mõnede nimisõnade ainsuse ja mitmuse suhte analoogiale, näiteks *sõmalD* : *sõmal* 'samblad : sammal'. Siit siis *lu'ggānD* : *lu'ggān* 'lugenud (pl.) : lugenud (sg.)'.³ Analoogia otsituse tõttu on selline põhjendus vaevalt usutav.

On näidatud, nagu oleksid pelga *n*-iga vormid pärit partitsiibi essiivist, siis *andān* < **antanna*.⁴ Et sellised essiivid on liivi keeles haruldased, siis tuleb ka seda seisukohta pidada väheusutavaks.

L. P o s t i arvates võisid pluuraliivormid tekkida sel teel, et singulariivormile lisati pluralitunnus *-D*⁵, kusjuures eeskujuks oli juba eespool esitatud nimisõnade ainsuse-mitmuse suhe, nüüd ainult vastupidi. Kuid sel puhul jääb lahtiseks küsimus, kuidas moodustus pluraal neist verbitüüpidest, kus singularis oli juba *-nD*. Pealegi on häälikuseaduslik areng **antanudēt*» *āndand* 'andnud' täiesti võimalik.⁶

Isikulise tegumoe mineviku partitsiibi tunnuseks e e s t i k i r j a k e e l e s on *-nud*. Sellel verbivormil võivad olla ka gerundiumi funktsioonid. Kui partitsiibil on substantiivne varjund, siis võib ta esineda tunnusega *-nu*.

Näiteid: *aga see ei h u v i t a n u d v a n a h ä r r a t n ä h t a v a s t i p õ r m u g i* (Tammsaare, Tõde ja õigus II, Tallinn 1954, lk. 13); *p ä r a l e j õ u d n u d, m õ t l e s I n d r e k v a g u n i s t l a h k u d a ü h e s v i i m a s t e g a . . .* (Tammsaare, Tõde ja õigus II, lk. 6); *k u l d m e d a l i g a l õ p e t a n u i d o l i m e i e k o o l i s m i t u*.

Vanemas kirjakeeles esineb järjekindlalt *-nut*. Hornungist alates hakkab kirjakeeles esinema *-nud* paralleelselt *nd*-ga (viimane küll harvemini) ning alles käesoleva sajandi teisel veerandil näeme *nud*-tunnuse üldist esinemist eesti proosakeeles.

Enamikus eesti murretes on mineviku partitsiibi tunnus lühenenud. Säilinud on *nud*-tunnus vaid Põhja-Tartumaa murrakuis. Põhja-eesti murretes (ka rannamurdes) esineb üldiselt *-nuD* > *-nD*. Lääne-murdes on *nuD*-tunnusest säilinud kas *-nD* või *-n*, vastavalt verbitüübile. Keskmurde alal on teatud tüüpides isegi *-n* kadunud. Lõuna-eesti murretes on tunnuseks *-nu*, võru murdes *-nu?*

Lõuna-eesti mineviku partitsiipi peab P. A r i s t e pärinevaks **nuk-*, **nük-*-vormist. Siia liidab ta ka Viru-Nigula *oppinu-*, *mennü-*taolised vormid. Substantiveerunud *k*-ta partitsiipide teket seletatakse järgmiselt: et paradigmaatiliste suhete kujunemisel singulari ja pluraali nominatiiv langesid kokku, siis ajendas kadu selliste sõnade

² L. Posti, Grundzüge der livischen Lautgeschichte, Helsinki 1942, lk. 274.

³ L. Posti, op. cit., lk. 274; L. Kettunen, Hauptzüge der livischen Laut- und Formgeschichte, Helsinki 1947, lk. 87.

⁴ E. A. Tunkelo, Vepsän äännehistoria, Helsinki 1946, lk. 405.

⁵ L. Posti, ibid.

⁶ Vrd. L. Posti, op. cit., lk. 274.

analoogia, kus singulari nominatiiv lõppes *u*-ga, aga *-d* oli pluraali tunnuseks.⁷

-nud > *-nd* > *n* on foneetilistel põhjustel täiesti mõistetav, sest dentaal pole sõna lõpul konsonandi kõrval selgesti kuuldav. P. Ariste on asja seletanud veel foneetilisemalt: ta oletab vahepeaise astmena nasaliseerunud dentaali (*-nḍ*).⁸ Foneetika seisukohalt on see muutus muidugi võimalik, kuid kas *-nḍ*-lise vaheastme oletamine on obligatoorne? Nähtus on võrdlemisi laialdane, ei piirdu eesti keelega, kui palju on meil aga näiteid *ḍ*-st.

Vadja keeles on mineviku aktiivse partitsiibi tunnusteks lääne-vadja murdes *-nu*, *-nnu*; kreevini murdes *-nd*, *-nt*; ida-vadja murdes *-nug*, *-nnug*; pluraalis *-nūd*, *-nnūd*. Kui vastav vorm esineb öeldistaitena, siis on ta ka singularis *ḍ*-line. Näiteid: *täll_eli tü-tär jännü* (L. Kettunen — L. Posti, Näytteitä vatjan kielestä, Helsinki 1932, lk. 16) 'tal oli tütar jäänud'; *eväd nähnnūd* (L. Kettunen, Vatjan kielen äännehistoria, Helsingissä 1930, lk. 52) 'nad ei näinud'; *en peittännüg* (L. Kettunen, ibid., lk. 50) 'ma ei peitnud'. Kreevini murdes: *jättänd* 'jätnud', *nielent* 'neelanud'.

Selle vadja partitsiibi tunnuse kohta on kaks seisukohta. L. Kettunen on seisukohal, et *t*-ta vormid pärinevad *t*-listest vormidest. Pluraalis esinev *-ḍ* on pluraali tunnus. Mis puutub ida-vadja *g*-listesse vormidesse, siis siin pole *g* algupärane. Sarnasus *k*-lõpulistele sõnadega võis põhjustada vormide segunemise. Võib-olla on siin tegemist ka preesensi eitavate vormide mõjuga. Ta arvab, et selline *t* ja *k* segunemine on toimunud ka lääne-vadja murdes, hiljem aga klusiil kadus.⁹

L. Kettuneni arvates võis vadja keeles dentaal rõhutu ja kaasrõhulise silbi järel kaduda, seega oleks *t* kadu partitsiibis õigus-tatud.

P. Ariste on arvamusel, et *k* sõna lõpus oli üldvadjaline. Teiste murrete vormid põlvnevad *k*-listest vormidest, sest vadja keel ei tunne *t* kadumist sõna lõpul.¹⁰

Nagu näeme, on küsimuse tuum selles, kas vadja keeles võis kaduda sõnalõpuline *t* või ei. Selles osas vajaks küsimus ka lähemat uurimist.

Kreevini *d*-liste vormide puhul on oletatud Saaremaa siirdlaste mõju. P. Ariste suulisel teatel ei tule Saaremaa eestlaste mõju kõne alla, küll aga on tõenäoline, et koos vadjalastega viidi Läti

⁷ П. Аристе, Состоялся ли в южно-эстонских диалектах переход конечного *t* в гортанный взрывной? Eesti NSV Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, Filoloogilised teadused 4, Tartu 1947, lk. 31.

⁸ P. Ariste, Hiiu murrete häälikud, Tartu 1940, lk. 163.

⁹ L. Kettunen, Vatjan kielen äännehistoria, Helsingissä 1930, lk. 50—53.

¹⁰ П. Аристе, Состоялся ли в южно-эстонских диалектах переход конечного *t* в гортанный взрывной?, lk. 30.

alale ka osa isureid. Nende keelest võis siis pärineda mineviku partitsiibi lõpus olev *d*.

Isuri keeles on aktiivi mineviku partitsiibi tunnuste varian did järgmised: *-nt* — soikkola murdes *h* ja *t* järel ning helitu konsonandiga algava sõna ees; *-nd* — muudes asendites soikkola murdealal; *-nut*, *-nüt* — harvemini (Kaporjes), *-t* — näiteks *sānt* ~ *sāt* 'saanud', *antānt* ~ *antat* 'andnud' (V. P o r k k a, Ueber den ingrischen Dialekt, Helsingfors 1885, lk. 58, 104). Näiteks: *poiga saānō : en nāht* (A. S o v i j ä r v i, Foneettis-äännehistoriallinen tutkimus Soikkolan inkeroismurteesta, Helsinki 1944, lk. 222) 'poiss ütleb: ei näinud'; *miks siä teid, nīη cuim miä eη kās kēnd?* (ibid.) 'miks sa tegid nii, nagu mina ei käskinud?'; *ei voijja lōūtā, ku ei t unt ent kenkā* (ibid., lk. 227) 'ei või leida, kuna keegi ei tundnud'; *varas käi, hāan ei nāhn üt* (V. P o r k k a, op. cit., lk. 143) 'varas käis, tema ei näinud'.

Isuri partitsiibi tunnuse singulari nominatiivis on toimunud tavaliselt sisekadu (välja arvatud kaporje murrakus) nagu äürämöis- ja savakkomurdes, savo ida- ja lõunamurrakuis ning põhjaeesti murdeiski.

Aktiivi mineviku partitsiibi tunnuseks soome kirjakeeles on *-nut*, *-nyt* (mitmuses *-neet*). *s*-, *l*-, *r*-ga lõppeva verbitüve järel on *n* assimileerunud eelneva konsonandiga. Näiteks: *olenhan minä sitäkin yrittānyt* (A. T i m o n e n, Karjalasta Karpaateille, Petroskoi 1948, lk. 4) 'olen ju mina sedagi üritanud'; *sen seinähirret eivät olleet vielä ehtineet tummua* (N. J a a k k o l a, Pirttijärven rantamalla, Petroskoi 1949, lk. 15) 'selle seinapalgid ei olnud veel jõudnud mustaks muutuda'.

Soome murretes esineb tunnus *-nut*, *-nüt* vaid Etelä-Pohjanmaal, alasatakunna murdes, tornio murdes ja savo idamurrakuis.

Eelmisest on arenenud Savo lõunaosa ja Leningradi oblasti loodeosa murrakute sisekaolised vormid, näiteks: *mie on s ā n t* 'mina olen saanud' (L. K e t t u n e n, Suomen murteet III, lk. 66—67). Selle kõrval on ka passiivi partitsiibiga sarnaseid vorme, nagu: *se mies on tehtö* 'see mees on teinud' (L. K e t t u n e n, ibid.). Viimaseid on seletatud kaht viisi. L. K e t t u n e n arvab, et siin on tegemist vääranaloomisega, s. o. et vokaalilised vormid näisid passiivis täielikumatena, siis ka aktiivis lisati *u* ~ *ü* täielikumate vormide saamiseks. ¹¹ M. R a p o l a arvates on *t*-järgne vokaal tekkinud seoses sisekaoga, nimelt *u* ~ *ü* siirdus metateesi tõttu sõna lõppu. ¹² Esimene seletus tundub olevat loomulikum.

Üldisem on soome murdeis lõpukonsonandita partitsiip. Seda kohtame soome lääne- ja põhjamurdeis, näiteks: *nāhnu?* 'on näinud' (L. K e t t u n e n, Suomen murteet III, lk. 67). Sellised vor-

¹¹ L. K e t t u n e n, Suomen murteet III, lk. 67.

¹² M. R a p o l a, Virittäjä 1927, lk. 39.

mid on levinud ka savo murdealale. E. A. Tunkelo on arvamusel, et need vormid lähevad tagasi *t*-listele vormidele, kusjuures *t* on assimileerunud hiljem järgneva sõna alguskonsonandiga.¹³ Neid vorme võib pidada ka *k*-liste vormide järglasteks. Võrreldagu kas või lõuna-eessti murde ja vadja keele vastavaid larüngaalklusiililisi vorme.

Savo murdes on tavaline essiivne partitsiip, tunnusega *-nna*, *-nnä* või *-na*, *-nä*. Seega savo *tullunna* < **tullutna*.¹⁴

Edelamurretes esineb ainult *n*-iline partitsiip. Näiteks: *mi-ηktäh-den mnä. olè joutun fa-ηgila* (L. Kettunen, Suomen murteet I, lk. 1) 'mispärast ma olen sattunud vanglasse'.

Soome vanemas kirjakeeles on nii *t*-lisi kui *t*-ta vorme, sest *t* oli edelamurdeis *-nut*, *-nüt* lõpult (kui teda seal üldse on olnudki) juba 1500-ndate aastate paiku laialdaselt kadunud. Alates piiblitõlkest hakatakse *t*-lisi partitsiivivorme juurutama soome kirjakeelde, nagu üldse „täielikumad vormid” leidsid sel ajal tee kirjakeelde.¹⁵ On kindel, et soome keeles olid varem olemas **nut*-, **nüt*-lised vormid. Kas samaaegselt esines ka **nuk*-, **nük*-lõpuline partitsiip, on küsitav.

Karjala keeles on aktiivi mineviku partitsiibi tunnuste variante väga palju. *-nut*, *-nüt* esineb päriskarjala lõunamurrakuis, kuid mõnikord ka põhjamurrakuis. Näiteks: *lienöv kyllici ken kää nüt* (J. Kujola, Karjalan kielen opas, Helsinki 1922, lk. 26) 'on vist mööda keegi käinud'. *nud*-, *nüd*-variandi kohta esineb näiteid vaid päriskarjala mäntyselkä murrakust. Näiteks: *go jo i poannud morzeiñ* (J. Kujola, op. cit., lk. 30) 'vaat, juba on põgenenudki mõrvoja'. *-nu*, *-nü* kohta on näiteid A. Genetzilt: *lienöv ajanu* (H. Ojansuu, Karjala-aunuksen äännehistoria, Helsinki 1918, lk. 15) 'on vist sõitnud'. *-nun*, *-nün* esineb nii päriskarjala lõuna- kui ka põhjamurrakuis, näiteks: *mie em m ü ö ñ ñ ü ñ* (J. Kujola, op. cit., lk. 35) 'ma ei müünud'.

Tunnuse lõpul olev *n* pärineb essiivi lõpust. Tunnus ise on tekkinud kontraheerumise teel.

nuh-, *nüh*-sufiksit näeme aunuse murdes. Näiteks: *ed-go sinä ole vie tiedänüh* täh aigah sai (J. Kujola, op. cit., lk. 40) 'kas sa pole senini veel teadnud'.

Tunnuse lõpul oleva *h* päritolu kohta oli E. N. Setälä arvamisel, et see põhineb mingil analoogial, kahtlemata *h*-lõpulistele sõnade omal.¹⁶ H. Ojansuu järgi eeldavad sellised vormid *t*-ta kuju. *h* kuulus algul refleksiivsesse muutmisse. *t* kadu on toimunud väga

¹³ E. A. Tunkelo, Virittäjä 1939, lk. 171.

¹⁴ Vrd. E. A. Tunkelo, Vepsän äännehistoria, lk. 405.

¹⁵ Vrd. M. Rapola, Äännehistoriallinen tutkimus Abraham Kollaniuksen lainosuomennosten kielestä, Helsinki 1925, lk. 69.

¹⁶ E. N. Setälä, Yhteissuomalainen äännehistoria, Helsingissä 1899, lk. 86.

varakult.¹⁷ E. A. Tunkelo arvates on *h* üldistunud vokaaltüvest singulari nominatiivi.¹⁸ Viimane seisukoht oleks muidu kõige tõenäolisem, kuid just aunuse murdes on vokaaltüvi praegu diftongiline, *h* puudub. Võib-olla oli üldistumine varasem.

-*n*, (-*n̄*) on karjala murrakuis päris tavaline. Näiteks: *vain poika ei šitā uškon* (J. Kujola, op. cit, lk. 16) 'poiss aga ei uskunud seda'. On arvatud, et *n*-i tekke lähtekohaks oli essiiv.¹⁹

-*nt* esineb päriskarjala põhjamurdes (Suistamos) kitsal alal ja harva, näiteks: *eule sattunt* 'ei ole sattunud'. E. A. Tunkelo leiab, et *nt*-lised vormid on tulnud karjala keelde edela-soome murdest. Teiselt poolt on seda peetud keele sisemise arengu tulemuseks: *n*-ilisele vormile liitus sandhiline *t*.²⁰ Võib-olla pärinevad aga sisekaolised vormid hoopis vepsa poolelt, kus nad on üldised. Edela-soome mõju oletamine nii kitsal murdealal on enam kui kahtlane.

Lüüdi murdes esineb *nu-*, *nü-*, *nnu-*, *nnü-*line mineviku partitsiip. Näiteks: *ei ni koñz ei kutsunu tatakši* (Lyydiläisiä kielennäytteitä, Helsinki 1934, lk. 1) 'mitte kunagi ei kutsunud isaks'. Paistab, et *-nu* on vepsapärase joon. Karjalast on näiteid selle kohta esitanud vaid A. Genetz, ja on kahtlane, kas need ongi puhtkarjala vormid.

Vepsa keeles on aktiivi mineviku partitsiibi tunnuse variandid järgmised: *-nd*, *-nd* — kesk- ja lõunavepsa murdes liitverbivormides ning predikatiivina, kui järgneb paus või heliline häälik; *-nd'* — samas, kui eelneb *i* või *i*-lõpuline diftong; *-nt* — samas, helitu hääliku ees; *-nt'* — samas, helitu hääliku ees *i* järel; *-nu*, *-nü* — kõikjal siis, kui partitsiip esineb atribuudina või muis adjektiivseis funktsioonides; äänisvepsa murdes ja särgjärve murrakus esineb ta alati, samuti on ta ainuõige vepsa kirjakeeles; teda näeme ka refleksiivses konjugatsioonis; *-n* — tarvituspiirkond on väike, esineb kohati kesk- ja lõunavepsa murdes. Lausenäiteid: *ed g'on d* (E. A. Tunkelo, Vepsän äännehistoria, lk. 122) 'sa ei joonud'; *edik otant kirvest?* (E. A. Tunkelo, ibid., lk. 122) 'kas sa ei võtnud kirvest?'; *jäl'ges löumad radod hän oli surdnu* (M. Hämläinen — I. F. Andrejev, Vepskijan kelen grammatik, Leningrad 1934, lk. 42) 'raske töö järel ta oli väsinud'; *i andan maidod* (E. A. Tunkelo, Vepsän äännehistoria, lk. 403) 'ei andnud piima'.

-nd, *-nt* puhul on *u* varakult kadunud. Algupäraselt toimus kadu rõhutus silbis ja üldistus sealt.²¹

Ainult *n*-ilise tunnuse sündimist on seletatud arenguga *nt* (>*nd*)>*n*, kusjuures see toimus samal ajal, kui kadus ablatiivi

¹⁷ H. Ojansuu, Karjala-aunuksen äännehistoria, lk. 15.

¹⁸ E. A. Tunkelo, Vepsän äännehistoria, lk. 211.

¹⁹ Vrd. E. A. Tunkelo, Vepsän äännehistoria, lk. 404—405.

²⁰ Vrd. L. Kettunen, Suomen murteet III, lk. 68—69.

²¹ Vrd. L. Kettunen, Lõunavepsa häälik-ajalugu II, Tartu 1922, lk. 50.

dentaal.²² Hiljem on peetud võimalikuks, et *andan*-tüüpi vormid võivad olla essiivid.²³

Essiivi oletamine paistab olevat natuke raske, kergemini võiks essiivi oletada passiivi partitsiibis, kus ta oleks loomupärasem. Praeguseni näib siiski kõige tõelähedasem olevat *nd* > *n* oletus.

Nagu eelnevast selgub, on *n*-iline partitsiip olemas kõigis läänemeresoome keeltes. Pole kahtlust, et läänemeresoome aluskeeles esines **nut-*, **nüt*-tunnuseline partitsiip. Teiselt poolt, nagu nägime, esineb teatud keeltes ja murretes *n*-ilise partitsiibi lõpul jälgi *k*-klusiilist. Kerkib küsimus, kas meil on õigus pidada neid *k*-lisi vorme läänemeresoome aluskeelest pärinevaks. Võib-olla siiski on õigem arvata, et **nuk-*, **nük*-tunnuseline partitsiip esines mõnedes aluskeele murdeis. Kuid igal juhtumil jääb lahtiseks, miks mõnuaeesti murdes ja vadja keeles on *k*-line partitsiip, aga põhja-eesti murdes, kust pärineb vadja keel, puuduvad sellised vormid. Ehk tuleks õigemaks pidada *k*-liste vormide hilisemat teket? Mis puutub liitsufiksi teise komponendis, siis võib see olla väga hästi deminutiivsufiks.

Mordva keeles on olemas *n̄*-iline mineviku partitsiibi tunnus. D. V. Bubrichi andmeil kasutatakse seda partitsiipi kirjakeeles väga harva.²⁴ See-eest on ta küllalt sage mordva folklooris ja kõnekeeles. Näiteks: *k'il'jen't' alo pur nan' stol' ašt'i* (H. P a a s o n e n, Mordwinische Volksdichtung I, Helsinki 1938, lk. 500) 'kase all seisab kaetud laud'.

Mordva *-n̄* kuulub siia rühma vaid selle eeldusega, et *n*-i palatalisatsioon on sekundaarne. Käesoleval juhul on see tõenäoline, sest ka genitiivi lõpu palataliseerunud *n̄* läheb varasemale palataliseerumata *n*-ile tagasi.²⁵

Mari keeles esineb *n*-tunnuseline gerundium. Näiteks: *m ò ð è n kajat* (Y. Wichmann, Tscheremissische Texte, Helsingfors 1923, lk. 225) 'nad käivad mängides'.

Mari *n*-ilise gerundiumi suhtes on olnud erinevaid seisukohti. Juba J. Budenz ei pidanud seda tunnuseks, vaid käändelõpuks. Ta oli arvamusel, et mari keeles on gerundiumi tõeline tunnus *d* kadunud ja on säilinud vaid modaallilõpp *-n*.²⁶ Vastupidiselt J. Budenzi arvamusele peab J. Szinnyei *n*-i tõeliseks deverbaleks noomenisufiksiks (ta ühendab selle mordva *n̄*-tunnu-

²² Vrd. L. Kettunen, *ibid.*, I, lk. 47.

²³ Vrd. L. Kettunen, Vepsän murteiden lauseopillinen tutkimus, Helsinki 1943, lk. 508.

²⁴ Д. В. Бубрих, Историческая грамматика эрзянского языка, Саранск 1953, lk. 156.

²⁵ Vrd. J. Szinnyei, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, Berlin und Leipzig 1922, lk. 61.

²⁶ J. Budenz, Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana, Budapest 1884—1894, lk. 212.

sega).²⁷ Teda toetab ka Ö. Beke, põhjendades seda järgmiselt: viisimäärused esinevad õige sageli käändelõputa; mordva keeles on ž-tunnuseline gerundium samuti käändelõputa; soome-ugri abessiiv pole muud kui eitava adjektiivi lõputa vorm määrusliku tähendusega.²⁸

Katse mari gerundiumi küsimuse lahendamiseks teisel teel teeb K. Wiklund. Ta võtab oma seletuse aluseks J. Bundenzi seisukohta, et *-n* on vaid käändelõpp. Tema arvamuse järgi pole mari gerundiumi tunnus midagi muud kui genitiivi lõpp, mis oli liidetud verbitüvele. Oma argumentatsiooni ehitab ta üles lapi Kalfjordi ja Helgöy murde *n*-ilistele gerundiumidele, mis on tema arvates samuti genitiivid.²⁹ Mõni aasta tagasi võttis E. Itkonen K. Wiklundi poolt esitatud lapi *n*-ilise gerundiumi lähema vaatluse alla ja andis tõenäolisema seletuse: selle lähtevormiks on olnud *men*-tunnuseline gerundium.³⁰ Seega on K. Wiklundi teooria alus osutunud ebatõenäoliseks, mis asetab ebatõenäolisuse valgusse ka mari gerundiumi genitiivilisuse. Kõige õigemaks tuleb praegu pidada Ö. Beke seletust, et mari *n*-gerundium on käändelõputa.

Komi keeles on infinitiivi tunnuseks *-ni*, kirjakeeles *-ны*, udora murdes *-nis*, jazva murdes *-nî* ja jusva murdes vokaali järel *-n(i)*.³¹ Vanapermi keeles on *-ныс*. Näiteks: *etnam kedžid u žni* (D. Fokos, Nyelvtudományi Közlemények XLIV, lk. 291) 'mul on üksinda külm magada'; *zev ved tani dele ovnis* (Zs. Szendrey, Nyelvtudományi Közlemények XLVI, lk. 206) 'väga raske on ju siin olla'. Vanapermi keeles: *мыс'кыныс* 'pesema'; *вõйпыныс* 'rääkima' (В. И. Лыткин, Древнепермский язык, Москва 1952, lk. 114).

Permi keelte häälikuajalugu näitab, et komi-udmurdli infinitiivi tunnuse lõpul oli latiivi sufiks *-k*, mis kadus juba permi aluskeeles. Seda toetab fakt, et algselt sõna lõpus olnud *i* on sealt kadunud.³² Samuti on permi keeltes sõnalõpuline *k* (kuigi hiljem) kadunud.

Udora murde *nis*-tunnus on õigupoolest infinitiivi tunnus, millele on liitunud singulari 3. isiku possessiivsufiks.³³

Udmurdli keeles on infinitiivi tunnuseks kirjakeeles *-ны*, malmõši, jelabuga ja malmõši-uržumi murdes *-ni*, glazovi ja ufaa murdes *-nî*. Näiteks: *s'ijem berazi izini vidillam* (Y. Wich-

²⁷ J. Szinyei, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, Leipzig 1910, lk. 95.

²⁸ Ö. Beke, Cseremiszi nyelvtan, Budapest 1911, lk. 152.

²⁹ K. B. Wiklund, Das Lappische Verbaladverbium und einige andere Kasus des Verbalstammes, Tromsø Museums Skrifter, Vol. II, Oslo 1928, lk. 337—343.

³⁰ E. Itkonen, Das Perfekt des Partizips im Lappischen, Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia XCVII, Helsinki 1950, lk. 280.

³¹ Vrd. Gy. Lakó, A permi nyelvek szóvégi magánhangzói, Budapest 1934, lk. 42—43.

³² Vrd. Gy. Lakó, op. cit., lk. 42.

³³ Ibid.

m a n n, Wotjakische Sprachproben II, Helsingissä 1901, lk. 62) 'pärasť sööki heitsid nad magama'; *kijon kışkam no pegđžinĩ kutskem* (ibid., lk. 155) 'hunt ehmatas ja hakkas põgenema'.

Tunnuse päritolu on samasugune kui komi infinitiivi tunnusel.

Udmurdi keeles on veel teinegi *n*-iline infinitiivne verbivorm. Nimelt on preesensi partitsiibi tunnuseks paralleelselt *is'*-tunnusega *-ono, -ano*. Näiteks: *girono vāumes* (Y. W i c h m a n n, Wotjakische Sprachproben I, lk. 124) 'meie kündvad hobused'.

J. B u d e n z arvas, et sufiksi põhielemendiks on *o* varasema *p* järglasena ja *-n* on deminutiivsufiks.³⁴

Hiljem jõudis K. M e d v e c z k y juba õigele seisukohale, et selles tunnuses on põhiliseks elemendiks verbaalnoomeni sufiks *-on, -an*, kuna *-o* on *nomen possessoris*'e sufiksiks.³⁵

M a n s i keeles on oleviku (mõnikord ka mineviku) partitsiibi tunnuseks *-ná, -n, -nä, -ni*. Enamasti küll põhja-, kesk-lozva ja tavda murdes, sest mujal domineerib selles funktsioonis *p*-line partitsiip. Näiteks: *minné tul, ɣajtné tul* (B. M u n k á c s i, Vogul Népköltési Gyűjtemény I, Budapest 1892—1902, lk. 6) 'minev pilv, jooksev pilv'.

Mõnikord läheneb selle verbivormi tarvitamine infinitiivi tarvitamisele: teda kasutatakse verbaalse eesmärgimäärusena. Sellele juhtis tähelepanu juba V. P ó l a y.³⁶ Näiteks: *ānēm tēnē matēr totēn* (B. M u n k á c s i, Vogul Népköltési Gyűjtemény I, lk. 11)

'too mulle midagi süüa'; *nĩ v unĩ pāšé joɣts* (ibid. IV, lk. 369) 'tuli aeg naist võtta'.

Mõnikord lähenevad need vormid ka gerundiumidele, eriti seoses possessiivsufiksiga. Näiteks: *jālē joɣtnān porāt* (Magyar Neylvör LIV, lk. 92) 'sel ajal kui sa tagasi tuled'.

D. S z a b ó³⁷ pidas tunnust *-nē* latiivi lõpuks. Hiljem ühendati mansi *nē*-tunnus siiski *n*-ilise verbisufiksiga. On võimalik, et lõpul olev vokaal pärineb varasemast latiivi lõpust *-ɣ, -ɣ*.

Võttes aluseks *n*-ilise vormi infinitiivifunktsiooni on A. L ő c s e i jõudnud arvamusele, et mansi keeles oli olemas *nē*-line infinitiiv, mis hiljem diferentseerus teises suunas ja mida hakati kasutama partitsiibina.³⁸ Vist on vääri oletada, et *nē*-liste vormide partitsiibifunktsioon on hiljem tekkinud. Tõenäoliselt esines ta juba varem

³⁴ J. B u d e n z, Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana, lk. 188—189.

³⁵ K. M e d v e c z k y, A votják nyelv szóképzése, Nyelvtudományi Közlemények XLI, lk. 434.

³⁶ V. P ó l a y, A vogul infinitivus használata tekintettel a magyarra, Nyelvtudományi Közlemények XXXV, lk. 421—422.

³⁷ D. S z a b ó, A vogul szóképzés, Nyelvtudományi Közlemények XXXIV, lk. 423.

³⁸ A. L ő c s e i, Északi-vogul mondattani kérdések, Nyelvtudományi Közlemények XLVII, lk. 353.

paralleelselt infinitiivifunktsiooniga. Sufiksil on siis olnud varem rohkem ülesandeid.

Ungari kirjakeeles on infinitiivi tunnuseks *-ni*. Näiteks: *pedig a magyar nép évtizedekig nem tudott belenyugodni abba...* (A. Hidas, Petőfi, Ужгород 1949, lk. 198) 'kuid ungari rahvas ei suutnud aastakümneid leppida sellega'.

Infinitiivile võivad liituda ka possessiivsufiks. Näiteks: *mit kell olva snoma „Pesti divatlapban”...* (A. Hidas, Petőfi, lk. 103) 'mida ma pean lugema „Pesti Divatlap'is”'.

Tunnuse päritolu kohta on olnud erinevaid arvamusi. J. B u d e n z pidas tõenäoliseks, et *n* on arenenud varasemast *m*-st.³⁹ Hiljem pole see seletus toetust leidnud, sest häälikumuutuse $m > n$ kohta on väga vähe näiteid.⁴⁰ Zs. S i m o n y i lähtus 3. isiku possessiivsufiksilistest infinitiivi tunnustest *-nie* jne. Ta näitas, et *nia-*, *nie-* tunnus pärineb $< *nyé-a-$, $*nyé-e$ -tunnusest ning *nom-*, *nod-* tunnus $< *nyé-om-$, $nyé-od$ -tunnusest, sest infinitiivi tunnuse *i*-s peituvat latiivi lõpp *-j*.⁴¹ Hiljem on ta arvamusel, et sufiksi varasem kuju oli $*-né$ ja et *-é*, *-i* on latiivi lõpud.⁴² J. M e l i c h lähtus oma seletuskatses 1.- ja 2.- isikulistest possessiivsufiksilistest vormidest. Tunnuse häälikulise külje vaatlusel jõudis ta arvamusele, et *n*-ilised vormid on vanemad \acute{n} -ilistest vormidest. $n > \acute{n}$ on toimunud alles ungari keele arenemise ajaloolisel ajal.⁴³ Tema järgi oli infinitiivi tunnuseks vanaungari keeles *-nu* ~ *-nū*. Selle tõrjus hiljem välja kolmanda isiku possessiivsufiksiline vorm *-ni* ($< *nē$).⁴⁴ Sufiksis esinev vokaal *u* on eelungari latiivi lõpu *-kš* ~ *-kš* järglane. Eelungari ajal oli sufiksiks siis *-nškš* ~ *-nskš*.

Selline on tänapäeva seisukohalt *n*-sufiksiliste infiniitsete verbivormide rühm soome-ugri keeltes. Kõigi nende sufiksitate kokku kuuluvuse selgitamine nõudis ligi poolteist aastasada.

Esimesi tulemusi soome-ugri keelte infiniitsete vormide võrdlemises saavutas ungarlane Samuel Gyarmathi, kes muuhulgas kõrvutas esmakordselt udmurdi ja komi infinitiivi tunnuse *-ni* ungari infinitiivi tunnusega.⁴⁵ F. B o l l e r laiendas *n*-iliste infiniitsete vormide rühma: ungari ja permi keelte infinitiivi tunnusega ühendas ta

³⁹ J. B u d e n z, Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana, lk. 208.

⁴⁰ Vrd. J. S z i n n y e i, Alaktani adalékok, Nyelvtudományi Közlemények XXXIII, lk. 246.

⁴¹ Zs. S i m o n y i, A magyar határozók II, lk. 291.

⁴² Vrd. S. S i m o n y i, Die ungarische Sprache, Strassburg 1907, lk. 335–336.

⁴³ J. M e l i c h, A főnévi igenév képzőjéről, Nyelvtudományi Közlemények L, lk. 271.

⁴⁴ Ibid., lk. 273.

⁴⁵ S. G y a r m a t h i, Affinitas linguae Hungaricae cum linguis Fennicae originis Grammaticae demonstrata, Göttingae 1799, lk. 183.

soome *nut-*, *nyt-* tunnuse *n-i*.⁴⁶ Seejärel O. Donner sidus mari *n*-ilise gerundiumi ungari-mansi-permi *n*-iliste infiniitsete vormidega.⁴⁷ J. Budenz i soome-ugri keelte võrdlevas morfoloogias pole esitatud üldse soome-ugrilist *n*-tunnust, kuigi ungari ja permi ning ka teiste soome-ugri keelte *n*-iliste vormide kokkukuuluvusele oli juba varem viidatud. J. Budenz püüdis *n*-ilisi vorme esitada kas *m*-iliste vormide variantidena (permi ja ungari infiniitiivid) või momentaanse *m*-sufiksi teisenditena (mansi, mari, läänemeresoome ja mordva *n*-sufiksid). J. Szinyei ei jaganud Budenzi ja mõnede tema õpilaste arvamust *n*-i päritolu kohta soome-ugri-ist *m*-ist. Ta käsitas kumbagi omaette soome-ugri-ist tunnuse.⁴⁸ J. Szinyei seisukohad on jäänud üldjoontes kehtima tänapäevalgi, kuigi tema poolt toodud materjal oli napp ja paljudki *n*-ilised infiniitsed verbivormid puudusid.

n-iliste infiniitsete verbivormide ühendamisel on sünenenud ka kahtlusi, mida on tekitanud *n*-iliste vormide erinevad funktsioonid eri keeltes. Funktsiooniline eripärasus ei peaks aga takistama nende kokkukuulumist. Raskendavaks osutus ka asjaolu, et *-n* esineb liit-sufikseis, mille järelkomponent võib olla erineva iseloomu ja päritoluga nii nominaalne tuletussufiks kui ka käändelõpp. Seegi ei takista meid *n*-ilisi vorme päritolult ühisesse rühma asetamast, sest infiniitsete verbivormide tunnustele võis hiljem liituda mitmesuguseid sufikseid, ja käändelõpped on nende varasemate funktsioonidega vägagi sobivad.

Seega kõigest raskendavaist asjaoludest hoolimata julgeme arvata, et siin esitatud *n*-ilised infiniitsete verbivormide tunnused moodustavad päritolult ühise tunnuserühma.

Toome veel mõned kaalutlused *n*-iliste infiniitsete verbivormide kujunemise aja kohta.

n-ilised infiniitsed verbivormid esinevad tänapäeval soome-ugri keeltes nii infiniitviidena ja partitsiipidena kui ka gerundiumidena. Infiniitviideks on nad permi keeltes, mansi ja ungari keeles. Infiniitviide väljakujunemise ajal tuleb oletada tihedat kontakti permi ja ugri keelte vahel. Mis puutub handi keelde, siis see kas seisis sel ajajärgul otsesest kontaktist kõrval või on tas hiljem *n*-iline infiniitvi kadunud. Mansi infiniitvi ülesannet täitis varem *n*-iline infiniitne verbivorm. Et aga sel oli palju ülesandeid, siis infiniitvi funktsioonide osas asendas teda uematekkeline *ηkβe*-tunnuseline vorm, mis oli algselt finiitne verbivorm.

Läänemeresoome keelte *n*-ilise mineviku partitsiibi kujunemine toimus läänemeresoome aluskeeles tiheda kontakti ajal mordva

⁴⁶ F. Boller, Die Conjugation in den finnischen Sprachen, Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil.-hist. Classe, XIV köide, I ja II vihik, Wien 1855, lk. 335.

⁴⁷ O. Donner, Die gegenseitige Verwandtschaft der finnisch-ugrischen Sprachen, Helsinki 1879, lk. 155.

⁴⁸ J. Szinyei, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, lk. 81—82.

keelega. Varem täitis ta aset vist *m*-iline partitsiip, mille hiljem *n*-iline partitsiip peaaegu täiesti välja tõrjus. Ainult põhjarühmas säilis *m*-iline partitsiip kitsas tarvituspiirkonnas. Mansi keele *n*-iline partitsiip on olevikuline ja tekkis iseseisvalt samast *n*-ilisest verbaalnoomeni tunnusest. Eesti keele *n*-iline gerundium on lähtunud *n*-ilisest partitsiibist ja arenenud välja juba ühe keele piirides, eeskujuna *u*-line gerundium. *n*-iline gerundium mari keeles ei ulatu kaugemale mari keele eraldielu ajast. Mansi *n*-iline gerundium on iseseisvalt tekkinud.

n-iliste infiniitsete verbivormide kaugemaid eelkäijaid olid *n*-sufiksilised verbaalnoomenid.⁴⁹ Viimased polnud aga mitte ainult infiniitsete verbivormide, vaid ka mõnede finiitsete verbivormide lähtekohaks. Siia kuulub näiteks mari *n*-iline preteeritum, *n*-iline preesens mansi keeles ja samuti ungari singulari preesensi 3. pöörde *-n* ning plurali 3. pöörde *-nak, -nek*.

Niisiis *n*-ilised infiniitsed verbivormid, lähtunud ühistest eeldustest — *n*-ilistest verbaalnoomenitest, on arenenud eri keeltes eri aegadel erinevat teed, teinud läbi erinevaid muutusi, kuid pole kahtlust, et nad kõik kokku moodustavad geneetiliselt ühise grupi. Hoolimata praegustest vormilistest eripärasustest pole mingit alust üksikute vormide eraldamiseks sellest rühmast, samuti nagu pole alust vaadelda mõningaid *n*-ilisi vorme *n*-ilise lokatiivi või genitiivi järglastena. Seda arvamast takistavad meid juba soome-ugri keelte infiniitsete verbivormide ühised moodustustüübid.⁵⁰

*

⁴⁹ Vrd. T. Lehtisalo, Über die primären uralischen Ableitungssuffixe, Helsinki 1936, lk. 123—129.

⁵⁰ Viimastest vt. H. Rätsep, Läänemeresoome keelte *t*-lise infinitiivi päritoluga seoses olevaid probleeme. Emakeele Seltsi Aastaraamat I, Tallinn 1955, lk. 152, 157.

ОБ ИНФИНИТНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМАХ С ПРИЗНАКОМ -n В ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ

Канд. филол. наук Х. Рятсеп

Кафедра эстонского языка

Резюме

В статье дано описание употребления инфинитных глагольных форм с признаком *-n* в финно-угорских языках, а также сделаны известные выводы относительно происхождения и формирования этого признака.

Признак *-n* с точки зрения употребительности занимает третье место среди других инфинитных формантов — его нет лишь в саамском и хантыйском языках.

Во всех прибалтийско-финских языках имеется форма причастия прошедшего времени на *-n*, причем это причастие образует в этих языках различные варианты.

В прибалтийско-финском языке-основе этот признак имел форму **-nut*, **-nüt*, причем примыкающая к *-n* часть признака *-ut*, *-üt* имела значение деминутивного суффикса.

В мордовском языке также встречается форма причастия прошедшего времени с признаком *-n'* (< **-n*).

В марийском языке употребляется деепричастие с признаком *-n*. Автор статьи не разделяет мнения К. Б. В и к л у н д а относительно того, что это *-n* является окончанием родительного падежа, и присоединяется к точке зрения Э. Б э к э, который считает, что *-n* является признаком деепричастия, в то время как падежное окончание в этой форме вообще отсутствует.

В пермских языках употребляется инфинитив с формантом *-ni*, причем *-ni* является слитным, сложным суффиксом: первая часть этого суффикса является глагольным признаком формы инфинитива, а второй компонент *-i* — это остаток древнего падежного окончания на *-k*. В удмуртском языке встречается, кроме того, причастие настоящего времени на *-ono*, *-ano*, в котором конечное *-o* является суффиксом слов, относящихся к *nomen possessoris*.

В маньсийском языке также наблюдаются инфинитные формы с признаками *-nā*, *-n*, *-nā*, *-ni*, которые выполняют роль как причастий и деепричастий, так и инфинитивов. Автор придерживается той точки зрения, что вначале в маньсийском языке существовала общая форма инфинитива с признаком *-n*, в то время как форма с признаком *-nŋkβe* имеет более позднее происхождение.

В венгерском языке инфинитив имеет признак *-ni*. В довенгерский период этот суффикс имел форму *-nskš*, *-nskš*, причём *-kš ~ kš* — окончание латива. В современном венгерском языке признак *-ni* является соединением признака инфинитива с притяжательным суффиксом 3-го лица.

На основании произведенного анализа автор статьи приходит к выводу, что формирование признака *-n* в формах инфинитива следует относить к тому времени, когда между пермскими и венгерским языками существовал тесный контакт. Причастие на *-n* в прибалтийско-финских языках оформилось в период совместного существования прибалтийско-финских и мордовских языков. Все другие варианты в отдельных языках имеют более позднее, местное происхождение.

Все инфинитные формы на *-n* имеют единое происхождение: они восходят к отглагольным существительным на *-n*. В различных языках в то или иное время развитие их принимает различные формы, но по происхождению они образуют одну общую группу, и потому нет никакого основания связывать их происхождение с отдельными падежными формами на *-n*.

MÖNINGATE C. R. JAKOBSONI TEOSTE TSENSEERIMISEST

K. Taev

Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateeder

C. R. Jakobsoni peamine ja ulatuslikum poliitiline ja publitsistlik tegevus langes 19. sajandi 70-ndaisse aastaisse, ajavahemikule, milal eesti trükisõna tsenseerijaks ei olnud enam balti saksa kitsarinnaaline pastor C. Mickwitz, vaid Jakobsoni orientatsiooniga Riia tsen-sori Grödingeri abi Mihkel Suigusaar, kes tsenseeris eesti trükiseid alates 1869. aastast kuni 1879. aastani. Viimasele järgneb samuti Jakobsonisse sõbralikult suhtuv Peeter Mets.

Võitluses balti saksa feodaalide vastu kasutas Jakobson vastu-olusid, mis valitsesid balti saksa aadli ja tsaari keskvalitsuse ring-kondade taotluste vahel, kes suhtusid vaenulikult balti aadli eri-privileegidesse. Need vastuolud tsaristliku kesk võimu ja balti sakslaste vahel võtavad eriti terava kaju alates 60-ndaist aastaist.

Sajandi esimesel poolel balti saksa ringkondades valitsenud enese-ga rahulolu oli 60-ndail aastail juba kaotanud oma stabiilsuse ning tugevasti häiritud. Sellest hoolimata aga asus balti sakslus tugevatel barrikaadidel. Nikolai I ajastu seisuste õiguse ja asutuste konstitutsiooniga oli rüütelkonna immatrikuleeritud aadli esindus-kogu omandanud laialdase autonoomia, mis küündis kuni seaduste al-gatamiseni provintsi piirides. Kui pärast Krimmi sõda (1853—1856) reformistlikud püüded Venes tugevnesid ja päevakorda tõusis balti aadlit eriti häiriv vene talurahva vabastamine, toimus ühtlasi võitlus ka balti saksa ringkondade liberaalse ja konservatiivse tiiva vahel. Rün-nak 1856. aasta maapäeval Fölkersahmi agrarreformi radi-kaalselt liberaalse projekti vastu, mis vastupidi senistele tõekspidamis-tele oli püütud kohandada uue, kapitalistliku majanduse struktuu-rile, näib õnnestuvat. Teoorjus otsustatakse uuesti tunnistada rendi-vahekordade aluseks, rendipank likvideerida, talude päriseksostmist äärmiselt kitsendada. Nende konservatiivselt revisjonistlike vaate-kohtadega püüdis balti sakslus lühinägelikult kindlustada oma poliitilist status-quo seisukorda. Aadlile sõbraliku immatrikuleeritud aadli liikme kindralkuberner Suvorovi poolt toetatult leidis konser-vatiivne talurahva seaduse projekt kinnitust Läänemeremaade Komi-tees, kuid tühistati järgmises instantsis Riiginõukogus, millega

balti saksluse konservatism esimest korda murti vene liberalismi poolt. See sai algussignaali järgnevaile balti aadlile üha traagilisemaks muutuvaile sündmustele. 1865. aastal Peterburi ja Moskva tsenduuri alt vabastatud ajakirjandus alustas tugevat rünnakut balti sakslaste privileegadele. Balti saksluse vastupanu kohapeal oli halvatud tsenduoriga.¹ Küll püüti vastuatakki korraldada Peterburisse ametisse seatud sellekohase informatori kaudu, kes pidi vene ajakirjandusse lansseerima sakslusele soodsaid kirjutusi ja õiendusi, kuid kõik see andis pigem vastupidiseid tulemusi.² Tugeva tsenduuri survele eelistas sakslus vaikumist. Publitsistid liberaalselt tiivalt Eckardt ja Bock siirdusid Saksamaale. Lootused Bismarcki ühtlusrüügi loomisele luhusid, sest sellest võrsuvad publitsistid Samarini süüdistused ja balti saksa separatismikalduvuste paljastused halvendasid olukorda. Konservatiivide juhi prof. Schirreni poleemika Samariniga ja esimese kapituleerumine 1869. a. oli sakslusele saatuslikuks hoobiks jõuvahekordades Baltimaadel.³

Seesuguste valitsevate jõudude, balti sakslaste ja tsaristliku keskvoimu, eriti slavofiilide vahelise võitluse keerises toimubki C. R. Jakobsoni võitlus eesti kodanlik-demokraatliku joone eest ja farmerliku arenemistee kindlustamise eest eesti külas. Suurt osa etendas selles võitluses eestikeelse trükisõna tsenduor. Oli oluline, et eestikeelset trükisõna sel ajal tsenduureisid sõbralik M. Suigusaar ja P. Mets, kes suhtusid Jakobsoni võitluse poolehoiuga ja võtsid vajaduse korral ta kirjutused enese kaitse alla.⁴ On vaevalt usutav, et Jakobsoni „Kolm isamaa kõnet” oleksid näinud maailmavalguist Mickwitzi päevil. Nüüd aga sündis see hoolimata sellest, et Suigusaar kahtleb, „mida teha, et mitte see kallis ja vägev töö ei saaks raisatud”. Ta annab seda Jakobsonile teada „kurva meelega ja haleda südamega”.⁵ 16. mail 1869. a. viidi eestikeelse trükisõna tsenduureimine Riiga, millega algas soodsaim ajavahemik, mida parajasti Jakobson sai kasutada oma poliitilises võitluses. „Ka nüüd on Jumalale tänu „Kitsas väravas” Sakste käest ära, mis mind kõige enam vihale oli ärritanud,” kirjutab ta oma sõnumikus Koidulale.⁶ 60-ndaile aastail saab aga Jakobson siiski tunda ka „Sakste tsenduorite” survet. See ei puudutanud küll niivõrd ta oma nappi ilukirjanduslikku loomingut, kuivõrd autoreid, kellelt ta oli valinud palu oma koolilugemikku.

¹ Vt. Schaudinn, Das Baltische Deutschland und Bismarcks Reichsgründung. Leipzig 1932, lk. 69—97.

² H. Kruus, Liivimaa rüütelkonna võitlus Eesti rahvusliku trükisõna vastu 1879.—83. a., „Looming” 1929, lk. 388.

³ Vt. Schirreni „Livländische Antworti” levitamise keelu ja konfiskeerimise materjale, ENSV Riiklik Ajaloo Keskarhiiv (lühendatult ENSV RAKA), fond 321, A—IX—31.

⁴ H. Kruus, Liivimaa rüütelkonna võitlus eesti rahvusliku trükisõna vastu 1879.—83. a., „Looming” 1929, lk. 389.

⁵ Vt. M. Suigusaare kirjavahetust Jakobsoni ja Jannseniga. Eesti Kirjandus 1912, lk. 81 ja 126.

⁶ Jakobson — Koidulale 17. jaan. 1870. Eesti Kirjandus 1911, lk. 371.

Kooli Lugemise raamat

Kui Jakobsoni „Uus Aabitsa raamat” tsensori poolt ei leidnud mingit takistust, siis „Kooli Lugemise raamatut”⁷ Mickwitz mõotis palju rangema mõõdupuuga. Kõige selle juures aga ei saanud alati teravat arvustavat sõna eelistav, üleolev, sagedasti sarkastilisigi märkusi pilduv Mickwitz Jakobsoni lugemiku kohta jätta korduvalt ütlemata oma kiitvat sõna.

„Kooli Lugemise raamatu” käsikiri on tsenseerimiseks esitatud kahes osas: leheküljed 1—272 (KK) 14. juulil 1867⁸ ja teine osa (42 lehekülge) 1. septembril.⁹ Esimese osa kohta (leheküljed 1—53) jõuab Mickwitz otsuse anda 17. juuliks, märkides lühidalt, et esitatud töö ei ole oma tendentsilt ega sisult vastuolus tsensuuri määrustega.¹⁰ Ülejäänud osa kohta (lk. 53—272) saabub Mickwitzi otsus 27. juuliks.¹¹ 1. septembril esitatud lõpuosa saab trükiloa 5. septembril.¹² Kahes viimases osas teeb aga Mickwitz mõned kärped ja emendatsioonid. Nende loetelu sissejuhatajateks märgib Mickwitz, et esitatud lugemik on läbi töötatud suure hoolega, ained valitud asjatundlikult ja korraldatud otstarbekohaselt. Sellest hoolimata ei saavat aga raamatut esitatud kujul pidada kohaseks õpperaamatuks noorsoole. Autor tõstvat kodumaatundmise alal liialt idealiseeritult esile eestlaste kuldse vaba muinasaja ja rõhutavat liialt kuuesaja-aastast pimedat orjaaega. Viimane tendents olevat eriti omane lugemikku valitud lüürikale. Kuigi mainitud luuletused küll varemini on trükis ilmunud, ei saavat neid pidada kohaseks õppivale noorsoole, mis, eriti arvestades „lokaal-natsionalismi” teaduse tõusu viimaseil aastail, võivat saada hädaohtlikuks.

Suure hulga Mickwitz poolt tehtud kärpete ja emendatsioonide kohta saame ainult ligikaudse aimuse nende üldlaadist. Nii kustutab või emendeerib ta lauseid ja väljendeid, mis on ühenduses sõnadega: prii, päästja, isamaa, Eestirahva hirmsad ajad, kui igapidi priid mehed jne., ühe sõnaga: „... mehrere Stellen unstatthaft, wegen der schwungvollen Anrede an die Jugend über den neuen Frühling der Freiheit”. Peale sellelaadiliste pisiparanduste ei pääse lugemik ka tervete luuletuste kõrvaldamisest. Kannatada saavad siin peamiselt Kreuzwald, Koidula ja Kuhlbars.

Mickwitz loeb tarvilikuks kõrvaldada Jannseni „Kus on mu kallis isamaa”, mis ei kõlbavat õpilaste lektüüriks, kuid selle olevat

⁷ Signaaleksemplar tsensorile esitatud Laakmanni poolt 30. okt. 1867. 244 lk. in 8°, 15½ trp. 5000 eks. Ilmum. luba 30. okt. 1867.

⁸ KK tsenseerimiseks Jakobsonilt Peterburist 13. juulil 1867. 272 lk. in f°. KK tagasi antud lk. 1—15 — 18. juulil, lk. 52—272 — 28. juulil.

⁹ KK tsenseerimiseks Jakobsonilt Peterburist 1. sept. 1867. 17 lk. in f° + 25 lk. in 4°. Tagasi antud 12. sept. 1867.

¹⁰ Mickwitz — de la Croix'le. 17. juuli 1867. ENSV RAKA, fond 321, A—IX—10, 1. köide.

¹¹ Mickwitz — de la Croix'le. 27. juuli 1867. Sealsamas.

¹² Mickwitz — de la Croix'le 5. sept. 1867. ENSV RAKA, fond 321, A—IX—10, 2. köide.

autor juba ise soovinud asendada uue luuletusega, milleks on ette nähtud „Sind surmani”. Viimane aga tulevat enne ilmumist tseen-
seerimiseks esitada. Edasi loeb ta noorsoole ebakohaseks Hauff-
Kreutzwaldi „Priiusele” ja Kuhlbari „Eestimaa mu isamaa”, mis
samuti kustutati. Lugemiku 1. sept. esitatud osast loeb Mickwitz
ebasoovitavaks luuletuse „Isamaa” 2., 4., 5. ja 6. salmi liialt tormi-
lise natsionaalse tendentsi, muinashiilguse mälestamise, uue priiuse
koidupuna ülistuse ning liialt terava tagamõttega rahva üksmeele
propageerimise tõttu. Kuigi Mickwitz vastava osa tseen-
seerimise puhul märgib, et kõnesolev käsikirja osa sisaldab Koidula luuletusi,
ei ole siiski vastavate motiivide, pealkirja ja salmide arvuga luule-
tust leida ei „Emmajõe Öpikus” ega „Vaino lilledes”, mis ometi
näikse olnud Jakobsoni lugemikule Koidula luuletuste allikaks.
Kõnesse võib ju küll tulla luuletuse nime kohandus oma eelneva
proosapalaga sobivuse saavutamiseks Jakobsoni enda poolt. Sis-
liste märkuste toetusel võiksid oletatavaks salmikuiks olla „Mu isa-
maa nad olid matnud” või ka „Su priiust olid matnud”.

Alates 60-ndaist aastaist hakkas Mickwiti huvitama mõistete
„isamaa” ja „kodumaa” vahetamine, millele ta omistab nüüd kind-
lad tähendused. Kogu tsaaririigi sünonüümiks loeb ta sõna „isa-
maa”, eestlastega asustatud maa-ala sünonüümiks aga sõna „kodu-
maa”. Ses küsimuses ta ei ole siiski alati järjekindel. Nii teeb ta
vastavaid parandusi 1861. a. J. W. Jannseni „Eesti lauliku” tseen-
seerimisel. Siis aga Koidula luuletuskogude „Vaino lilled” tseen-
seerimisel 1865. ja „Emmajõe Öpiku” tseen-
seerimisel 1866. aastal ei osuta ta sellele küsimusele üldse tähelepanu. Jakobsoni „Kooli Luge-
mise raamat” esitatud Koidula luuletustes aga teeb ta jällegi vas-
tavad parandused järjekindlalt. On märgata, et Mickwitz sellesse
küsimusse suhtub diferentseeritult, lähtub kindlast printsümbist. Ta
on „isamaa” ja „kodumaa” järjekindlust taotlenud neis väljaandis,
mis olid määratud kas koolile või jällegi suuremaile rahvahulkadele,
nagu seda olid nootidega varustatud luuletuskogud, näiteks Kuhl-
bari noodiraamat „Laulik koolis ja kodus” või Jannseni poolt
koostatud „Eestirahva 50-aastase Jubbelipiddo-Laulud”.

Allpool esitatagu neist emendatsioonidest olulisemaid näiteid.
„pag. 261 Z. 6 ist ü k s i (a l l e i n s c h ü t z t m i c h d i e E s t e n g r e n z e) z u
emendiren in ikka (stehts) und an vier Stellen in s a m a a in k o d u -
maa

Kaugelt koeu tulles¹³

1. Eestimaa, Eestimaa —
Kes mind võtnud üleskasvata!
Eesti leib, mull' üksi magus maitseed —
Eesti piir, mind [üks] ikka kindlast' kaitsed —
Tänu Isale! et tereta'
Võin sind jälle, kallid [isamaa] kodumaa!

¹³ Vaino lilled, lk. 6. Kooli Lugemise raamat, lk. 233.

2. — — — — —
 Igal pool sind nägin, kuulsin ma,
 Minu õitsev, lehkav [isamaa] kodumaa!
- 3.
4. — — — — —
 „Neid ma üksi tahan ülenda’!
 „Minu armu warjab [isamaa] kodumal!”
5. — — — — —
 „Sinust ial enam lahku ma,
 „[Isamaa] Kodumaa, mo püha Eestimaa!”

„Das Gedicht pag. 2 Sind surmani! ist als ein Heimatlied zulässig, wen Z. 4 von oben der neben Eesti rada (Estengrenze) stehende Ausdruck i s a m a a (Vaterland) delirt und d a f ü r k o d u m a a (Heimatland) vorgeschlagen wurde.”

Sind surmani! ¹⁴

- 1) Sind surmani kül tahan
 Ma kalliks pidada,
 Mo õitsev Eestirada,
 Mo lehkav [isamaa] kodumaa.

Huvitav on märkida, et Mickwitzi poolt viimase salmi kõrvaldamiseks ei ole mingit märkust. Nii siis on tõenäoliselt Jakobson ise selle kõrvale jätnud. Millistel kaalutlustel ja põhjustel ta selle luuletuse kõige lootusrikkamast osast loobus, jääb vastamata. Et aga see salm siiski ei olnud tsemorile meelepärane, näeme sellest, et Mickwitz kaks aastat hiljem, 1869. a. I üldlaulupeo lauludest selle ühegi kahtluseta kõrvaldas.

„Mo isamaa on minu arm ist als allgemeines Vaterlandslied zulässig, wen Zeile 4. v. oben und Zeile 4 von unten die locale Beziehung Eesti (in Eestimaa) delirt wird, wofür i s a vorzuschlagen wäre, so dass es überall nur isamaa (Vaterland) hiesse.”

Mo isamaa on minu arm!

1. Mo isamaa on minu arm!
 Kel südant annan ma,
 Sull' laulan ma, mo ülem õn,
 Mo õitsev [Eestimaa] isamaa!

- <3.> Mo isamaa on minu arm!
 Ja tahan puhkada,
 So rüppe heidan unele,
 Mo püha [Eestimaa] isamaa! ¹⁵

¹⁴ Emmajõe Õpik, lk. 13. Kooli Lugemise raamat, lk. 134.

¹⁵ Emmajõe Õpik, lk. 29. Kooli Lugemise raamat, lk. 154.

„In dem Gedicht pag. 7 Eestimuld ja Eestisüdda ist von unten Zeile 5 in dem Ausdruck Eesti is a maa (Estenvaterland) is a zu deliren und kodu (Heimat) vorzuschlagen damit das Lied eine rein heimatliche Tendenz erhalte.“

Eesti muld ja Eesti süda
Süda, kuis sa ruttu tõused
Kuumalt rindus tuksuma,
Kui so nime suhu võttan,
Püha Eesti [isamaa] kodumaa! ¹⁶

Lõpuks märgib Mickwitz veel luuletuse „Minu täht” puhul: „Zeile 10 von oben der Ausdruck Eesti täht (Estensterne) auch etwas überschwenglich national und könnte durch Taeva täht (Himmelstern) emendirt werden. Wodurch die specielle Beziehung weg fiele, die etwa den Sinn hätte: Schon kann ich dich, Stern der Esten, wieder glänzen sehen.” Mingil põhjusel on aga siin märgitud luuletus lugemikust üldse välja jäetud. Tsükli „Taeva lautus”, kus kõige enam võiks eeldada ta asupaika, on küll M. Kõrberi vagatsev „Taeva tähed”, kuid see kindlasti ei olnud Mickwitzi poolt märgitud pala, nagu võib järeldada selle luuletuse iseloomustusest.

Veikene Geograafia ehk Maade teaduse käsiraamat

Ka Jakobsoni „Veikeses Geograafias” ¹⁷ teeb Mickwitz mõned märkused rahvusteadvust õhutavais kohtades. Ta kirjutab muu hulgas: „Bogen 36. Fol 3 unten von Zeile 8 an, wo der Verfasser, vom Standpunkt des Nationalbewusstseins auf Grund aller Ueberlieferungen gesteigerter Ueberhebung: 1. Die Esten seien vor Alters in Bezug auf Geistesbildung nächst den Griechen und Römern eins der aller ansehnlichsten Völker gewesen (sic!) 2. Da sie die 700 jährige Knechtschaft gekommen, alle anderen Völker seien vorwärts, die Esten fortwährend rückwärtz gegangen, 3. Seit d. Jahre 1159 seien die baltischen Länder und ihre Bewohner, wie das Wild des Waldes unter vielmal zahn-reissenden Thieren gewesen. Diese Auffassung scheint mir, wen auch zum Theil richtig, doch nicht für die lernende Jugend jetziger Zeit geeignet und den Censurvorschriften zuwider, welche ausdrücklich dergleichen Aeusserungen verbieten, zumal in einem Schulbuche.” ¹⁸

¹⁶ Kooli Lugesu raamat, lk. 239. „Eesti Postimehe Juttotubba”, 1867.

¹⁷ KK Jakobsoni poolt tsenseerimiseks esitatud 19. juulil 1868, 166 lk. in f^o, trükiluba 10. aug. 1868. KK tagasi antud 13. aug. 1868. Signaaleks. tsens. esitatud 28. jaan. 1869, 180 lk. in 8^o 11½ trp. Ilmumise luba 29. jaan. 1869; tiraaz 4000 eksempl.

¹⁸ Mickwitz — de la Croix'le 9. aug. 1868. ENSV RAKA, fond 321, A—IX—11, 2. köide.

Arvestades Mickwitzi märkusi, mis ta tegi käsikirja kohta, võis see „Veikese Geograafia” Eestimaad käsitlevasse osasse kuuluv rahvusteadvust õhutatav kärbe Jakobsoni sõnastuses olla järgmine: „... Ehk meie kül vana Eestirahvast omaaegse mööduga mööta ei või, siiski peame ütlema, et nagu kõik vanad sõnumed ja muud järel jäänud mälestused tunnistavad, Eesti rahvas vanal aeval [oma vaimoharimise pooltest peale Kreeka ja Rooma rahva] üks [neist kõige] tähtsa ma rahvast olnud. Aga [seal tuli seitsmesada aastane orjapõli], kõik teised rahvad läksid edasi, Eestlased lõpmata sõdade pärast, kus rohkem pool osa rahvast surma leidis, ühtepuhku tagasi.”¹⁹

Lõpuks olgu veel esitatud osake Mickwitzi arvamusel „Meie Kaubalaewa-wägi Lääne meres”²⁰ sissejuhatava osa tsenseerimisel.

„... Kaks asja und need on: Täielik priius igas ettevõtmises ja wo von einer völligen Freiheit in allen Unternehmungen als einer nothwendigen Bedingung die Rede ist, die nicht vom Leser abhängt u. daher nicht hierher gehört.

Bogen 5 Seite 2. Zeile 7. u 8 v. oben ist der Passus mõisnikud ja ehk ta talupoeg zu deliren, wo von dem etwaigen Widerspruch der „Gutsbesitzer oder Bauern” die Rede ist, wowegen die allgemeine Fassung in einige Gemeinden mõned kogudused stehen bleiben würde.

Bogen 5. Seite 4. Zeile 9 v. oben ist der Passus see tuleb sest bis Zeile 12 — maha litsus unzulässig, weil in demselben als Grund des Verfalls der Schifffahrt in Greller Weise die niedrige Bande der 700 jährigen Knechtschaft angegeben werden, die dem Geiste der Esten gefesselt u. niedergedrückt haben.”²¹

Ühest C. R. Jakobsoni autograafist Tartu tsensori arhiivis²²

Tartu tsensori arhiivi 1868. aasta materjalide hulgas pakub esimeses huvi C. R. Jakobsoni autograaf kolme luuletusega: „Andreas Hofer”, „Uue elu töötus” ja „Jälle meie seas”, mis on saadetud Jakobsoni poolt 1868. a. Peterburist avaldamiseks „Eesti Postimehes”. Kuigi nimetatud värsid väikeste erinevustega on ilmunud „Lauliku C. R. Linnutaja lauludes”, lisaks sellele „Uue elu töötus” veel „Kolme isamaa kõne” esimese kõne lõpus,²³ kuid et siin on tege- mist ikkagi eri, võib-olla esimesegi versiooniga, siis esitatagu nime- tatud luuletused alljärgnevas diplomaatses esituses tsensori poolt käsikirja tehtud märkuste kirjeldamisega.

¹⁹ Veikene Geograafia, lk. 153.

²⁰ KK tsenseerimiseks esitatud 9. juulil 1868. 30 lk. in f° trükiluba 23. juulil 1868. KK tagasi antud 23. juulil. (Jakobsoni isikliku allkirja vastu.) TE esitatud 21. aug. 1868, 29 lk. in 8° 2 trp. Ilmumise luba 22. aug. 1869, tiraaž 4000 eksempl.

²¹ Mickwitz — de la Croix'le 23. juulil 1868. ENSV RAKA, fond 321, A—IX—11, 1. köide.

²² Vastav koopia ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nimelises Kirjandusmuuseumis käsikirjade osakonnas.

²³ lk. 28.

1

Andreas Hofer.

(J. Moseni saksak. laulu järel.)

Naad Mantua linna vangi
Truu' Hofrit viisivad,

5 Seal Mantua linnas hukka
Siis teda mõistsivad;
Ta sõavend'e südames
Kees hingevaev [sest] ja häda sees
Jäi maha isamaa.

10 Käed selja peale pantud,
Andreas Hofer käis;
Sam kindel, süda julge
Ja surma vahvust täis.
Ja tihti seisis surma ees,

15 Kui vaenlastele teda viis
Et kaitsta isamaad
Kui aga vangikojast
Nii välja tõttades
Ta oma sõavendi

20 Ka nägi paelades,
Siis hüüdis: „Jumal teiega
Ja ära antud rahvaga
Mo kalli isamaal!”

25 Ei trummimeesgi enam
Wõind lüia tugevast,
Kui Hofer välja astus
Nii linna wäravast.
Seal seisis ta, prii paeltesge,
Ta ihu nõu'ti surmale,
30 Et kaitsis isamaad.

Tad kästi põlvil' heita;
Ta hüüdis: „Ei te' saa!
Ma tahan seistes surra,
Kuis võidelnd teiega!

35 Veel kord mo heal siin kõlagu:
Mo armas rahvas elagu

Värss 14. paremale kõrvale kirj. Lector, kuid uuesti läbi kriipsutatud.

Värss 22. „ära antud rahvaga” alla kriipsutatud

„ära antud” maha tõmmatud ja sulgudesse eraldatud.

Värsid 21. ja 22. parandus kõrvale kirjut. Mickwitzi poolt „NB. vorgeschlagen
minu armsa”.

Värss 36. „rahvas” maha tõmmatud, pääle kirj. 'keiser' par. kõrvale kirj.
„vorgeschlagen keiser”, vasakul „NB”.

Ja minu isamaa!"
Nüüd võetakse paelad
Ta ümbert, surma eel,
40 Ta viimast korda palvet
Seal teeb Andreas veel.
Siis hüüab: „Hästi trehvige!
Oo, kuid te' alvast lasksite!
Head ööd, mo isamaa!" —

Linnutaja.

1 Uue elu tõotus.

Eestimaa, sa meile ammust antud,
Meeles, mõttes muistse aegist kantud,
Kuhu on so vanad ehted jäänud,
5 Priius, võimus, ausus peitu läänud?

Oh sind oldi kaua lööga veetud,
Seitse sada aastat piinal peetud;
Seitse sada aastat — Jumal aita!
Kes võib seda häda üles näita?

10 Aga nii kui mets, mis talv teind paljaks,
Kevadise õhust ärkab haljaks,
Nõnda, Eestimaa, ka sinu lugu,
Keda paljaks teind raudmeeste sugu.

Ehk kül, nagu lehed metsa pinda,
15 Eestiveri paisutand so rinda, —
Sinu noore su'o usk ja lootus
On so uuelt ärkand elu tõotus.

Linnutaja.

1 Jälle meie seas.

Uhkas lääne rannast raske udu,
Liikus ligi tuule tiivul,
Kattis maad kui viirastuse kudu,
5 Mattis taevast suisa siivul.

Priius, kes see kevadise kaisus
Leidnud Emajõel Koitu, —
Tundis surma ette udu tõusis,
Põgenes talt nuttes peitu. —

10 Põhjas tõusnud iling, jälle viinud
Ära pilve hirmu — sundmist,
Viha vilistusel maha lõõnud
Tema väevõimu tundmist.

Värss 45. vasakul kõrvale kirj. „Mick”, mis pärast läbi kriipsutatud.

- Priius ei ka enam seisnud peidul,
15 Sõuab uuest meie seas;
Kõnnib jälle võersiks noore Koidul,
Mõlgub õnne mõtteid peas.

Linnutaja.

Käsikiri on kirjutatud omaaegsele tavalisele kirjapoognale (21,5 × 13,5). Esimesel leheküljel vasakul ülannurgas märgitud registratsiooni number „57”, paremal tähistatud tsenseerimiseks sissesaatmise aeg „пол. 30 мая 1868”; samasse alla kirjutatud „Druck v. H. Laakmann zum Postimees”. Alumisel äärel: esimesel leheküljel „Von”, teisel leheküljel „der” ja kolmandal leheküljel „Zensur erlaubt. Dorpat d. 31. 1868 Nr. 1868 Nr. 57. Für den Abgetheilten Censor Lector Mickwitz”. See resolutsioon on aga pärast maha tõmmatud. Luuletus „Uue aja töötus” on punase tindiga läbi kriipsutatud ja mitmesse kohta kõrvale märgitud „del”. Kõik märkused on tehtud Mickwitzi poolt. Viimasele leheküljele on katteks külge liimitud paksem pakkimispaber, mis aga pärast on uuesti lahti rebitud ja mistõttu viimaselt leheküljelt võime lugeda:

Armas Postimees!

Kui ruum kannab ja „kirjakohitsejate” näppude vahelt midagi välja peaseb, siis palun eesesisvaid laulusid aeg-aealt trükki panna. Ehk saab nendega ka mõni hea seemneterake välja külvatud. Sellega ma ei taha öelda, et laulud ise kõigeparemad terad on, aga kui naad hea koha peale saavad, ja seda on meie Eestirahva rindus — siis võib neist küllalt vilja välja kasvada. Palju tervist!

Peterburgis,

sel 5^{mal} Apr. 1868.

Teie

C. R. Jakobson

Jakobsoni kartused tsensori suhtes, millele ta vihjab oma kaaskirjas, täitusid. Värsid jäid tallele tsensuuri toimikuisse. Olude soodsamaks muutudes pärast 1869. a. 16. mai korraldust pääsesid nad eestimeelse ja kõigiti eesti rahvuslikku trükisõna soodustada püüdva Riia tsensuurikomitee eestikeelsete teoste tsenseerija Sui-gusaare kaudu avalikkuse ette, trükkituna C. R. Jakobsoni värsikogus „Lauliku C. R. Linnutaja laulud”.

Nagu registrist ja muist sissekandeist selgub, on Mickwitz asendanud de la Croix'd 1868. aastal 27. maist kuni 6. juunini, millisel ajavahemikul Mickwitz on otsustanud anda luba „Andreas Hoferi” ja „Jälle meie seas” ilmutamiseks „Eesti Postimehes” nr. 23, kuna keelatuks tunnistas „Uue elu töötuse”. Näib aga, et Mickwitz siiski ei sõandanud lõplikult otsustada, sest 8. juunil annab ta uuesti kirjaliku arvamuse de la Croix'le. Esialgsele Mickwitzi märkusele loa andmise kohta sissetulnud käsikirjade registris järgneb de la Croix' märkus: „Ist im Grundlage des Gutachtens vom 8. Juni 1868 N 38 nicht gestattet in der Attest. dd. 10 Juni 1868 N 161 ausgehändigst werden.”²⁴ Lisaks eespool esitatud luuletusele on meil käepärast nende värside üle kohtumõistja kaalutlusi, põhjendusi ja mõttekäiku näitav protokoll, mille põhjal de la Croix tegi oma otsuse.²⁵

²⁴ ENSV RAKA, fond 321 A—11, 2. köide.

²⁵ Mickwitz — de la Croix'le. 8. juuni 1868. TTA A. IX—13.

Selles annab Mickwitz luuletuste sisu väga üksikasjalise refereeringu ja analüüsi.

Käsitledes „Andreas Hoferit”²⁶ loeb Mickwitz „ebasobivaks” kolmanda stroofi värssi „Ja ära antud rahvaga” ning asendab selle uue värtsiga „Ja minu armsa rahvaga”. Teatavasti pärast Austerlitz katastroofi (1805) liideti Tirol Prantsusmaa tolleaegse satelliidi Baieriga. Ühes sellega kaotas Franz II Saksa Rahva Püha Rooma riigi Keisri tiitli ja jäi Austria keisrina valitsema Franz I nime all. Pärast Viini vallutamist lahkus Austria koalitsioonist ja sõlmib Prantsusmaaga rasketel tingimustel separaatse Pressburgi rahu. Seesuguses poliitikas nägi J. Mosen rahva reetmist. Mickwitzi meelest aga oli vastuvõtmatu niisugune etteheide võimukandjale, sest see võis kõigutada kroonikandjate autoriteeti rahva silmas.

Edasi asendab Mickwitz 5. stroofis värssi „Mo armas rahvas elagu” värtsiga „Mo armas keiser elagu”. Sel puhul lisab Mickwitz märkuse, et ka originaalis esineb mitte „rahvas”, vaid „keiser”. Kas aga ei avaldu siin ka Jakobsoni demokratism? Kuigi tunneme Jakobsoni keisritruudust, nägi ta ikkagi ühiskondliku võitleja ülesandena esijoonel võitlust oma rahva huvide eest, nii et keisri asendamine rahvaga võis toimuda täiesti teadlikult.

Salmiku „Uue elu töötus” juures Mickwitz pikemalt ei peatu. Refereerinud lühidalt luuletuse sisu, teeb ta selge ja halastamatu otsuse: „Sehr poetisch — aber gleichzeitig von sehr politischer und nationaler Tendenz, jedenfalls nicht zulässig.”

On selge, et Mickwitz, kes kogu aeg hirmu tundis eesti rahva ajaloolise saatuse meenutamise puhul, ei saanud lubada luuletust, mis tervenisti oli pühendatud röövvallutajate ja rahva orjastajate süüdistamisele.

Pikemalt käsitleb Mickwitz kolmandat luuletust „Jälle meie seas”. Siin leiab ta, et sisult ja tendentsilt on luuletus vastuvõetav. Ka poeetiliste ja keeleliste väärtuste poolest ületavat see luuletus eelmised kaks. Ka mõte olevat väljendatud nii, et seda täielikult mõistab vaid haritud lugeja. Niisiis ei unustanud Mickwitz kaaluda küsimust kurikuulsas 11. juuni 1848. a. tsensuuriseadustiku § 8 lisakorralduse valguses. Esitades de la Croix'le peaaegu rea-aluse tõlke püüab Mickwitz avada ka luuletuse allegoorilised loodusepildid, lisades sulgudesse esimese stroofi puhul „d. Deutschen”, kolmanda stroofi juurde aga „d. Russen”. Mickwitz aga ei piirdu oma esialgse arvamusega üksikute luuletuste kohta, vaid asub küsimust üldistama, mis lisab mõningat valgust ka 1869. a. laulupeo korraldamise küsimusele ja näitab, kuivõrd teravasti jälgiti eesti rahvuskultuu-

²⁶ Ka Saksamaal ja Austrias oli möödunud sajandi algul pidevalt tsensuurisekeldusi Andreas Hoferi ainetel kirjutatud teostega. 1817. a. keelati anonüümselt ilmunud „Geschichte Andreas Hofer”. Suuri sekeldusi oli J. Immermanni näidendiga „Trauerspiel in Tirol”. 1844. a. keelatakse Viini politsei poolt Kirchhofi ooperi „Der Landwirt” etendamine (vt. lähemalt Houben, Verbotene Literatur, I, lk. 452).

rilisi üritusi. Mickwitz avaldab arvamust, et teine luuletus, s. o. „Uue elu tõotus” tuleb kõhklemata keelata, „Andreas Hofer” on vastuvõetav tingimisi. Viimane luuletus „Jälle meie seas” võiks ilmuda, kui ainult mitte noor-eestlaste (Jung-Esten) poolt ei oleks ette nähtud korraldada järgneval aastal talurahva vabastamise 50-nda aasta juubelipidustusi. Mida suuremaks on puhutud rahva vaimustus enne pidustusi, seda mõtlemapanevamad tulemused võivad järgneda pidustuste ebaõnnestumise puhul. Ja nüüd teeb Mickwitz hoopis uue käänaku. Ta soovitab eespool toodud kaalutlustel mitte anda luba esitatud luuletuste trükkimiseks „Postimehes” (s. o. „Eesti Postimehes”). De la Croix aktsepteeribki nagu tavaliselt Mickwiti arvamust ja teatab, et esitatud luuletustele ei saa anda trükiluba tsensuuri seadustiku § 3 põhjal.²⁷

Kuuno ja Salme ehk: kadunud vahesein

Sellenimelise käsikirja keelu kohta leidub Tartu tsensori arhiivi 1870. aasta materjalide hulgas järgmine Peterburi tsensuuri komitee kiri de la Croix'le.

Министерство
внутренних дел
С.-Петербургский
Цензурный
комитет.

С.-Петербург
„7“ февраля 1870 г.
№ 107

конфиденциально

Господину Отдельному Цензору
по внутренней цензуре в Г. Дерпт.

В С.-Петербургский Цензурный Комитет поступила на рассмотрение рукопись под заглавием: „Kuuno ja Salme ehk: kadund vahesein” (Куно и Сальме или упавшая стена) комедия на эстонском языке, сюжет которой есть брак одного лица благородного сословия с крестьянкою.

Автор выставляет в смешном виде судью и некоторых участвовавших в одном судебном приговоре получившем в крае большую огласку, причем фамилии выставленных лиц недостаточно замаскированы им и будут легко узнаны в Лифляндии, где происходило событие.

Комитет на основании вышеизложенного содержания этой рукописи усматривая в ней характер пасквиля в заседании своем 4 февраля определил рукопись эту напечатанию не дозволить и о таком определении своем имеет честь довести до сведения Вашего Превосходительства.

Председатель

Секретарь

Esitatud kirjaga keelatud käsikirja teema märkimine sunnib peatuma sellel natuke pikemalt. Abivahendiks olgu esitatud paralleelina veel üks tsensor M. Suigusaare kiri Jakobsonile.²⁸

²⁷ De la Croix' teatis 10. juunist 1868 (mustand), ENSV RAKA, fond 321, A—IX—11, 1. köide.

²⁸ Eesti Kirjandus 1924, lk. 270.

Auuwäärt eesti sõber!

Ütelge mule ommeti, mis pean mina Teie kalli manuskriptiga tegema? Esimest korda wist, ma arwan, tahetakse eesti keeli trükkis neist asjust, mis teie kõnedes on, Eestlasele ka tõtt wälja ütelda ja sest tale märku anda, mis ta on olnud, mis tema on, mis temast võib saija ja mis temaga tehakse ja siiski ikka tahhab tee kinni jäija. Haleda südame ja nukra meelega annan Teile teada, et nüüdsel ajal on weel wäga kardetaw nisugusid mõnusaid kõnesid, nagu Teie kõned on läbi lasta ja seepärast peavad nad kas ehk ümbertehtud saama ehk kogoniste ära keeletud. Aga kui Teie manuskriptist saab midagi maha kustatud, siis jääb ka ta kõigest omast paremast tuumast ilma ja teie kallis ja vägev töö saab raisatud, ära solgitud; kahjo ka jälle kui ta suutumaks saab ära keeletud; siis jo Teie jääte jälle omast manuskriptist ilma, nagu ühest juba enne ilma jäite. — — —

Aupaklikult

Mihkel Suigusaar.

Nagu esitatud kirja lõpuosast nähtub, oli mingisugust Jakobsoni käsikirja tabanud tsensori keeld. Suigusaare kiri on dateerimata, kuid ei saa olla kahtlust, et siin on sõna võetud Jakobsoni „Kolme isamaa kõne” tsenseerimise puhul. Viimane on saanud tsensor Grödingeri (s. o. Suigusaare) trükiloo 21. okt. 1870, seega on nimetatud daatum esitatud kirja terminus post quem. Suigusaar sai kontakti tsensuuriga pärast 16. mai 1869. a. korraldust, nii et kõnesoleva käsikirja keeld, millele Suigusaar viitab, pidi toimuma ajawahemikul 16. mai 1869 — 21. okt. 1870. Ajaliselt ei ole seega mingeid takistusi, et käsikirjas „Kuuno ja Salme” oletada Jakobsoni varasemat versiooni näidendist „Arthur ja Anna”, sest Peterburi tsensori otsus oli tehtud 4. veebruaril 1870, seega just parajas ajakauguses, et põhjustada Suigusaart seda meenutama uue samase hädaohu puhul. Aga peale siiski liiaks väheütleva ajalise sobivuse on veel muidki põhjusi vastava oletuse tõestamiseks.

„Kuuno ja Salme” on nimetatud komöödiaks, aga ka „Arthur ja Anna” oli „Üks Rõõmulik näitemäng kolmes järgus” — kõrgemast seisusest isiku abielu talutüdrukuga. Teema käsitletu ühtib täiel määral. Edasi on käsikirja keelu põhjendusena mainitud liialt tuntud ja maskeerimata tegelaste esinemist, mis annab näidendile paskvilli iseloomu. Võib tunduda üllatusena, et Peterburi tsensuurikomitee oli niivõrd hästi informeeritud siinseist oludest, et tundis ära isegi näidendis kasutatud prototüübid. Sel puhul aga tuleb meenutada, et alates 1867. aastast töötas Peterburi tsensuurikomitees G. J. Schultz-Bertram, kes oli siin eestikeelse kirjanduse tsenseerijaks. Et eesti näitekirjanduse tsenseerimine ei allunud kohalikule Riia, vaid Peterburi tsensuurikomiteele, siis oli tegelikuks trükiloo andjaks Schultz-Bertram. Sellega aga viivad jäljed meid juba tagasi Tormasse. On teada, et Schultz-Bertram viibis sageli Torma kiriku lähedal oma ema mõisas Friedenthalis,²⁹ kus toimus kokkupuutumine noore kõstri

²⁹ Millal ja kui kaua Schultz-Bertram mõisas viibis, selle kohta ei ole kindlaid andmeid. V. Ridala väidab, et Schultz-Bertram asus elama Torma pärast lahkumist Meditsiinilise Kirurgia Akadeemia Anatoomia Instituudi prosektori

Jakobsoniga. Muidugi oli Schultz-Bertram informeeritud ka Torma kiriku- ja koolielu sündmustest. Seega ei ole kahtlust, et Peterburi tsensuurikomitee kiri, kõneldes prototüüpidest, viitab Torma ümb-rusele. Aga ka peaaegu kõik näidendi „Arthur ja Anna” geneesi puu-dutavad allikad on osutanud Jakobsoni näidendi prototüüpidele Tor-mast. Ja lõpuks väärib tähelepanu otse kõrvulõikav tiitlite nii sisu-line kui ka vormiline sarnasus.

Arthur ja Anna ehk Vanä ja uue aea inimesed
Kuuno ja Salme ehk: kadunud vahesein.

Nimede muutmise võis olla tingitud ka prototüüpide parema maskeerimise vajadusest.

Näidendi keelamist põhjustas aga kahtlematult ka Jakobsoni ja Schultz-Bertrami terav vahekord neil aastail.

Varsti pärast näidendi käsikirja keelamist Schultz-Bertrami poolt kirjutab Jakobson oma kirjas Adamsonile: „Dr. Bertram ei muu keegi, kui peegli piltide valaja Dr. Schultz, kes mulle praegu lõp m a t a (minu sõrendus — K. T.) palju tüli teeb. On üks mees, kes täitsa rüütlike ja õppetajate sulane.”³⁰ Jakobsoni ja Schultz-Bertrami vahekorda illustreerivad muudki dokumendid. 26. märtsil 1870, seega lühikest aega pärast „Salme ja Kuuno” keeldu kirjutab Jakobson Adamsonile: „Suigusaare peale on kaebatud, et ta minu kirja Postimehes nr. 7 läbi on lasknud. Saksad tahavad teda selle eest ametist lahti teha. Peegli pildi valaja Dr. Schultz, kes siin kõik Balti kirjad veel üle vaatab, on ennast nende riistaks äraannud.”³¹ Umbes samal ajal saadab Schultz-Bertram Jannsenile pika kirja, milles manitseb viimast, ja annab märku, et Jakobsonile sulgeda „Eesti Postimehe” veerud.³² Mõni aasta hiljem Schultz-Bertram tarvitab Jakobsoni kohta äärmiselt peioratiivseid väljendeid. Käsikirja „Neljas Appokriiva raamat Mulgi rahvale” tsenseerimise puhul ta kirjutab: „Autor on keegi närune sul (polisson), selle teatud Jakobsoni sõber, kellele Tallinna Vene gimnaasium koolmeistrikohta ei annud tema demagoogiliste ideede pärast.”³³

kohalt, s. o. pärast 1857. a. (Eesti kirjanduse ajalugu koolidele, Tartu, 1924, lk. 239.) Sama ütleb ka M. Kampman, lisades juurde, et Jakobson õppis Tormas tundma Schultz-Bertrami (Eesti kirjandusloo peajooned II, Tallinn, 1913, lk. 109). „Eesti biograafiline leksikon” märgib Schultz-Bertrami ajutisi käike Friedenthali ja Schultz-Bertrami mõju Jakobsonile. Kindel on, et ta viibis Friedenthalis 1862. a. suvest kuni 1864. a. maikuuni. Sel ajavahemikul organi-seeris ta Tormas silmakliiniku, võttis vastu u. 1000 patsienti ja teostas 300 operat-siooni. Seega oli tal küllaltki tihe kontakt kohalike elanikega (vt. Briefe eines baltischen Idealisten an seine Mutter 1833—1875 gestaltet Prof. Dr. Johannes Werner. Leipzig, 1934, lk. 178).

³⁰ Jakobson — Adamsonile 9. mail 1870, Eesti Kirjandus 1913, lk. 273.

³¹ Sealsamas, lk. 272.

³² Schultz-Bertram — Jannsenile 28. märtsil 1870. Eesti Kirjandus 1910, lk. 330.

³³ Vt. J. Depman, Eesti kirjandusloo ained vene isevalitsuse arhiivides. Jakobsoni ja Jannseni päevilt. „Oras” 1927.

Kolm isamaa kõnet

C. R. Jakobsoni käsikirja „Kolm isamaa kõnet” üle ei ole enam kohtumõistjais C. Mickwitz ja de la Croix, vaid Riia tsensorigid M. Suigusaar ja Grödingen. Nagu juba varem osutatud, toimus tsenseerimine nüüd palju lahedamais oludes, sõbraliku suhtumisega Jakobsonisse. Loomulikult ei saanud Suigusaargi mööda oma otsesest kohustusest trükisõna valvurina ja ta kärbibki „Kolme isamaa kõnet” lehekülgede kaupa. Et meil ei ole kasutada Suigusaare kärpimiste motiive (nagu seda oli Mickwitzi puhul), siis jäävad mõnegi kustutuse põhjused ainult aimatavaks. Alljärgnevas on esitatud tsensori poolt tehtud põhilisemad kustutused.

C. R. Jakobsoni „Kolme isamaa kõne” tsenseerimise küsimuses on senini avaldatud kahesuguseid vastandlikke andmeid. Ühelt poolt on väidetud, et kõnede tsenseerimine toimus Peterburis. Seda väidab A. Jürgenstein oma biograafilises ülevaates „Carl Robert Jakobsoni elu ja töö” (Tartu, 1925)³⁴ ja H. Kruus teoses „Eesti ajalugu kõige uuemal ajal” (Tartu, 1928)³⁵. Sama kordab ka „Eesti biograafiline leksikon” (Tartu, 1926—1929).³⁶ Teiselt poolt on aga väidetud, et käsikirja tsenseerimine toimus siiski Riias.³⁷ Tegelikult vastabki viimane väide tõeale. Jakobsoni „Kolme isamaa kõne” käsikiri on säilinud.³⁸ See sisaldab ka tsenseerimise kohta täpsed andmed: Дозволено цензурую. Рига 21 октября 1870. Отдельный цензор Гредингер.

Viimase kõne lõpus leidub samasugune tsensori luba, kuid daatumiga „Рига 20 апреля 1870 г.”. Esimesel leheküljel aga esineb tsensori luba daatumiga „Рига 21. октября 1870”, kuid on alla kirjutamata. Kõrvale on Jakobson ise teinud märkuse „Jo zensiiiritud Riias sel 20. aprillil 1870”. Näib, et kolmas kõne oli tsenseeritud juba varem, s. o. 20. aprillil, kuna käsikiri hiljem tervikuna esitatuks sai veel teistkordselt tsensori loa.

Kust pärineb Peterburis tsenseerimise versioon, ei ole õnnestunud selgitada. Et aga tsenseerimisega oli raskusi, see ilmneb eespool tsiteeritud dateerimata Suigusaare kirjast Jakobsonile (vt. lk. 126). Võib ju küll olla, et tsenseerimise küsimuses oli kontakt Peterburi tsensuurikomiteega, kuid luba saadi siiski otseselt Riias Grödingeri (s. o. Suigusaare) käest.

Esimehe kõne „Estirahva Valguse-, pimeduse- ja koidu-aeg. Vana aearaamatutest ülespandud (Peetud 6-mal Viinakuu

³⁴ Mainit. teos, lk. 44.

³⁵ Mainit. teos, lk. 71.

³⁶ Mainit. teos, lk. 162.

³⁷ August Palm, A. Jürgenstein, „Carl Robert Jakobsoni elu ja töö” arvustus. Eesti Kirjandus 1928, nr. 4, lk. 232.

³⁸ ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Kirjandusmuuseum, käsikirjade osakond. Fond 21, M:82. Käsikiri kannab Jakobsoni märkust „Vanemuise seltsi raamatukogule mälestuseks. C. R. Jakobson”.

päeval 1868)". Jakobson lähtub siin piibellikust valguse ja pimeduse vahelise võitluse allegooriast. Seda tähistab ka Jakobsoni poolt valitud moto, mille aga Suigusaar on läbi kriipsutanud.

„Ära ole mite rõõmus mo vaenlane minu pärast; kui ma maha langen, siis tõusen ma jälle üles; kui ma pimeduses istun, siis on Jehoova mulle valguseks. Mika raam. 7, 8.” Edasi kustutab Suigusaar ulatuslikke osi, milledes Jakobson, toetudes piiblile, püüab veenda võitluse vajaduses, näitab, et võitluseta ei saa olla progressi, „sest ükski seal on elu, kus võitlemist on”. See kokkuvõttev lause iseloomustab ses küsimuses Jakobsoni kui dialektikut. Ta mõistis, et arenemine on vastandite võitlus. Toetumine piibli ainesitikule ei muuda küsimuse põhilist olu. Piibli kasutamine võis olla Jakobsonile ka taktikaliseks võtteks, et õigustada oma progressiivseid seisukohti, lüüa sellega alati usule toetuvaid reaktsioonilisi vastaseid ja nende poolehoidjaid, kes jumalasõnaga püüdsid õigustada reaktsioonilist leplikkuse teooriat, mille nad kandsid üle ka ühiskondlike küsimuste sfääri. Sedasama taktikalist võtet võime jälgida ka Jakobsoni „Sakala” esimese numbri programmilises juhtkirjas „Meie tahtmised ja eesmärgid”. Seesuguse taktikaga ei lepi Suigusaar. Kui Mickwitz oli luteri usu pastor, siis Suigusaar kreeka õigeusu preester. Viimane ei saanud loomulikult leppida, et püha sõna interpreteeritakse Jakobsoni progressiivsete seisukohtade kindlustamiseks, et p i i b l i n i m e l asutakse ründama valitsevaid ühiskondlike vahekordi. Ei ole siis ka imestada, et ta kärbib kõikjal Jakobsoni viited piiblile. Niisiis tõmbab ta risti järgmisele esimese kõne ulatuslikule osale:

„Pimedus ja valgus, ning nendega ühes pimeduse ja valguse teud, need on nii kaua üks teisega võitlemas, kunni maailm seisab. Enne Jumala seitsmepäävalise töö oli p i m e d u s maa peal, aga Jumala esimene tegu oli valguse loomine, nagu püha kiri ütleb: „Ja Jumal ütles, Saagu valgus, ja valgus sai. Ja Jumal vaatas seda valgust, et ta hea oli, ja Jumal tegi vahet valguse ja pimeduse vahel.” (1 Moos. r. 1, 3. 4.) Ei ta hävitanud siis pimedust puhtast ära; see ei olnud tal võimalik, kui ta mite maapealist olemist üheks surma-olemiseks ei tahtnud teha. Ta lõi valgust, et ta omad õnnistavad teud valguse aeal võib korda seada; pimeduse jättis ta sellegi pärast seisma pimeduse riigile. See võitlemine valguse ja pimeduse vahel läheb aga iga veer edasi ja saab ulatama maailma otsani; ta p e a b o l e m a, nii kaua kui elu maa peal on, sest ükski seal on elu, kus võitlemist on. Aga mis on valguse, mis pimeduse teud? Eks Jumal seda ka ei kinnitanud, kui ta esimeste inimestele ütles: „Täitke maad ja saatke t e d a e n e s t e a l l a, ja valitsege üle kalade, mis meres, ja üle lindude, mis taeva al, ja üle elajate, mis maa peal liiguvad.” (1 Moos. r. 1, 28.) M a a d oma alla heita, see on maad harida ja tema salause vägesi üles uurida, e l a j a t e, lindude ja k a l a d e üle valitseda, ning neid oma tarvituseks mõistlikul viisil pruukida, need on valguse teud. Ja kui inimene oma suguseltsiga selle eteseatud valguse teel jo ühe maa oma alla heitnud, siis seda

maad kalliks pidada ja teda vaenlaste vasta kaitsta, nagu püha kiri Aabramist ütleb: „Kui Aabram kuulis, et tema vend oli vangis viidud, siis saatis ta omad õppetud mehed välja, mis tema peres olid sündinud, kolmsada ja kaheksatõistkümmend, ja ajas neid taga Taanist saadik.” (1 Moos. r. 14, 14.) Need on valguse teud. Selle vasta pimeduse teud? Noh, madu oli kül kavalam kui inimene, teadis ka Jumala mõtteid paremine, kui paradisi omaksed, aga seda jumaliku salauste teadust tegi ta omale s õ a r i i s t a k s, kellega i n i m e s e üle tahtis valitseda, teda hukkatuse tee peale eksitas, ning nõnda paradisi tema käest ära kautas. Sellepärast ütles siis ka Jumal maule: „Vihavaenu tahan ma tõsta sinu ja naese vahele, ja sinu seemne ja tema seemne vahele; seesama peab so p ä ä r õ h u m a ja sina võttad temale kanda pista.” (1 Moos. r. 3, 15.) — Nõnda on siis Jumala ise seadnud, et pimeduse ja valguse vahel peab igavene võitlemine olema, aga nende kätte ommeti pärast võit jääma, kes valguse ja oma Jumalast saadud õiguste eest võitlevad.”³⁹

C. R. Jakobson oma „Kolmes isamaa kõnes” idealiseerib ürgkogukondlikku perioodi eesti rahva ajaloo. Kuid rahva sajandeid kestnud hall minevik ise põhjustas seda. Muinsusromantiline ajaloo käsitletu — see algab juba Merkelist, kasvab Faehlmanni ja Kreutzwaldi sule all, läbib kogu meie rahvusliku liikumise aja kirjanduse, lööb lausa lõkkele Bornhöhe ja Saali loomingus. Jakobsoni „Kolm isamaa kõnet” püüavad seda esitada teaduslikust lähtekohast, mis muidugi ei saanud muud olla kui pseudoteaduslik küsimuse käsitletu. Kõnede väärtus aga peitus hoopis muus. Tänapäeval me hindame kõnede tähtsust vaid rahva võitlusrelvana. See oli varasalv, kust võitlev rahvas ammutas iseteadvust, julgust, väärikust, moraalset tuge ja õigustust oma võitluseks. Just eesti muinasaja, „valguse aja” foonil joonistab Jakobson rahva igipõlise vaenlase — balti saksluse kuju, kes aastasadu verd imeva ämblikuna oli istunud rahva turjal.

Olles näidanud, kuidas muinaseestlased nii oma usu, seaduste ja eluviiside ning kunstide ja teaduste alal paljudest teistest, eriti aga sakslastest kõrgemal olid seisnud, annab Jakobson terava hoobi saksa röövvalutajaile. Toon, millega ta seda teeb, on julge, enesekindel, lausa hävitav. Loomulikult ei olnud ju lootustki, et järgmine summeeriv otsus saksa feodaalide kohta oleks saanud ilmuda avalikult, vaatamata isegi tsensori heatahtlikule suhtumisele küsimusse. Ta oli sunnitud selle „nukra meelega ja haleda südamega” kustutama ja „ära solkima vägeva töö.” „Ei oleksid mite söödikute parved selle valguse kui paksu pilvetega kinni katnud ja oma terava küüntega eesti elusoontesse igal pool kui ämblikud kinni hakkanud, tõeste, Eesti rahvast nimetaks maailm nüüd seesamasuguse auuga, nagu ta praegu kõige auusamaid Euroopa rahvast nimetab!”⁴⁰

Järgnevatil lehekülgedel kustutab tsensor terve rea ulatuslikke

³⁹ Eestirahva Valguse-, pimeduse- ja koiduaeg. Käsikiri, lk. 3.

⁴⁰ Sealsamas, lk. 14.

osi, kus Jakobson püüab oma seisukohti piibliga põhjendada. Põhiliseks lähtekohaks on tal aga, et mitte usk ei ole süüdi, vaid pastorid ja mõisnikud, kes seda rakendavad eesti rahva orjastamiseks, pimes-tamiseks ja oma jõledate tegude õigustamiseks. Nii tuleb tsensoril kustutada järgmine lõik.

„Naad ehk ütlevad, et naad meile selle eest risti-usku olla annud, aga see on vale! Kus õiget vaimuharimist ei ole, seal ei või ka õiget risti-usku olla, seal peavad selle usu osalised tuuma asemel koorega üksi rahul olema. „Kristlaste” väljaspidise kiriku naad kül meie maale tõid, kõige tema hirmsa seltsilistega, aga Jeesuse Kristuse vaimu naad meile ei ole toonud; seda neil enestelgi ei olnud. — — —

Seesugust õppetust aga kirikõppetajad ei annud, vaid nende pea hool oli see, Eestirahva vaimu põrmu sisse maha tallada ja inimese julgust tema rinnast ära kustutada. Kül sõitlesid ka mõned üksikud õppetajad selle vasta, aga nende heal kadus ära, nagu prohveti heal kõrbes. Nõnda kirjutab P a u l E i n h o r n, luteruse supperdent, veel aastal 1636 omas trükkitud kirjas sest, et kiriku õppetajad selle eest enam peaksid hoolt kandma, rahvast J u m a l a s õ n a s õppetada ja katsuda, aga noomib ühtlasi ka oma ameti vendasi, rahvaga seal juures „kristlikul ja isalikul kombel ümber käia ja neid mite meeletumal viisil lüüa, tõrelda, ässitada, teutada, laimada ja sõimada”. Sellest üksi tulla, et rahvas oma õppetajate eest ika metsa ära põgeneda, ja kui naad neid sealt üles lasta otsida, et rahvas üttelda, kuidas naad hea meelega õpetusele tahta tulla, kui neile neid õppetusi mite lõökide ja hirmsa teutustega ei anta. Siis katsub Einhorn oma ameti vendadele äraseletada, kuidas seesugune viis rahvast kirikude ja õppetajate vaenlasteks teha ja mite nende sõbraks. Lõppeks ütleb ta edasi: „Ja seda tuleb iseäranis neil tähele panna, kes võera maade alamad on ja Saksamaalt ehk muu kohtadest seie maale tulevad, sest seda on nähtud, et nende seas mehi on, kes kohe, kui naad nägid, missugune vaene ja väga sunnitud rahvas siin on ja kui väga Sakstele allaheidetud ja nende pärisorjad, ka asja otsivad, et oma meeletusku nende kallal võiksid jahutada ja seesugusel mõõdul lõõmise, teutamise ja tõrelemisega peale hakkavad, et hale näha, kelle vasta ommeti apostlite õppetuse ja maenitsuse järele kristliku õppetajate kohus ei ole tõrelda ja laimada, vaid isalikul kombel maenitse da, ka mite rahva üle valitseda, vaid oma karjale eeskujuks olla.” (Reformatio Gentis Letticae in Ducatu Curlandiae. Riga, Gerhardum Schröder, 1636.)

Peks ja teutus, need olid need abimehed, kellega Eestirahva vaimu jäädavaks muda sisse katsuti rusuda ja selle timuka-töö juures on kirikõppetajad ika kõige suuremad abilised olnud. Ehk kes enam ei mäletaks, kuidas naad veel mõne aasta eest tagasi (kunni 1866) oma koguduse-liikmeid, kes mõnel viisil olid eksinud, mõisadesse saatsid

peksule, et neile nõnda Jumala käskusi armsaks teha? Aga õige inimese süda läheb seesugusi asju mõtteldes nii kurvaks, et ta sõnu ei leia, neist rääkida. On jo ka küllalt a u u s a i d mehi meie maa kirikõppetajate seas leitud, aga need olid siis ika kas Eestlased ehk Eestlasteks saanud Saksad, kes siis ka eesti vaimus eesti õiguste eest ühes võitlesid, nagu viimasel ael nimelt Masing, Ahrens, v. Jannau, Gehewe, Boubrig, Heller, n. n. e.”⁴¹

Sellele ulatuslikule kustutusele järgneb veel rida lühemate piiblitseaatide kustutusi, mis aga erilist huvi ei paku.

Teise kõne „Võitlemised Eesti vaimupõllul” tiitellehelt kõrvaldatakse jällegi moto, milleks Jakobson oli valinud L. Koidula värsid.

Motto: „Veel vaimusidemed kanged
On, mõõgad teravad
So vaenlastel — raudmeeled,
Ja keeled libedad.
Sind aga hoiab kangelt
Truu käsi! Põlema
So keskel süütab küünalt —
Vaat — et ei kustu ta!”

L.Koidula.⁴²

Edasi on tsensori tähelepanu köitnud küsimus, mis käsitletavail aastail oli balti saksa ringkondades väga aktuaalne, nimelt eestlaste saksastamise probleem. Nagu käesolevas töös juba eespool on märgitud, tuli balti saksa ajakirjanduses kuuldavale häälile, et senine poliitika ei ole olnud õige. Balti sakslus nägi 70-ndail aastail juba selgesti eesti, eriti maakodanluse kasvu, nägi eesti rahvuse tekkimist. Teadlikum osa taipas, et paratamatult on balti sakslastel kui väikesearvulisel grupil raske säilitada oma endisi positsioone, pealegi kui nendele feodaalsetele positsioonidele oli alanud rünnak ka Vene keskvalitsuse ringkondadest. See muidugi viis mõttele kindlustada oma ridu eestlaste arvel, luua balti rahvus. Selles näebki Jakobson hädaohtu ja kutsub eestlasi üles säilitama oma rahvatruudust. Loomulikult ei saanud tsensor lubada seesuguse õrna küsimuse käsitlemist. Sellest lähtudes kustutab ta alljärgneva osa.

„... Ja nagu auus piiskop Ullmann m e i e rahvause õiguste eest ülestõusis, nõnda on ka n e n d e hulgale üks mees, päämeheks ehk eestkostjaks heitnud. See mees, kelle nimi siin nimetamata jäägu, ütleb omas trükkitud jutluses, „Liivimaa rüütliid ja maavalitsus, nagu kodanikud on saksa, — ja et meie ei või üttelda, t e r v e L i i v i m a a o n s a k s a, sellepoolest langesime ise kõige esmalt süüaluseks, kui meie, omas selgimatas harmuheitmises sündmuse põllu

⁴¹ Eestirahva Valguse-, pimeduse- ja koiduaeg. Käsikiri lk. 21.

⁴² Sealsamas, lk. 23.

pealt ärakaduva rahvaseltside killude vasta, nende rahvaust alles püüdsime hoida — — — Kui veel võimalik on, tahtku Jumal meile sellepeale tarvilist armastust (?) anda, seda äraviidetud asja nende kohta veel täide ajada, iseäranis jo auusaste seadeldud ja veel auusaste edasi seadeldava koolide teel. Nõnda, kui saksa rüütlid ja maavalitsus kindlaks jäädes, võite julgeste nende peale vaadata, kes peale Teid Teie töösse saavad tulema, ja võite Ennast nüüd jo sest rõõmustada, et nemad omal aeal täis tänu Teie vasta ennast võivad rõõmustada oma saksa keelest ja harimisest, viisist ja truudusest, ja kui Jumala tahtmine on, **kord ka ühest täitsa saksa kodumaast**: Siin on siis avalikult ja selgeste välja üteldud, mis meie maal tahetakse: üht täitsa saksa kodumaad! Ja et see võimalik oleks, peavad „auusaste seadeldud” koolid ühes aitama, meie rahva keelt ja meelt ärariisuda. Pärispõlve aeal, siis ei olnud meie rahvas seda veel väärt, sest siis ei võinud jo kellegil Eestlasel meelega tulla, üht jagu maa-valitsusest ka oma peale soovida võtta, aga nüüd — jah nüüd palutakse Jumala käest „armastust” rahva vasta, et temalt ka veel seda ära võtta, mis tal kõige armsam on, tema eesti keelt ja eesti meelt.

Kui piiskop Walter, meie maa vaimuliku õppetajate ülem, nõnda meie maa rüütlike ees maapäeva peal rääkis, kust peame siis veel ülema rahva seast oma rahvause sõpru otsima? Must pilve kogub ennast meie silma ümber koku ja ähvardab meie rõõmu-taevast kinni varjada.”⁴³

Jakobsoni kolmandas kõnes „Nõia-usk ja nõia-protsessid. Aeraamatutest ja kohtu prottukollidest ülespandud” teeb tsensor mõne väiksema paranduse. Muu hulgas kustutab ta ka siin Jakobsoni poolt valitud moto:

Sie reissen sich nicht von dem Pöbel. — aber die Pöbel reisst sich endlich von ihnen los.

Lessing.⁴⁴

Nagu selgub C. R. Jakobsoni teoste tsenseerimise käigust, oli tsensori peamine tähelepanu pööratud eesti rahva ajaloolise mineviku selgitamise ja heroiseerimise vastu, kuna Jakobson väga osavasti kasutas rahva minevikku oleviku võitluste innustamiseks. Tema sule all muutus ajalugu tõhusaks relvaks feodaalkorra jäänuste vastu, ühtlasi kooli vabastamise eest kiriku võimu alt, klerikaalreaktsiooniliste ja oportunistlike eesti pastorite ja kõstrite rahvast uinutavate jõudude vastu.

⁴³ „Kolme isamaa kõne” käsikiri, lk. 31.

⁴⁴ Sealsamas, lk. 36.

О ЦЕНЗУРЕ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ К. Р. ЯКОБСОНА

К. Таэв

Кафедра эстонской литературы и фольклора

Резюме

Деятельность лидера демократического фронта эстонского национального движения К. Р. Якобсона разворачивается, главным образом, в 70-е годы прошлого столетия. Это был период, когда цензором эстонской печати уже не являлся мелочный остзейско-немецкий пастор Миквиц. Новый цензор, Суйгусаар, был одной ориентации с Якобсоном и принимал участие в эстонском национальном движении. Но в 60-е годы Якобсону всё же пришлось почувствовать тяжесть остзейско-немецкой цензуры пастора Миквица. Миквиц был цензором его «Школьной хрестоматии» в 1867 г. Хрестоматия Якобсона явилась поворотным пунктом в преподавании эстонского языка: во-первых, она была написана по новой орфографии, а во-вторых, содержала статьи из области реальных наук. Внимание цензора Миквица сосредоточивается на части хрестоматии, касающейся прошлого и будущего эстонского народа. Ему не нравится восхваление свободы эстонцев в прошлом, к тому же он полагает, что в хрестоматии слишком акцентируется последующее 600-летнее рабство эстонского народа. В связи с этим Миквиц изъясил стихотворения «Где моя дорогая отчизна» И. В. Яннсена, «Вольности» Фр. Р. Крейцвальда, «Эстония — моя отчизна» Фр. Кульбарса и стихотворение «Отчизна», автора которого он не называет. В добавок к этому он вычеркивает многие выражения, так или иначе напоминающие об отношениях крестьянства с остзейскими помещиками.

С начала 60-х годов Миквица начинают интересоваться понятиями «отчизна» и «родина», в которые он вкладывает определенное содержание. Синонимом царской державы он считает слово «отчизна», а синонимом области с эстонским населением «родина». В этот период Миквиц делает особенно много исправлений. Этим объясняется тот факт, что ряд стихотворений Койдулы опубликован в двух вариантах.

Во введениях к книгам «Маленькая география» и «Наш торговый флот в Балтийском море» он вычеркивает те места, в кото-

рых говорится о свободе эстонцев в прошлом и о последующем порабощении их немецкими феодалами.

Среди материалов тартуского цензора 1868 г. представляет интерес автограф Якобсона — три стихотворения: «Андреас Хофер», «Восход новой жизни» и «Опять среди нас». Стихотворения Якобсон прислал цензору из Петербурга для опубликования в газете «Ээсти Постимээс». После тщательного анализа этих стихотворений цензор Миквиц делает ряд исправлений в тех местах, где намекается на рабство, которому противопоставляется освобождение крестьянства, но слишком оптимистично выражаются надежды на будущее. Несмотря на эти исправления, Миквиц предлагает цензору де ла Круа запретить эти стихотворения. Де ла Круа запрещает их на основании § 3 цензурного устава.

По данным материалов тартуского цензора можно установить, что пьеса Якобсона «Артур и Анна», опубликованная в 1872 г., была два года ранее под названием «Куно и Сальме» сдана в петербургский цензурный комитет, который однако не дал разрешения опубликовать пьесу. Якобсону пришлось изменить название пьесы и заново её переделать.

С начала 70-х годов цензура эстонской печати сосредоточивается в Риге, где цензором становится Суйгусаар. Однако «Три патриотические речи» (1870) Якобсона не удается опубликовать в первоначальном виде. В первой речи «Век света, век тьмы и век зари эстонского народа» Якобсон использует библейскую аллерию о борьбе света и тьмы. Суйгусаар вычеркивает все эти места. Суйгусаар, будучи священником, не мог, конечно, согласиться с интерпретацией библии в целях укрепления прогрессивных взглядов и с нападениями на существующие общественные отношения. Вычеркиваются все те места, где Якобсон разоблачает сотрудничество пасторов и помещиков с целью угнетения народа. Якобсон показывает, что за культурную отсталость эстонского народа ответственны наряду с помещиками и пасторы. Их заявления о том, что они будто бы принесли эстонцам культуру, являются наглой ложью. Именно они уничтожили древнюю культуру эстонского народа и воспрепятствовали дальнейшему развитию эстонской национальной культуры. Из тех же соображений Суйгусаар делает ряд изъятий из второй речи «Борьба на эстонском духовном поприще», и из третьей речи «Вера в колдовство и судебные процессы.»

ÜHE LIIVIMAAD KÄSITLEVA ALAMSAKSAKEELSE LAULU AJALOOST („ICK BIN EEN LIEFFLÄNDISCH BUER”)

Dots., filoloogiateaduste kandidaat Ed. Laugaste

Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateeder

Tartus ilmuv ajakiri „Das Inland” toob 1844. aastakäigus vg. 437 alamsaksakeelse laulu „Ick bin een Lieffländisch Buer”, mida ta ütleb tsiteerivat P. L. Berckenmeyer'i teose „Vermehrter curieuser Antiquarius”¹ järgi. Edasi ütleb autor, et Liivimaa alamrahval esinevat veel palju paganlikke kombeid ja neilt pärinevat järgmised värssid. Seejärel tsiteeritakse seda normaalselt kaheksarealist mees-paarisriimis epigrammi vormis alamsaksakeelset laulu täiel kujul. Samas teoses kõneldakse mõne reaga kohaliku rahva pulma- ja matusekombeist ning mesindusest. Peatüki pealkirja järgi on kõnet liivimaalastest (von Liefeland), ei selgu aga täpselt, kas eestlastest või lätlastest, tõenäoliselt mõeldakse eestlasi. Et Berckenmeyeri teos pole kättesaadav, ei või täiesti kindel olla, kas „Inlandi” korrespondent W-r² oma referaadis on olnud küllalt täpne. Kirjutus ilmus üldpealkirja all „Ueber angebliche Sitten u[nd] Gebräuche in Liv- und Curland in früherer Zeit”.

Ilmsesti Berckenmeyeri järgi, kas „Inlandi” vahendusel või muudel andmetel, on hakatud meilgi seda huvitavat laulukest pidama mingisuguseks rahvalauluks, mõnikord koguni ka eesti rahvalauluks, kuigi alamsaksa keeles, õigemini mõne eesti rahvalaulu alamsaksakeelseks tõlkeks.

Laul on tõepoolest olnud haruldaselt populaarne peaaegu kolm sajandit ning selle kohta on tekkinud ulatuslik literatuur, kus valgestatakse laulu ajalugu ja funktsiooni õige mitmeti.

Mis võis olla aluseks oletusele, et Liivimaa alamrahvas avaldas oma mõtteid alamsaksakeelseis värssides? Kellele siis? Alamsaksa

¹ Täpsemalt: Vermehrter curieuser Antiquarius, Das ist: Allerhand auserlesene Geographische und Historische Merkwürdigkeiten, so in denen Europäischen Ländern zu finden: Aus Berühmter Männer Reisen zusammen getragen, und mit einem zweyfachen Register versehen, von P. L. Berckenmeyern. Dritte Auflage. Hamburg, Benjamin Schiller, 1711.

² Kes kirjutas ajakirjas „Das Inland” nimemärgi W-r all („Inlandi” üldregistri järgi J. H. Wr all), ei ole usaldatavalt selgitatud.

keele ulatuslikum oskus maal, talupoegade hulgas (olgu need lätlased, eestlased või liivlased) ei saanud üldse kõnessegi tulla ei varasemal ega hilisemalgi keskajal (15. ja 16. saj.), kui isegi linnades, kus alamrahvas elas sakslasele ligemal ja vabamais tingimustes kui maal, ei saanud eestlasega enamasti kontakti alamsaksa keeles, nagu see on selgeks tehtud näiteks Tallinna kohta.³

Tõsi, leidub märkusi, nagu oleksid ametimehed, näiteks möldrid, eesti soost opmanid ja mõned teisedki suhelnud sakslastega nende keeles, samuti linnadesse asunud, mida näitab seegi, et linna siirdunud on omandanud Liivimaa linnades, kuid ka väljaspool Liivimaad kinnisvarasid, samuti on väga ammu toimunud üksikute saksastumist.⁴ Need aga on tõepoolest üksikud nähtused ega tõesta võimlust harrastada (alam)saksakeelset kirjandust. Oletusele, et tegemist on eesti rahvalauluga või selle tõlkega, on võinud viia asjaolu, et selles kõneldakse Liivimaa talupoegade viletsusest eksploateerijate surve all täiesti tõepäraselt, nagu seda tehakse ka ehtsas rahvalaulus. Ja oletatigi siis, et vaevalt keegi muu kui talupoeg ise võis oma vaevarikast elu laulus kujutada. Pealegi ei puudu laulul võitleva sisu.

Laul on kahtlemata läbi mitme sajandi olnud populaarne kogu Vana-Liivimaal (ja selle järglastel, end. Eesti- ja Liivimaa kubermangus, sealsete sakslaste hulgas). Nii tsiteerib seda Petri 1802. aastal ülemsaksakeelsel kujul.⁵ Oleariuse reisikirjelduse järgi toob Ed. Pabst möödunud sajandil laulu järgmises versioonis:

Ick bin een Liffländisch Bur,
Min Levend werdt my sur,
Ick stige up den Bercken-Bohm,
Darvan haw ick Sadel und Thom,
Ick binde de Schoe mit Baste,
Und fülle dem Juncker de Kaste,
Ick geve dem Pastor de Pflicht,
Und weth van Gott und sinem Worde nicht.⁶

Olearius märgib, et liivimaalased (s. t. Liivimaa sakslased) on talupoegade kohta nende vaevarikka elu tõttu kõnealused värsid

³ P. Johansen, Eestlane Tallinna linnaarhiivi allikate kajastuses. Ajalooleht Ajakiri, 1934, lk. 181.

⁴ Vt. neist P. Johansen, sealsamas.

⁵ J. Chr. Petri, Ehstland und die Ehsten II (1802), lk. 72.

⁶ E. Pabst, Das alte auf unsere Undeutschen gedichtete Liedlein nach Form und Inhalt, so wie über livländisch-deutsche Volksdichtung, Volkssprache und Verwandtes überhaupt. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des älteren Livlands. Von Eduard Pabst. Leval 1848, lk. 13. Ülemsaksakeelne versioon on antud hiljem, vt. lk. 140.

Ära trükitud teosest: Adam Olearius, ... Des Welt-berühmten Adami Olearii colligirte und viel vermehrte Reise-Beschreibungen... Hamburg, 1696, lk. 57. Pabsti arvates on Olearius laulu kuulnud suuliselt tema siinoleku ajal (Pabst, m. t., lk. 12).

teinud.⁷ Esimest korda esineb laul Oleariusel muidugi juba tema reisikirjelduse esimeses trükis 1647. a.⁸ ülemsaksa keeles. Samas teoses kõneldakse talupoegade raskest orjaseisundist ja kontekstist võib järeldada, et kõnet on eestlastest, nimetatakse aga järjekindlalt „Undeutschen”.

Käsitledes laulu kui tabavat talupoegade olukorra kohta, ütleb Pabst, et see on praeguseni tuttav, hakkab alles viimasel ajal (1848) kaduma.⁹

Ulatuslikumalt varieerituna, kõigepealt kolmandas isikus, esineb laul ka Salomon Henningi kroonikas, mis käsitleb ajavahe-
mikku 1554—1590. Teos on ilmunud Rostockis 1590. a. ning toob esimesena kõnealuse laulu teksti. Laulu lõpul esineb veel viis mujal kasutamata värssi:

Der Lifflendisch Pawr steigt auff ein Bawm,
Darauff hawt er jhm Sattel vnd Zaum,
Vnnd machet dauon Stiffel vnd Sporen,
Füllet seim Herrn den Kasten mit Korn.
Er giebt dem Pfarherr seine pflicht,
Vnd weiss von Gott dem HErrn nicht.
Ach Gott wie wollens verantworten die,
So jhres sawren schweiss genossen hie:
Wer besser sie hetten der keinen gehat,
Wenn sie es werden finden mit ewigem schad,
Und sein des Teuffels Hellenbrat.¹⁰

Laul leidub ka J. A. v. Brandi reisikirjelduse nii saksa- (1702) kui hollandikeelses (1703) väljaandes.¹¹ Hollandikeelne tõlge kuulukse järgmiselt:

Ik ben een Lijflandsch Boer,
Mijn leven word my zuur,
Ik klim op de Berkeboom,
Dar hak ik uit mijn Zadel en Toom,
Ik bint mijne Schoenen met Basten
En verzorg den Jonker zijn kasten,

⁷ Olearius toob laulu juurde märkuse: „Wegen ihres Slavischen harten und mühseligen Lebens, haben die Liefländer von ihnen folgende Reimen gemacht.” Harilikult kasutatakse eestlaste ja lätlaste kohta „Undeutschen”, kuna mõiste „Liefländer” tähistas Liivimaa sakslasi. Vt. näiteks ka Pabsti teose pealkirja käesoleva artikli all märkuses 6. Oleariuse järgi tsiteerib seda laulu ka „Grosses Universallexicon” märksõna all *Liefland*, kus see peab kinnitama mittedeakslaste (Undeutschen) vaevarikast ja halba kristlikku elu Liivimaal.

⁸ Adam Olearius, Oft begehrte Beschreibung der Newen Orientalischen Reise... Schlesswig 1647, lk. 94—95.

⁹ E. Pabst, m. t., lk. 20—21.

¹⁰ Salomon Henning, Lifflendische Churlendische Chronica..., Leipzig 1594, lk. 40. Rostock 1590, lk. 86.

¹¹ J. A. v. Brand, Reysen durch die Mark Brandenburg, Preussen, Churland, Liefland etc. (Wesel 1702); hollandikeelne väljaanne ilmus Utrechitis 1703. a. Laul leidub lk. 207.

Ik geev den Pastor de pligt
En weet van God en zijn heilig woord niet.

Brandi üleskirjutused on tehtud eelmise sajandi eelviimasel vee-
randil, täpsemalt 1673. aastal, teos ise aga on ilmunud posthuumselt.

Ka see on täiendavaks tõestuseks laulukese tuntuse kohta, sest
vaevalt oleks Brand hakanud vähetähtsat laulu tsiteerima, ükskõik
kas suulisest traditsioonist või kirjandusest. Võimalikud on mõle-
mad allikad. Et ka suuline allikas tuleb väga tõsiselt arvesse, seda
näitavad varieerumised ja sellest tingitud veadki tekstides, mis, tõsi
küll, lähevad osalt ka ebatäpse kopeerimise arvele.¹²

Sama laul on kohandatud ka Kurámaa talupoja kohta, keda ei
olevat õpetatud katoliiklaste poolt kristliku armastuse, vaid sunni-
tud vägivalla ja türanniaga, nagu selgub Einhorni kroonikast:

Du armer Curischer Baur,
Dein Leben wird dir saur...¹³

Einhorni kroonikast on võtnud sama näite koos kontekstiga ka
Thomas Hi ä r n oma kroonikasse.¹⁴

Käsitledes eesti talupoegade elu toob J. Chr. Petri oma peateoses
selle laulu saksakeelses tõlkes kui ürgvana, mis eestlase olukorra
andvat edasi lühidalt ja tabavalt ning olevat tuttav kogu maal:

Ich bin ein Ehstnischer Bauer,
Mein Leben wird mir sauer:
Ich steig auf einen Birkenbaum,
Und haue mir den Sattel und Zaum.
Die Füße bind' ich mit Basten,
Und fülle meinem Herrn den Kasten.
Ich gebe dem Pastor meine Pflicht,
Und weiss von Gott und seinem Worte nicht.¹⁵

Laulu suure populaarsuse kohta ei jää mingisugust kahtlust.
Kuigi selle kasutamine paljudes kroonikates on mõnelgi korral laen
eelmistest kroonikatest, on selle tsiteerimine alati seotud talupoegade
viletsa olukorra kujutamise ja satiirilises esituses ja märkusega selle
juurde, et laul on väga tuntud (Petri). Kelchi järgi on osa laulust
muutunud vanasõnaks.¹⁶ Samuti märgitakse ulatuslikku suulist
levimist.¹⁷

¹² Vt. näit. F. G. v. Bunge, Archiv V (1847), lk. 140.

¹³ P. Einhorn, Historia Lettica... Dorpat 1649, lk. 55. Uustrükk vt. *Scriptores rerum Livonicarum II*, (1848), lk. 600.

¹⁴ Thomas Hi ä r n: *Ehst-Liv- und Lettländische Geschichte*. Nach der Originalhandschrift herausgegeben [J. F. v. Recke] I. Mitau, 1794, lk. 47.

¹⁵ J. Chr. Petri, *Ehstland und die Ehsten II* (1802), lk. 72.

¹⁶ Chr. Kelch, *Liefländische Historia* (1695), lk. 559: Sakslased ja roots-
lased pastoritena [mõeldud tõenäoliselt luteri pastoreid] ei tundnud rahva
keelt, ei saanud seda ka õppida, polnud ka raamatuid, koguni mitte katekismust
eesti keeles [Wanradt-Koelli katekismust Kelch ei tunne]. Pastorid lugesid üks-
teiselt laenatud käsikirjadest sakramenti nii hästi kui võisid. Sellest Liivimaa
vanasõna: Ich gebe dem Priester die Pflicht, und weiss von Gott und seinem
Worte nicht.

¹⁷ P a b s t, m. t., lk. 15—16.

Kuivõrd siiski võitlev värss, mis baseerub vahedal satiiril, leiab kasutamist läbi sajandite väga mitmesugusel viisil, selleks on tõestusi palju, üks neist on kahtlemata ka antud laul. Mida tabavam on satiiriliste värsside sisu ning mida vastavam on vorm antud sisule, seda elujõulisem on see looming.

Satiiri mõju arvestades kiusasid valitsevad klassid taga selle kasutajaid. Seda näitab ilmekalt eesti riimilise rahvalaulu „Eesti mees ja tema sugu” ajalugu. Samasugune on olukord 16. sajandi pilkelauludega, mille kasutajaid karistati kohtulikult. Katoliku kiriku vastaseid pilkelaule on esinenud rohkesti Riias 1524. a. paiku, s. o. kõige ägedama võitluse ajal katoliku kiriku vastu.¹⁸ Rangelt oli keelatud pilkelaulude levitamine ka ükskõik millisel teel, aga käsikirjalisi andmeid nende olemasolu kohta on säilinud linnade arhiivides jm. kaunis hulga.¹⁹

Käesolevas uuritava laulu suurest populaarsusest ja huvist selle sisu vastu kõneleb seegi asjaolu, et veel käesoleva sajandi algul käsitlevad mõned balti saksa autorid poliitilisi paskville, mis minevikus on suuremal või vähemal määral eksisteerinud ja millest mõned on suured väga visa elujõuga. Üheks nimekamaks analüüsijaks on ülemõpetaja Riekhoff.²⁰ Autor peab poliitilisi paskville huvitavaks ja tsiteerib näiteks üht sellist:

In der Wiek,
Da sind sie riek.
In Hargen,
Da wohnen die Kargen.
In Wierland,
Da ist gut Bierland.
In Jerwen,
Da möchte ich leben und sterwen!

Mõnikord lisatavat lõppu veel:

Doch mit denen aus Allen [taken]
Ist kein groter Staat zu maken.²¹

¹⁸ Vt. Th. v. Riekhoff+, *Livländische Pasquille und Spottverse und ihre Verfasser*. Baltische Monatsschrift 1907, Heft 10, lk. 124.

¹⁹ Poliitiliste laulude tsensuuri kohta vt. ka W. Steinitz, *Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten I*, Berlin 1954, lk. XXIV–XXV.

²⁰ Theodor v. Riekhoff uuris 16. sajandi Tallinna satiirilist kirjan dust, esijoones satiiri „Pasquill auf die Wittwe Hersefeld” (vt. *Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung* XXXI (1905), lk. 44 jj.). Utlatuslikum uurimus on ilmunud posthuumselt 1907. aastal „Livländische Pasquille und Spottverse und ihre Verfasser” (vt. *Baltische Monatsschrift* 1907, Heft 10).

Autor ise oli Viljandi maagümnaasiumi saksa keele õpetaja, hiljem raamatukaupmees ja eratunnandja, kasutas ühtlasi vaba aega uurimistegevuseks, avaldades lühiaurimuste kõrval ka mõningaid akadeemilisi tekstiväljaandeid. (Vt. Th. v. Rieckhoff+, *Revalsche Zeitung* 21. III (3. IV) 1906, nr. 66, lk. 3; ka: *Hasselblatt-Otto, Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat, Dorpat 1889.*)

²¹ Th. v. Riekhoff, m. t., lk. 134.

Juba see, et värsid on üldiselt alamsaksakeelsed, käesolev küll ülemsaksakeelne mõningate alamsaksa joontega, viitab nende varasele tekkimisajale, ajale, millal alamsaksa keel oli Liivimaal sakslaste hulgas valitsev. See annab põhjust seda laulukest viia mitte hiljem kui 16. sajandisse.²²

Järgmisena vaadeldakse talupoegade olukorda käsitlevat laulu „Ick bin een Lieffländisch Buer”.

Et Riekhoff võtab laulu ajaloo suhtes autoriteetsema hoiaku ja näib olevat avaldanud omajagu mõju, tuleb tema arvamustel peatuda veidi üksikasjalisemalt. Muidugi, Riekhoff ei lähene küsimusele publitsistina, vaid uurijana. Ta on küllalt vaeva näinud mitme sajandi Tallinna raeprotokollide dešifreerimisega ja sealsete faktide esiletoomisega. Aga oma otsustes ja järeldustes jääb ta ikkagi kitsarinnalise ja rahvavaenuliku balti saksa ajaloo historiograafi positsioonidele. Kriitika ja ettevaatus tema otsuste kohta on iseenesestmõistetavad.

Riekhoff ütleb, et seda laulu olevat vaadeldud kui Liivimaa saksa rahvalaulu. Ta viitab Ed. Pabstile, kes leidis, et see on Liivimaa saksa rahvalaulu mälestus alamsaksa keeles, mis on hiljem transponeeritud ka ülemsaksa keelde.²³

Riekhoff leiab omalt poolt, et

1) eestlased ja lätlased ei väljendanud oma tundmusi alamsaksa keeles,

2) pole tõenäoline, et mõni Liivimaa sakslane hakkas luuletama alamsaksa keeles talupoegade seisukohalt,

3) Vana-Liivimaal polnud talupojasuhted sugugi nii rasked ja kohutavad, nagu seda sagedasti väljendatakse rahvuslikust partei-seisukohast.

Esimese väite vastu ei ole põhjust vaielda. Kolmas väide on põhjendamatu, teine jätab aga lahtiseks küsimuse, kes on siis selle nii ülipopulaarse, läbi sajandite rahvalaulu kombel levinud ühiskondlik-poliitilise sisuga laulukese looja.

Püüdes vastu vaielda laulu dateerimisele reformatsiooniaja alguskümnendisse ütleb Riekhoff, et kroonikate järgi laskvat see aeg end just vastupidiselt iseloomustada. Liivimaa talupojal olnud siis mitte raskem, vaid just kergem olukord kui tema seisusekaaslastel meie kontinendil. Tema toiduseks olnud sealiha ja sai, odrast pruulitud hea õlu, tema pulmalaud olnud kaetud pidevalt kolm päeva. Russowgi kaebavat liigjoomise üle. Ka kõige vaesem talupoeg olevat kirikumessiks pruulinud õlut. Seega olevat põhjendamatu kõnelda talupoegade viletsusest. Laulu tekkimine võivat langeta Liivi sõja alguse segaduste aega, millal talupoegade olukord polnud ka veel sugugi nii troostitu.²⁴

²² Th. v. Riekhoff, m. t., lk. 134.

²³ E. Pabst, m. t., lk. 11–12. Pabst annab laulu kohta ka lühikese bibliograafia.

²⁴ Th. v. Riekhoff, m. t., lk. 135–136.

Kui Riekhoff talupoegade olukorda kujutades püüab toetuda muuhulgas ka Balthasar Russowi kroonikale, siis vaadelgem ligemalt, mida Russow tõepoolest kõneleb. Russow näitab, kuidas aadel ja kodanikkond priiskab, suurtes maakihelkondades on kirikud tühjad ja lagunened, koole ei asutata mõisnike poolt kulude kartusel (Võrrede). Pastorid ei osanud rahva keelt, talupojal polnud neist ka mingit kasu. Tuhande talupoja hulgas leidis vaevalt üks, kes issameiet tundis. Pühapäeva kasutati mitmesugusteks pidudeks, prassimisteks ja igasuguse himu ajamiseks (Võrrede). Aadlikel olid Liivimaal kõik eesõigused, talupoeg elas aga suurimas viletsuses ja õigusetus olukorras. Ja kõik, mis vaesel talupojal oli, polnud mitte tema, vaid tema isanda voli all. Vanusest hoolimata peksti kõiki, kes vähegi kurja olid teinud, mõned aadlikud vahetasid talupoegi koerte vastu (lk. 33—34). Muidugi kõneleb Russow ka talupoegade pidustustest ja prassimistest. Nõnda oli see kirmestel ja jaanipäeval (lk. 65—70).²⁵

Selle kirjelduse pidutsemist ja lõbutsemist käsitlev osa ei kõnele veel talupoja suurtest rikkustest. Joominguteks valmistatud õlu ei nõudnud eriti suurt jõukust. Üldine talupoja elu-olu kujutus, talupoja, mõisnike ja pastorige suhted on antud Russowil samasuguses valguses, kui seda teeb uuritav laul. Seega osutub täiesti õigustamatuks Riekhoffi toetumine Russowi kroonikale.

Riekhoffi väidete tagasitõrjumiseks tsiteerigem ka kaasaegse Sebastian Münsteri kosmograafiat, kus see 1559. a. avaldatud ladinakeelses väljaandes ütleb: „Non est miserabilior populus in orbe, quam illi fueri.”²⁶

Laul kuulub kahtlemata 16. sajandi esimesse poolde, täpsemalt reformatsiooniaja esimestesse kümnenditesse. Selle tõestamiseks vaadelgem lauluteksti ennast. Selles öeldakse, et 1) talupoja elu on vilets, 2) ta täidab junkrute varakaste, 3) annab pastoreile oma andameid, ei tea aga jumalasõnast midagi.

Varsti pärast reformatsiooni algust Saksamaal leidsid selle ideed soodsa pinnase ka Baltimail, esmajoones linnades. 1524. aastat loetakse siin juba reformatsiooniaja alguseks. Reformatsioonile olid vastuvõtlikud kõigepealt linnad, maa jäi veel kauaks ajaks katoliiklikuks. Katoliku usk ei olnud suutnud sügavale talurahva ellu tungida. Rahva vagadus ja usklikkus oli pinnaline. Papid ei osanud enamasti rahva keelt ega pääsnud seega rahvahulkade ligi-

²⁵ B. Russow, *Chronica Der Prouintz Lyfflandt ... Korth unde loffwerdich beschreuen, Dörch Balthasar Rüssouwen Reualiensem*. Rostock Gedrucket dörch Augustin Ferber. Anno MDLXXVIII. Vt. ka selle kroonika uusväljaanne: Balthasar Russow's *Chronica der Prouintz Lyfflandt*, in erneueter Wiederabdrucke, mit Wörterbuch und namenregister versehen, Riga 1857, lk. 42—44.

²⁶ Sebastian Münster, *Cosmographiae*, Basel 1559, lk. 787.

Saksakeelses väljaandes 1588. aastast kõneleb Münster sagedastest ärajooksmistest mõisnike juurest nälja ja viletsuse pärast ning lisab: „Es ist das ellendest und betrübtest Volck, desgleichen under der Sonnen nicht funden wird... vnnd tragen Schuh von Bast geflochten” (lk. Nxiij).

dale, mistõttu usupropaganda ei kandnud suuremat vilja ja kroonikud kõnelevad „ebausu” lokkamisest.²⁷ Kirikud jäid sageli tühjaks. Pape see aga suurt ei häirinud. Talupojad ei tundnud ristiusu algmõisteidki. Kõike kuulati kui sunniviisiliselt pealesurutud asja, hoiduti võimalikult eemale kiriklikest talitustest, nagu selgub mitmesugustest andmetest kirikuraamatuis, ning jätkati hoolega iidseid rahvakombeid. Selline suhtumine jätkus loomulikult ka veel reformeeritud kiriku valitsemise ajal. Linnades oli olukord teine: rahvahihedus ja kirikute rohkus soodustas usuasjadega tegelemist. Rae ja kodanikkonna kaastegevusel hakati juba 15. saj. lõpul rajama rahvakeelseid pastori ameteid linnakirikuis ja klostreis. 1476. aastal on juba Tallinna Niguliste kirikus eesti keelt valitseva preestri koht, hiljem Pühavaimu ja Tartu Jaani kirikus. See kõik oli aga vähene ja juhuslikku laadi.

Katoliiklik kirik oli oma suurte rikkuste kaudu ise suur ekspluateerija ja ekspluateerimise toetaja ning ideoloog. Vaimulikkond alates paavstist kuni väiksemate vaimulikkudeni elas lodevat elu ega valinud vahendeid rikastumiseks. Suureks tuluallikaks oli neil ka patukustutuskirjade (indulgentside) müük. See äratas vaenu katoliiklike vaimulike vastu. Rahulolematute hulgas olid feodaalide keskja alamkihid, koguni alam vaimulikkond. Peamiseks jõuks selle vastu olid siiski töötavad ja rõhutud rahvahulgad — talupojad ja linnakehvid. Rahulolematuse arenes ulatuslikuks ühiskondlik-poliitiliseks liikumiseks, mida tuntakse reformatsiooni nime all. Reformatsiooni kõrgetapiks on talupoegade sõda Saksamaal 1525. a.

Reformatsioon omandas Saksamaal ulatusliku ühiskondliku liikumise iseloomu. Liikumine ise oli suunatud katoliku kiriku kui feodaalse ideoloogia ja ekspluateerimise tööriista ning selle pahede vastu. Reformatsioonis, mis ühendas üsna mitmekesiseid sotsiaalseid ja poliitilisi kihte, kujunes välja kaks leeri: aadel ja rikkad linlased koos Lutheriga nende huvide väljendajana, kes nõudsid mõningaid kirikureforme, ja revolutsiooniline leer, kuhu kuulusid feodalismivastased jõud — talurahvas ja linnakehvid, kes ei võidelnud ainult katoliku kiriku, vaid ka feodaalõisnike ja linnapatriitside ning linnakodanike ladviku võimu kukutamiseks. Revolutsioonilise suuna etteotsa asus Thomas Müntzer, Saksa talupoegade sõja juht, kes oli Lutheri vastane ning vastandliku klassi ideoloog. Teoses „Ausgedrückte Entblössung” avaldab ta üleskutse vürstide kukutamiseks ja kohtumõistmisõiguse üleandmiseks „alandatud ja lihtsate inimeste kätte”. Ta nõudis sellise korra loomist, kus puudub eraomandus ja ekspluateerimine.²⁸

Saksa talupoegade sõda 1525. a. lõppes talupoegadele õnnelt.

Liivimaale tuli rõhutud klasside esindajaid õige mitmeid, kes hakkasid siin teostama reformatsiooni. Üks sellistest oli rändav

²⁷ Balthasar Russow, *Chronica Der Prouintz Lyfflandt*... lk. 72.

²⁸ Fr. Engels, *Der deutsche Bauernkrieg*, Moskau 1940, lk. 52.

kasuksepp Melchior Hoffmann, kes töötas algul Volmaris ja 1524. a. Tartus. Tema tahtis kirikut ümber organiseerida rahvalikul alusel, kus jutlustajad oleksid valitud tööinimeste eneste poolt. Ka tema unistas klassivastuoludeta ühiskonnast, kus puuduksid nälg, häda ja viletsus. Ka tema nägi, et siin, nagu Saksamaalgi, tekib juba protestantlike pastorite hulgas rahvavaenulikkude elementi, nagu ka Luther Saksamaal oli asunud aktiivselt maha suruma revolutsioonilist liikumist.²⁹ Reformatsiooniliikumine tõi kaasa rõhutatud kihtide hulgas rahutusi maal ja linnas. Võitluses uue eest võeti kasutusele ka poeesia- ja satiirilise luuletuse näol.

Selliste tegelaste hulgas, kes asusid allasurutud rahva positsioonile, näib olevat tekkinud ka käsitletav lauluke „Liefpländisch Buer”.

Reformatsiooni üheks põhiolemuseks oli: jumalateenistus rahvakeelseks! Hakkas tekkima vaimulikkude kirjanikke ja mahajäänud Eesti alal (Wanradt-Koelli katekismus 1535. a.). Linnakodanike hulgas tõusis huvi koolide vastu: 1550. aastal asutati Tallinnas vaestele mittesaksa õpilastele eriline instituut (kool), kus haridust said nõnda siis mõned eestlasedki (Hans Susi). Reformatsiooniga koos levisid Liivimaale ka Kesk-Euroopa revolutsioonilised ideed, mille vastuvõtuks kohal oli olemas sobiv pind ning mis soodustasid kohepeal vähemalt rahutut meeleolu. Seesmisele käärimisele aitasid kaasa paljud võhikjutlustajad, kes oma varasema revolutsioonilise tegevuse tõttu olid sunnitud Kesk-Euroopast lahkuma, leidsid aga siin, eriti linnades, peatuspaiga ja tegutsesid edasi mõningate tulemustega. Volmari maapäeval 1525. aastal juba nõuti raekorralduste vastu tõusnute mahasurumist ja süüdlaste karistamist. Otsus tehti kodanike keeles (siis nähtavasti ka eesti keeles) kodanikele (ka alamrahvale) teatavaks vähemalt Tallinnas. Vastuhakkamiste mahasurumisest on osa võtnud ka mitmed luterlikud pastorid, kes kartsid rahvahulkade jõudu, mis võib suunduda ka kiriku vastu.

Juba reformatsiooni algul muutusid linnad rahutuste levitajateks maarahva hulka. Rahutusi tekkis 1524. aasta algul Harju- ja Virumaal Tallinna ja Narva ligikonnas. Sõnakuulmatusele ässitamises süüdistati luterlikke pastoreid. Ordumeister nõudis ohtliku õpetuse lõpetamist. Mis siis põhjustas talupoegade hulgas rahutusi? Talupojad kaebasid raskete koormiste üle ja nõudsid nende vähendamist. Selles on nähtud Lääne-Euroopa talupoegade sõjale toetuvaid mõjusid ka Baltimail. 1525. a. Volmari maapäeval öeldi, et linnade poolt tehtud agitatsioon pole ainult luterlike ideede levitamine, vaid mässule õhutamise. Tallinna linnakodanikud, kelle hulgas oli suur hulk eestlasi mitmesugustes ametites, olid kauplemise tulnud talupoegi toepoolsest ässitanud rüütlite vastu. Kaebekirjast selle kohta selgub, millist laadi oli see linnakodanike agitatsioon: talupojad ei pidavat uue õpetuse järgi enam oma isan-

²⁹ С. Д. Сказкин — А. С. Самойло — А. Н. Чистозвонов, История средних веков II (1954), lk. 79—99. A. Vassar (toimet.), Eesti NSV ajalugu I (1955), lk. 264 jj. (Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut.)

date sõna kuulama.³⁰ Siin arvatakse olevat tegemist „12 artikli programmi” mõjuga, mis oli koostatud Švaabi talupoegade põhimiste nõudmiste kokkuvõttena, tunnustas inimõiguste võrdsust ja nõudis pärisorjuse kaotamist, kujutades endast seega feodalismivastast dokumenti.³¹ Kristus oma kalli verega olevat lunastanud kõik, nii karjase kui ülemuse, seepärast tahavad ka talupojad vabad olla. See mõte väljendub ka ordumeistri poolt 1532. a. Tallinna raele saadetud kaebekirjas. Talupojad märkivat, et juba taanlaste ajast mõned Harju-Viru talupojad olnud vabad ja on säilitanud oma olukorra ka orduajal. Sellele toetuvat vabaduste nõudjad.³² „12 artikli programmi” mõju on võimalik, sest üks koopia sellest programmist leidis ka Tallinna linna-arhiivis³³ (kuni selle arhiivi paljaksrõovimiseni hitlerlike okupantide poolt 1944. a.), olles sattunud sinna just varsti pärast selle tekkimist. Programmi teksti leidumine Tallinnas tõestab kindlasti selle sisu otsesest tundmist kohapeal. Võimalik, et see polnud ainus selline tekst.

Mõisnike ja katoliiklike pappide vastane ideoloogia väljendub ka vaatlusaluses laulus, kajastades ühtlasi just neid olukordi, mis valitsesid 16. sajandi 20-ndail aastail (reformatsiooni alguses). Talupoegade viletsus, milles Riekhoff kahtleb, on siin konstateerimist leidnud ja Riekhoff eitab seda ainult balti saksa ajaloo historioograafi positsioonidelt. Muidugi pole õige Liivimaa talupoegade olukorda heaks pidada, vaid tuleb ühineda Münsteriga selles, et Liivimaa oli talupoeg kõige armetum olend. Ja Münster pole ainus, kes seda väidab.

Riekhoffi teine tees on põhiliselt vastuvõetav: Liivimaa mõisnik või mõni muu seisusekaaslane, kes enamasti olid huvitatud talupoja kurnamisest, kindlasti ei hakanud talupoja huvides luuletama.

Selle laulukese autoriks on peetud hesseni poeeti Johann Hasentödterit,³⁴ kes 1547. aastal viibis Riias ja saatis Münsterile Liivimaa kohta andmeid. Münster hindab oma andmete saatjat kui suurte

³⁰ V. Niitemaa, Die undeutsche Frage in der Politik der livländischen Städte im Mittelalter. Suomalaisen Tiedeakatemia Toimituksia, Helsinki 1949, lk. 232–252. Ka: P. Johansen, Eestlane Tallinna linnaarhiivi allikate kajastuses. Ajalooline Ajakiri 1934, lk. 180–188.

³¹ М. М. Смирин, Народная реформация Томаса Мюнцера и великая Крестьянская война. Издание второе исправленное и дополненное. АН Союза ССР. Институт Истории. М. 1955, lk. 327 jj.

Vrd. ka Б. Пуришев, Очерки немецкой литературы XV—XVII вв., Москва 1955, lk. 167–178.

³² V. Niitemaa, m. t., lk. 251.

³³ O. Sild, Usupuhastuse tulek Liivi- ja Eestimaaale. Usupuhastus eestlaste maal 1524—1924. Usupuhastuse juubeli Kirjanduslise Komisjoni väljaanne usupuhastuse tuleku 400-a. mälestuspäevaks, Tartus 1924, lk. 72–73.

Terve tekst (saksa oma) on publitseeritud H. Böhmer'i teoses „Urkunden zur Geschichte des Bauernkrieges und der Wiedertäufer. Kleine Texte für Theologische und Philologische Vorlesungen und Übungen” 50/51. Bonn 1910. Tallinna linnaarhiivis leiduv tekst on avaldatud K. Höhlbaumi teoses „Forschungen zur deutschen Geschichte” XVII (1877).

³⁴ H. Bruiningk, Zur Einführung Mitt. XXII (1929). Livländische Güterkunden II. Ka: V. Niitemaa, m. t., lk. 253.

kogemustega kohapealsete olude tundjat.³⁵ Johann Hasentödter, nagu näitavad andmed, oli veendunud protestant ja linnakodanike mentaliteedi väljendaja. Ta on paljudes oma lauludes linna, eriti Riia linna idealiseerivalt kujutanud, avaldades sel teel arvatavasti ka riialaste vaateid.³⁶ Autori poliitiline satiir on õnnestunud, see vastab talupoegade elu üldisele olukorrale. Õnnestumist näitab kõigepealt laulu kolmesaja-aastane püsimine nii kirjalikus kui ka suulises traditsioonis mitmeis variantides. See maksab nii liivlaste, lätlaste kui ka eestlaste olukorra kohta, kuigi on küsitav, kas Hasentödter kunagi eestlaste alal on liikunud. Laulu on kasutanud ka vabameelsemad luterlikud pastorid propagandavahendina talupoegade juures, nagu on andmeid kroonikaist.³⁷ Et laul võis tekkida linlaste, mitte talupoegade hulgas ja et seda tuleks pidada linlaste satiiriliseks kriitikaks feodaalide suhtes, seda näib toetavat ka üks värss, mis esineb mitmes tekstis. Nõnda esineb Oleariuse tekstis 1647. a.: „Ich gebe dem *Pastor* die Pflicht.“ Samuti esineb *Pastor* Brandi ja Petri poolt avaldatud versioonides. Pastoriks nimetatakse enamasti (Baltimaail nähtavasti reeglipäraselt) luteri usu vaimulikke, kuigi juba 14. sajandil, s. o. katoliiklikul ajal kirikuladina *pastor* tähendas hingekarjast, koguduse vaimulikku. Pärast reformatiooni tähendas *pastor* peaaegu ainult luterlikku vaimulikku.³⁸

Linlased feodaalidevastase võitlusmeeleolu tekitajatena on käesolevas artiklis juba käsitlemist leidnud kõnelemata sellest, et juba 15. sajandil oli levinud satiirilise publitsistika traditsioon linlaste hulgas; 16. sajandil, nagu nägime, esines sel alal juba keelde ja repressioone (vt. Steinitz, ka Riekhoff).

Katoliku pappide kohta loodud laulu kasutati pärast reformatiooni üldist võitu kindlasti ka luterlike pastorite kohta, kellega rahvahulkadel ei olnudki paremad vahekorrad kui varem katoliku pappidega, samuti nähtavasti ka liberaalsematel saksa soost tegelestel.³⁹

Kuigi laul hästi kujutab talupoegade elutingimusi 16. sajandil ja oma mõttelaadilt vastab eesti feodalismiaegsele rahvaluulele, ei ole andmeid, et siin võiks konstateerida eesti rahvalaulude mõjusid. Tuleks pigem ütelda, et see on tekkinud täiesti iseseisvalt, on üks näide reformaatorite võitlusluulest, aga tüüpilist olukorda tabades suutis see väljendada ka talupoegade elutingimusi tõepäraselt ja

³⁵ Sebastian Münster, *Cosmographie*. Basel MDLXXXVIII, lk. Ncxix: Diss alles oder zum grössern theil, hab ich von dem erfahrenen Johann Hasentödter, so manich jar in Lyfflandt an den Herren Höfen vñ Gantzleyen gewesen, vñ viel erfahre hat.

³⁶ V. Niitemaa, m. t., lk. 254; L. Arbusow, *Livlands Geistlichkeit*, vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert. Dritter Nachtrag, Mitau 1913, lk. 77.

³⁷ S. Henning, m. t., lk. 85–86.

³⁸ J. ja W. Grimm, *Deutsches Wörterbuch* VII, Leipzig 1889.

³⁹ Vrd. näit. Balthasar Russowi kroonika (1578), uusväljaanne *Chronica der Prouintz Lyfflandt*, Riga 1857, lk. 43 jj.

kindlustas sellega endale elujõu rohkem kui kolmeks sajandiks, seniks, kuni talupoeg oli vabanenud feodaalkorra köidikuist.

Aga kas laulul pole eeskujusid mujaltki?

Hasentõdterist kaugemale Baltimaade literaatide ja ka Niitemaa arvamus ei küüni. Kui laulukene oleks Hasentõdteri originaal, tuleks autorit nimetada küllalt heaks kohalikkude olude tundjaks ja nende olude kunstiliseks sõnastajaks. Jääb siiski kahtlusi, kas oleme välja jõudnud algallikate juurde. Ja kust otsida edasi? Varem ilmunud tuntumad saksa vanade rahvalaulude kogud midagi sellist ei sisalda.⁴⁰ Nagu vastuseks ootustele ilmus 1954. a. Saksa Demokraatliku Vabariigi Teaduste Akadeemia poolt akadeemik W. Steinitz'i haruldaselt huvitav valikkogu „Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten“ I, kus leidub laulutüüp, milles kohtame meile tuttavaid värsirühmi, nagu näit. laulutüübis „Ich bin ein armer Bauer“ (nr. 17) seitsmes erinevas versioonis. Neist A („Die schwäbische Bauernklage“) sisaldab 31 neljavärsilist stroofi. Vaadelgem mõnd, milles leidub kokkulangevaid värsse:

1. Ach ich bin wol ein armer Baur,
Mein Leben wird mir mächtig saur,
Ich mein, ich könn oft nimmermehr:
Ach dass ich nie geboren wär!
2. Mein, horcht mir nur ein wenig zu:
Mit Wyden⁴¹ bind ich meine Schuh,
Kein Frucht hab ich schier in der Scheur
Und muss doch geben meine Steur.

Laulus tuuakse ette talupoja suur viletsus: kellele ta kõik peab oma makse maksma, kusjuures ta enda elutingimused on väga viletsad.

23. Bleibt mir nun etwas übrig dran,
So kauf ich drumb, so viel ich kann,
Salz, Kerzen, Karrensalb und Schmärr;
Dann ist der Säckel wieder leer.

Steinitz peab laulu pärinevaks 17. sajandist, mis, nagu ta ütleb, 17. ja 19. sajandi vahel on muutunud äärmiselt populaarseks.

⁴⁰ Nii ei leidu sel ega ligidasel teemal laule materjalirohkeis saksa rahvalaulude kogudes, nagu L. A. v. Arnim ja C. Brentano, Des Knaben Wunderhorn I—III (1807—1808); L. Uhland, Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder, Stuttgart u. Tiibingen 1844—1845; F. Böhme, Altdeutsches Liederbuch. Volkslieder der Deutschen nach Wort und Weise aus dem 12. bis zum 17. Jahrhundert, Leipzig, 1877; R. v. Liliencron, Deutsches Leben im Volkslied um 1530, Berlin—Stuttgart 1884. Selle ajastu arusaamadele vastavalt hoidutakse kõigepealt poliitilistel põhjustel selliste laulude avaldamisest. Böhme ütleb oma teose eessõnas, et poliitiline laul on väärtusetu (lk. XXXVII). On tähelepanndav, et Baltimaadel tsirkuleerivat talupoegade olukorda käsitlevat laulu tsiteeriti korduvalt reisikirjades ja kroonikais, Saksamaal leiduvaid ühiskonnakriitilisi laule, mida oli olemas, tsiteeritakse aga väga kõrvalistes kohtades (vt. Steinitz, m. t., lk. 20).

⁴¹ Versioon D: Mit Basten bind ich meine Schuh.

Steinitz ütleb: „Ich bin ein armer Bauer” on vanim talupojakaebus, mis 17.—19. sajandini on elanud ja rudimentidena veel käesolevalgi sajandil üles kirjutatud. Redaktsioon A kui vanim pärineb 17. sajandist ja kannab nime „Schwäbische Bauernklage”. Svaabimaal on tekst kõige täielikumalt säilinud. Redaktsioon B on 19. sajandi teisel poolel seotud talupoegade tavadega, kindlasti põhjusel, et talupojad olid veel 18. ja 19. sajandil alla surutud arvutu hulga väikeste ja suurte feodaalide poolt. Leidub ka teisi väiketetalunike häda kujutavaid laule, neist mõned moodustavad mainitud laulu järelkaja (Steinitzi järgi nr. 49). Sama lauluga on ligidalt seotud ka „Das Bauernwerk ist nichts mehr wert” (vt. Steinitz nr. 17^a):

„Zwey schöne neue weltliche Lieder / Das Erste: / Die Schwäbische / Bawren-Klag, / Wie sich der Baur beklagt wegen der / grossen Contribution vnd Beschwärnussen. / Im Thon: Man sings oder sags, so ist es doch wahr, etc. / Oder: Wie man den Bäyerischen Bauern singt . . .” (lk. 53).

Kuna aga Liivimaad käsitleva laulu tekstid pärinevad 16. sajandist, siis võib, erinevalt Steinitzist, arvata, et ka švaabide laul pärineb 16. sajandist, olles ise eeskujuks olnud Liivimaa talupojalaulu tekkimisel. Liivimaa talupojalaulu on teinud populaarseks mitmesugused kroonikad.

Kas Liivimaad käsitlev epigramm on kasutamist leidnud koos meloodiaga või seda deklameeriti, selle kohta on andmete puudusel raske midagi ütelda. Küll aga on saksa vastaval laulukesel olnud mitugi meloodiat (vt. nooti).

55

17.^C Ich bin ein armer Bauer.



1. Ei, Pau-er, lie-wer Pau-er, dos La-we fällt mer sau-er, dos



La - we fällt mer a su schwer, ich wollt', dos ich kae Pau - er wär'.

56

17.^E Ich bin ein armer Bauer.

Klagend



1. O, ich ar - mer Loth - rin - ger Bur, wie isch mir das Lä - we sur!

148



Ich wäs nit enn unn wäs nit uss, am sam-me-fel - le isch min Huss.

Nende paari kokkulangeva stroofi põhjal võib siiski järeldada, et švaabi talupoegade rahvalaulu ja Liivimaa talupoja kohta reformatsiooniajal loodud laulu vahel valitseb kindel seos: Liivimaa talupoja laul baseerub švaabi rahvalaulul, igatahes mitte vastupidi. Selle autor pidi švaabi talupoegade laulu tundma. Ja ongi võimalik, et selle looja, saksa talupoegade revolutsioonilisest liikumisest osavõtja, vähemalt sellele kaasatundja, siirdunud oma kodumaalt Liivimaale, kohandas talle tuntud laulu siinsetele oludele ja rakendas selle niisugusel viisil revolutsioonilise võitluse teenistusse. Ei ole siis võimatu, et ümberloojaks oli Riiga siirdunud Johann Hasentödter, seesama mees, kes tehes kaastööd Sebastian Münsterile, saatis talupoegade olukorra kirjeldamiseks ka vaadeldava laulu. Igatahes võib teksti põhjal oletada, et satiiri loojas on meil tegemist inimesega, kes suhtub sümpaatiaga talurahvasse ja püüab tema vastu vähemalt kaastunnet äratada.

К ИСТОРИИ ОДНОЙ ПЕСНИ О ЛИВОНИИ НА НИЖНЕ- НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ („ICK BIN EEN LIEFFLÄNDISCH BUER“)

Доц., канд. филол. наук Э. Лаугасте

Кафедра эстонской литературы и фольклора

Резюме

В своей хронике „Liffeländische Churländische Chronika“ Саломон Геннинг приводит под 1590 годом рифмованную сатирическую песню на ниже-немецком языке, в которой изображается положение крестьянина в Ливонии и высказываются следующие мысли:

1) условия жизни крестьянина очень тяжелы; 2) он должен всю свою жизнь работать для обогащения помещиков; 3) он должен платить подати церкви, хотя ничего не знает о слове божием.

Эта песня пользовалась популярностью начиная со второй половины XVI века вплоть до текущего столетия как в литературе, так, повидимому, и в устной традиции. Помимо хроники Геннинга, её текст приводится также в хрониках Эйнгорна (1649), Кельха (1695), Гиэрна (1794), в описании путешествия Олеария (1647), в этнографическо-историческом труде Петри „Ehstland und die Ehsten“ II (1802) и в ряде других источников.

В литературе было много споров о происхождении этой песни. Её считали народной песней и даже переводом эстонской народной песни на ниже-немецкий язык, так как в сжатой и меткой форме она правдиво характеризует положение ливонского крестьянина в период феодализма. В действительности мы имеем здесь дело с переработкой швабской народной песни; эта переработка принадлежит перу одного из представителей революционного лагеря реформации, который после несчастного исхода крестьянской войны в Германии бежал, спасаясь от репрессий, в Ливонию. С большой долей вероятности этим лицом считают гессенского поэта Иоганна Газентёдера, который в 1547 г. жил в Риге и собирал сведения о Ливонии для Себастьяна Мюнстера. Мюнстер ценил Газентёдера как хорошего знатока местных условий.

Принимая во внимание содержание песни и все другие данные о положении крестьян в Ливонии, необходимо отвергнуть и точку

зрения прибалтийско-немецкого исследователя Т. Ф. Рикгофа, который утверждал, что песня эта может восходить лишь ко времени русско-ливонской войны, так как до этого положение крестьян в Ливонии было якобы даже завидным. Между тем хроника Руссова, на которую ссылается Рикгоф, свидетельствует о противоположном, а Мюнстер в своей опубликованной в 1559 г., но написанной ранее космографии прямо говорит: „Non est miserabilior populus in orbe, quam illi fueri.”

Таким образом, имеются достаточные основания полагать, что создателем рассматриваемой песни является участник революционного движения немецких крестьян или, по крайней мере, сочувствующий этому движению. Найдя убежище в Ливонии, он приспособил известную ему немецкую песню к местным условиям, тем самым сделав её оружием революционной борьбы. Этим лицом несомненно мог быть Иоганн Газентёдтер. Во всяком случае из текста песни видно, что в создателе этого сатирического произведения мы имеем дело с человеком, который с симпатией относился к крестьянству и стремился вызвать сочувствие к его тяжелой доле.

OLUKIRJELDUSE KUI ŽANRI KUJUNEMISEST XIX SAJ. EESTI PUBLITSISTIKAS

Filoloogiateaduste kandidaat J. Peegel

Eesti keele kateeder

1.

Olukirjelduseks (vene k. очерк) kutsume tänapäeva žurnalistikas publitsistlik-ilukirjanduslikku žanri, mille kõige üldisemateks, peamisteks piiritusjoonteks peame teema aktuaalsust ja kaasaegsust, sisu tunnetuslikkust, mis põhineb tegelikkusest vahetult saadud faktidel, ning vormi kunstikavatsuslikkust, kirjanduslikkust.¹ Eriti M. Gorki on selle žanri sotsiaal-pedagoogilisest tähtsusest kõneldes rõhutanud just olukirjelduse tunnetuslikku külge, s. o. olukirjelduse faktide tihedust, tõepärasust ning konkreetsust, mis peab ulatuma sellise tasemeni, et lugejal oleks võimalik olukirjelduse põhjal oma teadmisi täiendada, midagi õppida. Gorki kirjutab: „Iialgi pole sõnakunst teeninud nii innukalt ja nii edukalt elu tunnetamise üritust. See nähtub eriti hästi „olukirjeldustest“ ...

Olukirjelduste arvukas hulk — see on nähtus, millist meie kirjanduses veel pole olnud. Mitte iialgi, mitte kuskil pole oma maa tunnetamise suurima tähtsusega üritus edenenu nii kiiresti ja nii õnnestunud vormis, nagu see toimub meil.”² Juhendades ajakirja „Naši dostiženia” kaastöölisi juhib Gorki veelkordselt tähelepanu olukirjelduse faktilisele alusele: „Põhimine, mis meil on vaja — see on elav olukirjeldus, varustatud piisavalt veenvate ja kergesti mõistetavate faktidega.”³ Sageli näitabki praktika, et olukirjeldus võib seista jutustuse ja uurimuse piirimail, nagu seda on väitnud ka Gorki. V. I. Lenin on oma teaduslikus uurimuses „Kapitalismi arenemine Venemaal” korduvalt toetunud G. Uspenski olukirjeldus-

¹ Vrd. Б. Полевой, Очерк в газете (Лекция, прочитанная в Высшей партийной школе при ЦК КПСС), Москва 1953, lk. 4—11.

² М. Горький, Kirjandusest, Tallinn 1948, lk. 48, 49.

³ Горький о литературе, Москва 1953, lk. 355.

tes toodud faktidele, millel on seega tõeärasuse ja konkreetsuse poolest olnud teaduslikult arvestatav kaalukus.⁴

Faktide reaalsuse ja konkreetsuse nõudest lähtudes on sageli väidetud, et olukirjeldus on ainult siis olukirjeldus, kui see on kirjutatud „täpsel aadressil”, s. o. esitab tegelikkuses eksisteerivaid inimesi ja kohti nende õige nimega. Teiste sõnadega: „täpse aadressi” nõue on tehtud üheks žanri peamiseks tunnuseks. See seisukoht peegeldub ka ühes kõige värskemal kirjandusteoreetilises teatmeteoses — L. Timofejevi ja N. Vengrovi raamatus „Краткий словарь литературоведческих терминов” (Москва 1955)⁵.

Seesugune tõlgendus on kahtlemata kitsas. On tõsi, et enamik kaasaja (ja just ajalehtedes ilmuvaist) olukirjeldustest on suurema löögijõu saavutamiseks „täpse aadressiga”. Olukirjelduse ajaloolisi traditsioone jälgides pole see aga ainumääravaid või peamisi tunnuseid. Kaugelt kaaluvamate ja sagedamini avalduvate erijoonetena võiksid seevastu kõne alla tulla süžee puudumine või nõrk arendus ja autoripoolse suhtumise vahetum avaldumine olukirjelduses.⁶ Gorki esitab olukirjanikena Gleb Uspenskit ja Guy de Maupassant'i, Saltõkov-Stšedrini, Pissemskit, Leskovi, Sleptsovi, Pomjalovskit ja Korolenkot, peab isegi Turgenevi „Küti kirju” olukirjeldusteks⁷, olgugi et loetletud kirjanikud on väga harva kasutanud „täpset aadressi”.

Ka L. Tolstoi „Sevastopoli jutustused” kuuluvad siia žanri nagu ka N. Radištševi teos „Teekond Peterburist Moskva”.⁸

Niisiis, olukirjelduse dokumentaalsusest kõneldes mõtleme seda, et olukirjelduse aluseks on küll kaasaja tegelikkuses tõepoolest eksisteerivad faktid, mida aga olukirjanik võib esitada ka tegelaste õigeid nimesid nimetamata ja täpset tegevuskohta märkimata. Sellist tüüpi on kaasaegsetest nõukogude olukirjeldustest näit. V. Ovetškini „Rajooni argipäev”. Seejuures jääb loomulikult kehtivaks faktide valik ja esiletõstmine nende tüüpilisuse alusel ning „väljamõeldu” (õigemini „juurdemõeldu”) kunstikavatsuslik kasutamine.

On kergesti mõistetav, miks nõukogude žurnalistika olukirjelduse žanri väga kõrgelt hindab: selles žanris ühineb tegelikkusest saadud faktide veenev jõud kunstilise sõna emotsiooniga. Seepärast on olukirjeldus üks loetavamaid ja mõjukamaid ajalehežanre üldse.

⁴ Vrd. V. I. Lenin, Teosed, III kd., lk. 124, 499. Uurimuslik kallak on kaasaja olukirjeldustest näit. M. Šaginjani kogul „Matk läbi Nõukogude Armeenia”, Tallinn 1954.

⁵ Vt. lk. 93.

⁶ Vrd. В. Катинов, Традиции военного очерка, альманах «Год тридцать восьмой», lk. 323—324.

⁷ М. Горький, Kirjandusest, Tallinn 1948, lk. 48.

⁸ Vrd. Б. Полевой, Очерк в газете, lk. 11—12; В. Максимова, Полноправность жанра, альманах «Год тридцать восьмой», Москва 1955, lk. 305.

Esitasime eeltoodud lühikese analüüsi olukirjelduse olemusest selleks, et mõista, millisel seisukohalt käsitatakse olukirjelduse mõistet alljärgnevais märkmetes selle žanri kujunemise kohta möödunud sajandi eesti publitsistikas.

2.

Eesti ajakirjanduse hälliperioodi XVIII saj. II poolest, alates P. E. Wilde — A. W. Hupeli nädalalehega „Lühhike õppetused...”⁹ kuni möödunud sajandi kuuekümnendate aastateni, iseloomustab publitsistlike žanride piiride üldine hägusus. Võiks koguni öelda: meie varasemas ajakirjanduses kasutatakse üht universaalset žanri, mille alla mahub kõik, mis lehes kirjutati. Kõige iseloomulikum selles suhtes on meie ajakirjanduse esiklaps — eespool mainitud „Lühhike õppetused...”. Teatavasti sisaldab see nädalaleht peale arstiteaduslike nõuannete veel üsna märkimisväärses ulatuses muusisulistki materjali (võitlus ebaisu ja joomise vastu; majapidamise, põlluharimise, hariduse jms. küsimused), kuid esitatud on see kõik ühe „jutuna”. Eritemaatilisi ühikuid pole isegi mitte puhtväliselt, pealkirjade abil eraldatud. Oma materjalirohkusest ning mitmekesisusest väikesele entsüklopeediale sarnanev O. W. Masingu publitsistlik „Pühhapäwa Wahhe-luggemissed” (1818), mis oli kavandatud samuti perioodilise väljaandena, tallab žanrilisuse suhtes sama teed. Siin on siiski, kuigi mitte järjekindlalt, kasutatud ala-pealkirju ja sõrendusi. Väljenduslaad on aga samuti ühesugune, olenemata käsitletava sisust ja teemast.

Žanride arenemise seisukohalt on kahtlemata sammuks edasi sama autori „Marahwa Näddala-Leht” (1821—1823; 1825). Selles nädalalehes võime enam-vähem eristada informatsiooni („Teädussed”), peamiselt sõnumite, teadaannete, statistiliste kokkuvõtete jms. näol ning kriitikat ja bibliograafiat, avaldatuna eri rubriigis pealkirja all „Kirja ja õppetusse asjust”. Samuti võime konstateerida ajakirjanduse ülevaate algeid.¹⁰ Valdava osa ruumist aga võtab enda alla kirjeldav materjal, mida on raske, kui mitte võimatu mahutada artikli mõiste alla. Sellelaadilise materjali hulka kuuluvad geograafilised, etnograafilised, folkloristlikud kirjeldused ning teatmelised kirjutised, loodusnähtuste ning tehnikasaavutuste tutvustamise katsed, millega Masing taotles rahvavalgustuslikke eesmärke, püüdis talurahva silmaringi laiendada ilmlike teadmistega.

Seesugune ilmlikke teadmisi pakkuv kirjeldav-entsüklopeediline materjal ei moodusta Masingul veel mingit omaette žanri. Kuigi me võisime üht või teist žanri „Marahwa Näddala-Lehtes” eristada, siis jääb see jaotus ikkagi ainult sisuliseks. Vormilt ja stiililt žan-

⁹ „Lühhike õppetused mis sees monned head rohhud täeda antakse, ni hästi inimeste kui weiste haigusse ning wiggaduste wasto...” Põltsamaa 1766.

¹⁰ Vrd. „Marahwa Näddala-Leht” 1823, lk. 87—88, 141—142; 1825, lk. 185.

ride vahe silma ei torka. Ka „Marahwa Näddala-Lehhes” paisub sõnum kirjelduseks, imepärase juhtumi ümberjutustus publitsistlikuks moraaliks jne. Nii meelitab teade heast heeringasaagist Norramaal Masingut andma ka vastava lühikese geograafilise kirjelduse¹¹, teade ühe šotlase pikast elueast toob kaasa ka Šotimaa geograafilis-olustikulise kirjelduse¹² jne. Kuid selle kõrval sisaldavad Masingu mõlemad väljaanded ka iseseisvaid, eraldi antud kirjeldusi. Märgime näit. „Pühhapäwa Wahhe-luggemiste” kirjeldavat avatsükli „Innimessest”, kirjeldusi Lapimaast ja laplastest, Kamtsatkast ja selle elanikest, eskimotest, Indiast ja selle maa olustikust jne. „Marahwa Näddala-Leht” on toonud väga rohkesti geograafilist teatmematerjali. Märgitagu siinkohal kaalukamaid kirjutusi, nagu näit. 1821. aastakäigust „Kurresaar ehk Sarema” (lk. 132), millele järgneb ka Muhumaa kirjeldus ja seeria „Lihwlandi ma” ning tema linnade kohta; 1825. aastast kirjeldust Kamtsatkamaast (lk. 111), Koolamaast (lk. 158), Soomest (lk. 161) jne. Kui siia liita veel populaarteaduslikud kirjutused maailma ehituse, loodusnähtuste, tervishoiu, ajaloo jms. valdkonnast, siis oli Masingu publitsistikal suur tähtsus talurahva silmaringi laiendamisel.

Eesti publitsistika žanride arenemise ajaloo seisukohalt tuleb meie teatmelis-entsüklopeedilistes kirjutustes näha uue žanri — nimelt olukirjelduse tekkimise algeid, eriti mis puutub just geograafilis-etnograafilisse materjali, mis löi eeldused eeskätt kahe olukirjelduse liigi — matkakirjelduse ja olustikukirjelduse tekkimiseks. Selles materjalis on n. ö. algeos esindatud kaks olukirjelduse kui žanri peamist tunnust: esiteks on materjal kaasaegne (kuigi mitte alati aktuaalne), teiseks — sellel on suur tunnetuslik väärtus: kirjeldused pakuvad palju konkreetset, kaasaegse teaduse poolt põhjendatud faktilist materjali. Võidakse vastu vaielda, et kolmas ning lahutamatu nõue, vormikirjanduslikkus ei ole täidetud.

Kui me tänapäeval kirjakeele raamides eristame peamiselt nelja eri stiili (publitsistlik, ametlik-dokumentaalne, teaduslik ja episoolaarne)¹³, millest ilukirjanduse keel eraldi või „kõrgemal” seisab¹⁴ oma kujundilisusel põhineva emotsionaalsusega, siis tollal oli eesti keeles eri stiilide vahe veel peaaegu kujunemata. Valitsev oli kiriklik stiil, mis vajutas oma pitseri keele kasutamisele tema erinevates sfäärides ja funktsioonides. Sellest stiilide eristamatusest siis tulenebki see asjaolu, et XVIII saj. lõpu ja XIX saj. I poole ilukirjanduslike teoste nimetusele pretendeerivate raamatute keelelis-stiililine vorm erineb nii vähe piibli, publitsistika või seaduseraamatute üldisest väljenduslaadist. Keele eri stiile ja ilukirjanduse keelt ei

¹¹ „Marahwa Näddala-Leht”, 1823, lk. 209.

¹² Sealsamas, lk. 321.

¹³ А. И. Ефимов, О языке художественных произведений, Москва 1954, lk. 11—12.

¹⁴ Н. И. Филичева, Е. Riesel, Abriss der deutschen Stilistik (retsensoon). „Вопросы языкознания” 1955, nr. 4, lk. 135.

saa ju lahti rebida antud epohhi kirjakeele üldisest tasemest. Sellelt seisukohalt, historismi printsiibist lähtudes, peame lahendama vaadeldavate kirjelduste sõnalise vormi küsimust. Küsimust niiviisi käsitledes peame tõele au andes ütleva, et Masingu keel on oma aja kohta tihti vägagi kujundirikas. Illustreerigu seda väidet näit. alljärgnev lühike tsitaat Aafrika kirjeldusest:

„Seal ep olle puud egga кандu, ei wõssu egga rohho taimekest; ei hallikad egga wee sonekest, kui aga aina põllewad liwa, mis paljast jalga ei kannata, wait kui tulleahjo lõhn, teekäija kinga tal-ladki kokko kortsotab. Päike seisab seal innimesse pea lae kohhal; paistab lodis kuiwa kerge liwa peale, mis, kui tuul kangeste käib, nenda sammoti tuiskab kui lummi.”¹⁵

Nagu juba öeldud, võime taolises kirjeldavas materjalis näha mitte väljakujunenud olukirjeldusi, vaid olukirjelduse žanrilisi algeid, sest ükski neist kirjeldustest ei jäta tervikliku, lõpetatud publitsistlik-ilukirjandusliku väiketeose muljet.

Kuid mis on vahest veelgi tähtsam: just neis olukirjeldusele lähedastes kirjeldustes on Masing aluse pannud ka meie möödunud sajandi olukirjelduse progressiivseile sisulistele traditsioonidele. Just vastavas materjalis avalduvad vahest kõige selgemini Masingu ideoloogilised tõekspidamised, mis on omased ka paljudele hilisemaile progressiivseile olukirjeldustele.

Sellise progressiivse ideoloogilise suunana märgime eelkõige rassivaenu puudumist. Tsiteeritagu selle kohta tema „Pühhapäwa Wahhe-luggemiste” avakirjeldust „Innimesest”:

„Innimesed mis keige maa peäl on ellamas, on karwa, wäljast piddi kombe, kele ja ello wiside polest ni mitmesuggused, et kui sa igga suggu rahwa seast ühhe wõttaksid, ja neid keik teine teise kõrwa rinda panneksid, sinno silmad sedda ei ussuks, et need keik ühhe essiwannemite järgmissed, Adama lapsed, ja sino wennaksed peaksid ollema. Ometige se nenda on, et keik innimesed, kel ma peäl asset, aina üks perrekond; üks lihha ja werri, üks ja sesamma muld, ning ühhe ja sellesamma taewa Issa toidetawad lapsed on.”¹⁶

Rasside erinevuse seob Masing erinevate kliimaatiliste tingimustega, pidamata üht rassi teisest kõrgemaks või paremaks.¹⁷ Rahvaste omapära ei tule laita, see tuleneb nende erinevaist elutingimustest, arvab Masing õigesti: „Iggal maal teine rahwas, ning iggal rahwal omma wiis. Sest siis kegi neid senne pärast ei wõi laita — ning tulleb arwata, et issi teawad, mis neie kõhhas parrem on.”¹⁸ Iga rahva puhul tõstab Masing esile selle parimaid iseloomujooni. Ta kiidab laplaste mõistlikkust ning vargusehimu puudumist,¹⁹ eskimote kohta ütlev ta: „Sesinnane rahwas on üks tassane, tark ja terrane rahwas, sest et peatoidusse murre neid sunnib mõt-

¹⁵ „Pühhapäwa Wahhe-luggemissed”, 1818, lk. 3.

¹⁶ Sealsamas, lk. 1.

¹⁷ Sealsamas, lk. 2.

¹⁸ Sealsamas, lk. 26.

¹⁹ Sealsamas, lk. 22.

lema ja arwama, kuidas sedda, mis tarwis, merrest wõiks kätte-sada.”²⁰

Teise iseloomuliku joonena märgitagu Masingu sügawat h u m a - n i s m i, mis moodustab lahutamatu osa tema valgustuslikest vaa-detest. Kirjeldades näiteks pärlipüüki Vaikse ookeani vetes, tunneb ta kaasa pärismaalastele, kes peavad pärlite järele merepõhja sukelduma:

„On se kül üks willets põlw mis tuukrille ossaks sanud . . . Mitto kõrd kui jälle we peäle tõuseb, tulleb werri suust, silmist, kõrwist ja ninnast wälja: egga sa need inimessed wannaks, kes sedda tõed tewad.”²¹

Salgamata seda, et Masingu pastorina pidas rikkust ning waesust, „ülemaid” ja „alamaid” jumalast seatuks, tuleks siiski veel rõhutada tema sügawat poolehoidu lihtsate tööinimesele ja tööle kui hüvede loojale, kusjuures Masing ei jäta märkimata, et p u u d u s on see, mis tööinimest sunnib valima kõige ohtlikumaidki elukutseid. Kuulakem alljärgnevalt tema arutlust töö ja lihtsate tööinimeste sangarluse kohta:

„Waat! need inimessed kes keige laiema merre peäle usaldawad, kus ei teed egga radda; ehk, kes Ahwrika liwamerredest läbbi käiwad; kes kewwade Egiptuse põlletawa päwa äggedusses reisi-mas, ja süggise keige külmemas põhja merres Wallaskalla püüdmas; kas need kül senna lähheksid; kodda, maja, naest ja lapsi mahhajättaksid; kui ni palju joudu olleks, et ellamisse polest murreta wõiksid olla? Ei minna sedda ussu koggoniste. Ning nüüd küssi: miks nemmad senna lähhewad? Miks? — sedda toma, õtsima ja püüdma, mis meil ja ni mitmel tarwis, agga mis ommast käst ep olle, ning selle pärrast sedda kaugelt peame murretsema.

Ostame linnast sola; leiame sedda seäl poes walmis seiswad, ning wägga hea meel, et teame kust sedda sada kui tarwis: agga kust ta senna tullis? Kaugelt maalt. Kes tedda tõi? Mehhed, kes ei tulest, ei merre laenetamisest egga woude kõhhisemisest luggu piddanud, waid julgeste oma nõu peale toetes, ja Jummal kätte ennast uskudes, merre kaudo võera ma ja rahwa pole tõttasid, sedda toma, mis meil igga päew waja lähhe, agga mis ennesse käest polle wõtta. Kes need keik rikkad kes sesugguse asja peale julgewad? Ei koggonistel waid nisugused, kes omma palle higgsi sees omma iggapäwast leiba püüdwad; omma perret ja lapsi oma tõe waewaga toitwad, ning sellega isikeskist head ja kassu toimitawad.”²²

Need põhiideed, mis leiavad selgeima väljenduse just olukirjel-dusele lähedases kirjeldavas materjalis, pole omased mitte ainult „Pühhapäwa Wahhe-luggemistele”, vaid kajastuvad samuti ka

²⁰ „Pühhapäwa Wahhe-luggemissed”, 1818, lk. 47.

²¹ Sealsamas, lk. 64, 65.

²² Sealsamas lk. 43—44.

„Marahwa Näddala-Lehhes”. Eriti kehtib see Masingu humanistlike ja antirassistlike vaadete kohta.²³

Masingu publitsistika suur populaarsus ning traditsiooni tekitav mõju põhineb just mainitud kirjeldustel, mis rikastasid talupojast lugeja mõistust ning kujutlust. Masingu poolt loodud traditsioonid on Fr. R. Kreutzwaldi virgutanud eesti esimese illustreeritud almanahhi „Ma-ilm ja mõnda, mis seal sees leida on” (1848—1849) väljaandmisele, nagu ta märgib esimeses andes leiduvas eessõnas.²⁴

„Ma-ilm ja mõnda...” oma geograafiliste ja populaarteaduslike kirjeldustega ongi jätkuks Masingu vastavatuübilistele kirjeldustele, milles sisaldasid olukirjelduse alged. Kõige lähedasematena sellele žanrituübile märgitagu näit. järgmisi palasid: „Islandi saar” (lk. 75—77); „Neapeli linn” (lk. 102—104), „Tarto vana toompäkirriko mürid” (lk. 144—147), samuti „Roma linn” (lk. 46—51), „Londoni linn” (lk. 78—79) jms. Lähtunud nende kirjelduste loomisel võõrastest eeskujudest,²⁵ ei suutnud Kreutzwald kaasa aidata olukirjelduse žanriliste tunnuste lõplikule väljaarendamisele. Kuid Masinguga võrreldes on Kreutzwald meie olukirjelduse algete ideesisu oluliselt rikastanud, tuues sisse kiriku- ning pappide v a s t a s e suhtumise. Kirjeldades näit. Napoli makaronisorte teeb Kreutzwald järgmise iroonilise märkuse:

„Kõige jämedam [makaronide] suggu nimetakse pappikägista jaks, sest et mõni paksomaoga munk ehk juhtub mõnekorra kallist roga ülleliga wõtma, mis pärrast pakkitust teeb ja watsa rebbenema kippub!”²⁶

Või lugegem märkust Tartu toomkiriku tules hukkumise juurde: „Näitab luggo kui olleksid pappid ka märitud päga [= purjus] ösel sāngi puggenud, sest nemad ei sanud kirriko põllemisest enne sõnumid kui teisel ommikul, kus parrajalt kirriko minemisele ennast walmistasid.”²⁷ Kirjutades Viini Stefani kiriku hiiglakellast ei saa Kreutzwald hoiduda tähendusest, et: „Sedda kella nähhes lähheks suuremal ulgal meie maa kirriko-meeste püksid sõeluma.”²⁸

Islandi saare kirjeldusse põimib Kreutzwald oma võitleva seisukohavõtu folkloori kaitseks, vihjates kaudselt ka kiriku halvustavale suhtumisele rahvaluulesse. Ta kirjutab:

„Ja ehk nemad [= Islandi elanikud] kül wägga arrit ja ussu poolest kindlamat ristirahwas kui meie, siiski ei pea keddagi wana laulo ega juttu-sõna pattuks! —”²⁹

²³ Vrd. näit. „Marahwa Näddala-Leht”, 1822, lk. 165; 1823, lk. 169; 1825, lk. 245—246 jm.

²⁴ „Ma-ilm ja mõnda...”, lk. 2.

²⁵ Vt. Fr. R. Kreutzwald, Teosed. Maailm ja mõnda, Tallinn 1953, lk. 478.

²⁶ „Ma-ilm ja mõnda...”, lk. 104.

²⁷ Sealsamas, lk. 147.

²⁸ Sealsamas, lk. 111.

²⁹ Sealsamas, lk. 75.

Ka ajalehe „Perno Postimees ehk Näddalileht” varasemad aastakäigud jätkavad rohkete geograafiliste kirjelduste avaldamist peamiselt misjonitööd käsitlevas rubriigis („Sannumed pagganatest”). Märgitagu siingi tunnustavalt Jannseni humanismi, tema kriitikat vaestele „paganatele” tehtud ülekohtu pärast, mis kohati üsnagi konkreetset ning eredalt silma paistab. Toome selle illustreerimiseks ühe näite Jannseni „Ahwrikama” kirjeldusest:

„Paljo on sest hirmsast ülekohtust kirjutud ja rägitud, mis Hispania ja muud ristirahwas West-Indiamaal waeste ostetud Neegri-orjadele teggid ja otsast weel praego tewad; agga mis Hollandi rentnikud Kapmaal Hottentottidele teggid, polnud wist mitte wähem. Naggo Westindias, nenda lendas ka siin nahkpiits hommikust õhtoni.”³⁰

Edasi toob ta konkreetseid näiteid hollandi kolonisaatorite hirmutegudest:

„Üks kurri rentnik põlletas kord ühhe [hottentoti] ellusalt ärra ja siddus teise pu külge kinni, leikas tükki lihha mahha ja sundis waest innimest ta omma lihha ärrasõma. Se olli „auwäärtristi-innimmene!”

Olgo sest kül. Südda hakkab lökkima. Ma küssin nüüd: kelle sü se olli, et Hottentottid ni tuimaks jäid, kui lojuksed, et omma lapsi lasksid ärra warrastada, omma naesi ja tütrid omma silma al ärra naerda ja iseennast piitsaga peksta ja püssiga laska? Kui rentnikud keik ennestele risusid, mis Hottentottid teggid, kelle sü olli siis, et nemmad laisaks jäid? Oi, palju on risti rahwal ka nende pärrast wasto rindo lüäl! —”³¹

Niisiis võime konstateerida, et meie varasemas publitsistikas, eeskätt Masingu ja Kreutzwaldi kirjutustes on olemas niihästi olukirjelduse (peamiselt matka- ja olustikukirjelduse) žanrilised alged kui ka need progressiivsed ideed, millest lähtudes võis toimuda selle žanri edasine arenemine siis, kui oli suudetud panna kindel alus pidevalt ilmuvale ajakirjandusele Eestis, mis toimus J. W. Jannseni „Perno Postimehe ehk Näddalilehhe” ilmumahakkamisega 1857. aastal. Nagu öeldud, jätkas ka Jannsen „Perno Postimehe” varasemais aastakäikudes ise neid traditsioone.

3.

Üks esimesi olukirjelduse liike, mis möödunud sajandi 50—60ndail aastail juba selgepiiriliste žanriliste tunnustega eristuma hakkas, oli matkakirjeldus. Nagu juba öeldud, tuleb teetasandajaiks sellele olukirjelduse liigile pidada eelnevalt käsitletud rohket teatmelist materjali pakkuvaid geograafilisi kirjeldusi ning ka matkakirjeldusi-tõlkeid (näit. Kreutzwaldi „Maa ja mere piltid”).

³⁰ „Perno Postimees”, 1857/58, lk. 240.

³¹ Sealsamas, lk. 241.

Vene impeeriumi piirides võis ka kõige tavalisem eestlane juba ammu teha „kroonu” kulul — soldatina või väljasaadetuna — üsna pikki reise. Suurem osa taolistest „matkameestest” aga oli liiga kogenematu oma reisimuljete jagamiseks trükisõnas. 60—70-ndail aastail muutusid tavalisteks reisid Peterburisse ja Riiga, hiljem Soome ning Lääne-Euroopasse.

Huvitava kõrvalepõikena märgitagu, et möödunud sajandi 70-ndail aastail oli meil isegi „elukutselisi” matkureid. Üheks selliseks oli Telliste mõisa opmani poeg Robert Kerber Sangastel. See mees võttis muuhulgas osa Ameerika Ühendriikide kodusõjast teise teadaoleva eestlasena kunstnik Amandus Adamsoni isa kõrval.³² Fr. Kuhlbars kirjutab Kerberi kohta järgmiselt: „Ta mõistab kõike maade keeled nii, et kusagil kinni ei jäänud, ta tunneb ja teab Aasia, Eüropa ja Amerika rahva elukombeid kui keegi muu: ta on Samojeedi rahva telgide al põdra liha söönud ja Hiina rahvaga teemärga joonud, ta on Tungusi rahva Jumalide ehk Purkanide jalgade ees istunud ja kaks kuud Mormonide katukse al elanud.”³³

Aga esimeste eesti matkakirjelduste autoreiks ei ole sagedasti reise sooritanud intelligendid ega ka rännukirest aetud matkurid, vaid just „kroonumehed”, kelle väeülemuse käsul sooritatud reisid olid tihti peale vägagi pikad.

Üks esimestest kroonumeestest, kes oma sulge proovib, on „Soldat Karel” (C. G. Greenwaldt), nagu Jannsen teda nimetab, kes Soomes vabatahtlikuna kroonut teenides jutustab oma muljeid ning tähelepanekuid. „Perno Postimehe” 1858/59. aastakäik sisaldab kaks niisugust „raamatut”, s. o. kirja,³⁴ mis kujutavad endast matkakirjelduse katset, kusjuures teine kiri oma põhilaadilt küll mõnevõrra kõrvale kaldub.

Väärib märkimist selle soldati küllaltki julge toon, kui ta Soome olusid kodumaa omadega kõrvutades sarjab saksu, pastoreid ning kadakaid. Illustreerigu seda mõned alljärgnevad näited.

Sattunud Soomes juhuslikult pulma, mida peeti postijaama pidava talupoja juures, märgib autor kohe algul, et „Somemaal polle mitte jama kommissäri „härrad” (!) kui Eestimaal, ja üks tallopoeg wõib ka jama sisse minna kas õmaiale ehk mu tarbe asjale...”³⁵

Vesteldes pulmas maja peremehega väljendab autor, et „... Tallinnamaal petakse sedda alwaks ja häbbiks, kes „rummalat” ma keelt rägib ja ma kele ramatuid loeb, ja pealegi need, kes kord mõisa perrelualul süa sanud ehk kord „sakste” tõlla tagga linna sõitnud, ostawad ommale tühje saksakele ramatuid, kust isse arrugi ei sa ja ammugi middagi ei wõi õppida. — Mis Soomlane mulle

³² Vt. O. Urgan, Reisikirjeldise minevikust ja olevikust, „Eesti Kirjandus” 1931, lk. 577 jj.

³³ „Eesti Postimees” 1870, nr. 42.

³⁴ Vt. „Perno Postimees” 1858/1859, nr. 22, 23, 31, 32, 34, 38.

³⁵ „Perno Postimees” 1858/59, lk. 178.

selle peäle wastas, ei julge ma w'a sōbber sinnule üttelda, aga hea ta kül ei olnud, sedda wõid issegi mõttelda.”³⁶

Otse viimase piirini kasvab autori hämmeldus, kui pulmavõõraste hulka ilmub pastor, kes lihtsa mehe viisi „iggapāwast jutto aiab”, ning kui selgub, et pulma viiulimängija on — kohalik mõisnik. See põhjustab vägagi mürgiseid torkeid meie kirikisandate ning parunite pihta. Autor kirjutab:

„... meie kõstergi piddas ennast palju uhkemaks; nenda et, kui wahhel kegi ta juttule tahtis minna tundide wisi treppi peal ehk kolas sai odata enne kui „kõstre issand” heaks wõttis sind tuppa kutsuda, ja juhtus siis ka, et wahhest kuskil tallopoia urtsikus olli kas last ristimas ehk rõugid pannemas, rakis ta allati ni pene saksa murde peäl, ja nisuggustest suurtest asjadest, kust „lol” tallopoeg arrogi ei sanud; ja olli ta wahhel wel pahhas meles, — keik nenda kuidas ilm ehk te olli — siis tulnud musta egga walget suust wälja.”³⁷

Kibedusega meenutab kroonumees, kuidas kord sillul olles „... ühhel süggisel üks „saks”, kolm hobbust tõlla ees, meist möda aias, ja minna jälle ni ussinaste mütsi ta eest mahha ei sanud, mis peäle tõllast wälja tulli ja mulle suust silmist werre wälja löi.”³⁸

Teises kirjas võrdleb ta soome postipoisse meie omadega, sõitleb eestlaste rumalat uhkust, mis väljendub „sakstele” rõivastuses ja muus järeleahvimises.

Selle matkakirja muudavad aktuaalseks just niisugused paralleelid, mis lugejais kindlasti õhutasid viha ning rahulolematust kirikhärrade ja sakste ning üldse kehtiva ülekohtu vastu. „Soldat Kaarli” kirjades tuleb näha suurt sammu edasi kunstikūpse matkakirjelduse tekkimise suunas.

Möödunud sajandi kuuekümnendail aastail jõuab eesti matkakirjeldus juba tasemele, kus me seda võime pidada kõigi žanriliste tunnuste poolest täisväärtuslikuks olukirjelduseks. Siitpeale jääbki matkakirjeldus üheks kõige rohkem viljeldud olukirjelduse liigiks, kaasa arvatud ka kodanliku Eesti periood.

Kuuekümnendate aastate ja ühtlasi ka kogu möödunud sajandi üheks silmapaistvamaks matkakirjelduseks on tsaarilaevastikus teeninud eestlasest mereväehvitseri Jūri Jūrisoni teos „Eestimehe teekond ümber maailma „Askoldi” laeva peal”, mis on avaldatud kolmekümne eri kirja näol „Eesti Postimehes” aastail 1867—1869. Jūrison, olles juba varem olnud „Perno Postimehe” kaastööliseks, jagas siin eesti lugejaile muljeid, mida oli saanud korvetil „Askold” sooritatud pikal teekonnal, mis viis vene meremehi Kroonlinnast Vladivostokki, kusjuures külastati peale paljude Euroopa sadamate veel Lõuna-Ameerikat, Kaplinna, Jaavat, Hiinat ning Jaapanit.

Selle matkakirjelduse põhisuund on sügavalt demokraatlik. Jūrison esineb orjastatud koloniaalrahvaste südika kaitsjana, näi-

³⁶ „Perno Postimees” 1858/59, lk. 179.

³⁷ Sealsamas, lk. 187.

³⁸ Sealsamas, lk. 187—188.

dates pärisrahvaste julma kohtlemist hollandi, prantsuse ja inglise orjaperemeeste poolt. Eesti meremees lükkab korduvalt ümber legendi valgete moraalsest üleolekust teise nahavärvusega inimestest ja rõhutab paljudel puhkudel seda, kuidas valged ise pärisrahvaid moraalselt laostavad. Tema terava pilgu eest aga ei jää varju ka vastuolud ühe ja sama rahvuse eri klasside vahel, kusjuures ta märgib, et oma rahvusest rõhujad ei jää sageli maha võõramaistest kolonisaatoritest. Jürisonil on julgust ära tuua ka terav torge tsaarilaevastiku kõrgete ülemuste kohta, kes elavad Peterburis jõudeelu, tundmata eskaadrimeremeeste vaevast elu.

Välismaist olustikku kirjeldades tõmbab autor kogu aja paralleele kodumaaga. Seepärast ei ole Jürisoni matkakirjeldusel mitte ainult tunnetuslik väärtus, vaid tema ühiskonnakriitilised seisukohad panid eesti lugeja kindlasti ka mõtlema koduste raskete olude üle, äratasid viha ning protesti siinsete võõramaiste rõhujate ning nende eesti soost käsilaste vastu. Seepärast tuleb seda teost tema ühiskondlikust funktsioonist lähtudes kõrgelt hinnata.

Lisame veel juurde, et Jürisoni matkakirjeldus on kirjutatud elamuslikult, oma aja kohta vägagi nõtkes keeles. Kirjanduslikult nauditavad on matkakirjelduses esinevad portreevisandid, olustikupildid ja loodusekirjeldused, kus autoril on sageli korda läinud sõnaliste vahenditega edasi anda eksootika kirevat värvidegammat.

Kõike seda arvesse võttes kuulub „Eestimehe teekonnale” eesti progressiivse olukirjelduse ajaloos kõrget tunnustust vääriv koht. Tänapäeva lugejalegi on see praegu, ligi 90 aastat pärast oma ilmumist, haarav ning aktuaalne. Jürisoni matkakirjeldus kujutab endast vahest kõige selgemini Masingu ja Kreutzwaldi poolt rajatud olukirjelduse algete jõulist edasiarendamist ning süvendamist.³⁹

4.

Üsna varakult hakkas kujunema ka teine olukirjelduse liik — s ü n d m u s k i r j e l d u s. Selle loomulikuks lähtealuseks oli informatsioon, sõnum, mida — olenevalt sündmuse imepärasusest või tähtsusest — hakati detailsemalt ning elavamas vormis serveerima. Masingu publitsistika sisaldab taolisi „laiendatud sõnumeid” peamiselt minevikus toimunud imelike juhtumuste kohta, harva toob ta niisugust materjali kaasaegseist (või enam-vähem kaasaegseist) sündmustest. Võiksime niisuguste kirjelduste hulgast märkida näit. 1824. a. toimunud Peterburi suure veeuputuse lugu.⁴⁰ Veelgi ligemale sündmuskirjelduse mõistele jõuab Jannseni „Perno Postimees”. Kui vaadelda näit. tema sõnumeid „Ost-India” mässust

³⁹ Lähemalt J. Jürisoni matkakirjelduse kohta vt. J. P e e g e l, Eesti esimesest algupärasest matkakirjeldusest ja selle autorist. „Looming” 1955, nr. 6, lk. 755—761.

⁴⁰ Vt. „Marahwa Näddala-Leht” 1825, lk. 34—39; 91—94; 106—110.

(sipaide ülestõus),⁴¹ siis on need (muidugi välismaistest lehtedest tõlgitud ja mugandatud) oma elava ning detailirikka esitusega üsnagi vastavad sündmuskirjelduse mõistele. Tuleb märkida Jannseni oskust faktidele „hinge sisse puhuda” üsnagi lühiste sündmuste põnevaks „krvivimisel”, kas või mõne vargusloo või muu sellesarnase sõnumi esitamisel.⁴²

Sündmuskirjelduse kiiremale arenemisele eesti publitsistikas aitas kaasa aastail 1853—1856 toimunud Krimmi sõda, mis ulatus ka Eesti väravaisse. Peamiselt Krimmi sõja sündmuste jutustamiseks tekkis koguni eri perioodiline väljaanne, Nikolaus Friedrich Russowi poolt toimetatud ajakiri „Tallinna koddaniko ramat omma söbbradele male”, mida ajavahemikus 1854—1857 ilmus kokku 12 väikeseformaadilist vihikut.

Toimetatud muidugi vastavate materjalide alusel, pakub see ajakiri peaaegu kogu ulatuses ainult sõjasündmuste, lahinguepisoodide, vene soldatite ning väejuhtide sangarluse kirjeldusi. Korduvalt (1., 4., 6., 7. raamat) esitatakse põgusalt ka sõjasündmusi Eestis. Oma laadilt võib neid kirjutusi pidada sündmuskirjeldusteks, sest neil ei puudu ka kunstikavatsusliku vormi elemendid. Toodagu näiteks autori kirjeldus „mörro” tormist Sevastopoli reidil:

„Nago otsato suur haud olli Mustmerri pealt nähha, pikkad walged wahholaened kõikusid nago surnurättikud surnuid wastowõtmas. Paksud mustad pilwed ajasid ni madalast ülle laente, wihma ja lund ja rahhet mahha puistades, et merri taewaga ühte läks. Uddo läbbi nähti waenlaste söalaewo kord tõusma ja siis nago põhja waoma, siit ja sealt kiskus tulispask purjed lõhki, ja murdis mastipuud tagga järrele mahha. Iggalt poolt kuuldi läbbi tormi mürrinat laewa suredükkiid paukuma, merrehädas abbi hüdes. Wähhemad laewad kerasid nago pähklekored ühhe laenest teise, senni kui nad kaljo otsa ehk ranna wasta hirmsa pragginaga katki pörrusid.”⁴³

Ajakirja 12. number („raamat”), mis on pühendatud keiser Aleksander II kroonimisele, sisaldab õieti matka- ning sündmuskirjelduse kontaminatsiooni. Nimelt on siin algul kirjeldatud teekonda, mille tegid kaasa väljavalitud „eeskujulikud” vallavanemad Jüri Ruut ja Jüri Erving „Moskosse” kroonimispidustustele, hiljem järgneb pidustuste eneste kirjeldus.

Krimmi sõja sündmused ajendasid ka Fr. R. Kreutzwaldi looma kirjutust „Ligimailt ja kaugemalt”⁴⁴, mis on koostatud 1856. a. Seda rohkete aktuaalsete publitsistlike, populaarteaduslike ning poleemiliste vahelekiilungitega kirjutust tuleb oma põhilaadilt pidada samuti sündmuskirjelduseks. Teemalt on see, nagu Russowigi sündmuskirjeldused, sõja-olukirjeldus. Mõlemate autorite, nii-

⁴¹ „Perno Postimees” 1857/58, nr-d 10, 11, 13, 15 jne.

⁴² Vrd. sealsamas, lk. 363 jj.

⁴³ „Tallinna koddaniko ramat...” 8., lk. 7.

⁴⁴ „Maa rahva Kasuline Kalender”, Tartu 1857, lk. 1—40 (eraldi pagineeritud). Vt. ka Fr. R. Kreutzwald, Teosed. Maailm ja mõnda, lk. 294—312.

hästi Russowi kui Kreutzwaldi sündmuskirjelduste ideoloogiline raskuskese seisneb sõprussidemete tihendamises suure vene rahvaga. Võrreldes aga matkakirjeldusega jääb sündmuskirjeldus möödunud sajandi publitsistikas ikkagi rohkem varju ega oma ka kunagi nii selgeid žanrilisi tunnuseid ega ideoloogiliselt nii võitlevat hoiakut kui esimene.

*

Oleme esitatud lühikeses ülevaates märkinud üksikuid jooni olukirjelduse kui žanri tekkimise eeldustest ning arenemisloost eesti XIX saj. publitsistikas. See ülevaade ei pretendeeri kaugeltki täielikkusele, pigem on see visandlik katse vastavate probleemide valdkonnas. Vaatluse alt on näit. välja jäänud meie kalendriperioodika, mille „sabades” leidub samu olukirjelduse tekkimiseks teed tasandavaid elemente, mis ajakirjanduseski.⁴⁵ Mida aga võime esitatud napi ning lünkliku materjaligi põhjal öelda, on see, et eesti ajakirjanduse hälliperioodil tekkinud olukirjelduse alged arenesid kuuekümnendail aastail juba selgesti piiritletavaiks žanrilisteks tunnusteks, seejuures rikastus ka olukirjelduste ideesisu, omandades tolle perioodi esilekerkivamais töödes sügavalt demokraatliku, antifeodaalse suuna. Võime niisiis väita, et olukirjelduse kui žanri kujunemine on tihedasti seotud eesti publitsistika parimate progressiivsete, demokraatlike traditsioonidega üldse.

Edaspidised uurimused peavad kindlasti lisa tooma selle emotsionaalse ning paljuloetava žanri teiste liikide kujunemise kohta ning olukirjelduse üldise osatähtsuse kohta eesti publitsistikas, et eesti nõukogude olukirjeldus võiks mineviku progressiivse pärandi traditsioonidest jõudu ammutades veelgi võitlevamalt oma ülesandeid täita.

⁴⁵ Vrd. näit. kalendris „Marahwa Kalender ehk Täht-ramat” 1825. ja 1826. a. toodud geograafilisi kirjeldusi.

ОБРАЗОВАНИЕ ОЧЕРКА КАК ЖАНРА В ЭСТОНСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ XIX ВЕКА

Канд. филол. наук Ю. Пезгель

Кафедра эстонского языка

Резюме

Для раннего периода эстонской публицистики (XVIII в. — I половина XIX в.) характерна бедность жанров; границы между отдельными жанрами почти не заметны. Это обстоятельство выражается, в частности, в «универсальном» стиле публицистики.

В публицистике О. В. Мазинга, особенно в его газете «Maarahwa Näddala-Leht» («Еженедельная газета крестьян» — т. е. эстонцев, 1821—1825) имеются уже первые зачатки таких жанров, как информация, критика и библиография, обзор печати. Зачатками очерка нужно считать энциклопедические описательные материалы в публицистике О. В. Мазинга, Ф. Р. Крейцвальда (журнал «Ma-ilm ja mõnda, mis seal sees leida on» — «Мир, и кое-что там находящееся», 1848—1849), И. В. Яннена (газета «Perno Postimees» — «Пярнуский Почталъон» — с 1857 г.), изданные в просветительных целях. Эти статьи, особенно географические и этнографические описания, имеют уже некоторые признаки очерка. Кроме образования жанровых признаков, в этих статьях вырабатываются и лучшие идеологические черты эстонского прогрессивного очерка: антирасизм, гуманизм, антиклерикальное и антифеодалное направления.

Первыми видами очерка в эстонской публицистике 50—60 годов XIX в. являются *путевой* и *событийный* очерки, которые к тому времени имеют ярко различимые признаки своего жанра. Особенно высокую оценку заслуживает *путевой* очерк офицера-эстонца русского флота Ю. Юрисона «Путешествие эстонца вокруг света на корабле «Аскольд» в газете «Eesti Postimees» («Эстонский Почталъон») 1867—1869 г., который достигает высокого идейного и художественного уровня.

Крымская война (1853—1856) вызывает к жизни *событийный* очерк, рассказывающий о событиях войны, о героизме русских воинов. Виднейшими трудами этого типа являются очерки

Н. Ф. Руссова в журнале «Tallinna koddaniko gamat oma sõbbradele male» («Записки таллинского горожанина для своих друзей в деревне», 1854—1857) и очерк Ф. Р. Крейцвальда «Ligimailt ja kaugemalt» («О ближайшем и далёком», 1857). По тематике эти произведения — первые эстонские военные очерки. Центральной идеей обоих авторов является борьба за дружбу между эстонским и русским народами.

Образование эстонского очерка, таким образом, тесно связано с развитием прогрессивной, по существу антифеодальной мысли в эстонской публицистике XIX века.

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДЛОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ С ПРЕДЛОГОМ «К»)

Канд. филол. наук А. Правдин

Кафедра русского языка (специальный предмет)

Развитие грамматического строя любого языка в значительной мере характеризуется постепенным совершенствованием, вызываемым возрастающими потребностями человеческого общения. В истории русского языка совершенствование, упорядочение системы грамматических средств находило весьма различное выражение. В области падежно-предложного синтаксиса о совершенствовании могут свидетельствовать, например, такие факты, как ограничение употребления беспредложных падежных форм за счет расширенного употребления предложных сочетаний, дифференциация грамматических средств для передачи значений, не находивших прежде особого выражения и т. п.

Настоящая статья ставит своей целью рассмотреть историю употребления предлога *к* с дательным падежом в русском языке, наметить сдвиги в значении этого предложного сочетания, отражающие в ряде случаев процесс упорядочения системы грамматических средств русского языка. Фактический материал извлечен из важнейших памятников русского языка XII—XVII вв.*

Предлог *к* (древнерусск. *къ*) распространен во всех славянских языках. Он имеет этимологические соответствия и за пределами славянской языковой группы (санскр. послелог *kām*). Основное значение предложного сочетания *к* + *дат. п.* заключается в указании направления к тому или иному предмету. Это значение, выработавшееся уже в общеславянский период, весьма близко к значениюм беспредложного дательного падежа. Дательный падеж — это падеж косвенного объекта, который не охватывается действием, не затрагивается им непосредственно; датель-

* Истории употребления рассматриваемого предлога в русском языке посвящены до сих пор лишь отдельные замечания в работах П. А. Лавровского («О языке северных русских летописей» СПб. 1852), Ф. Буслаева («Опыт исторической грамматики русского языка» М. 1858), Л. П. Якубинского («История древнерусского языка» М. 1953) и некоторых других исследователей.

ный падеж служит для выражения «голої направленности действия», как указывал А. М. Пешковский¹. Это значение направленности действия углубляется и уточняется посредством использования предлога *к*. В зависимости от конкретных условий использования рассматриваемого предложного сочетания (значение управляющего глагола, значение имени, стоящего в форме дательного падежа) оно может выражать пространственные, целевые, временные, объектные оттенки значений. В древнерусском языке (повидимому, также в современном русском языке) чаще всего наблюдаются пространственные оттенки значения предложного сочетания *къ + дат. п.*; с них мы и начнем анализ случаев употребления этого предложного сочетания в древнерусском языке.

І. Пространственные значения

Пространственные значения наблюдаются главным образом в тех случаях, когда предложным сочетанием управляют глаголы, значение которых связано с представлением о пространственном передвижении. С точки зрения истории русского языка важно выделить прежде всего случаи, в которых ожидаемым результатом действия (движения) является достижение пространственной близости к предмету, название которого стоит в форме дательного падежа, и случаи, в которых ожидаемым результатом действия является вхождение в пределы пункта, обозначенного именем в дательном падеже.

1) Результатом действия является достижение пространственной близости к предмету, название которого стоит в дательном падеже с предлогом, т. е. достижение того положения, которое обозначается посредством местного падежа с предлогом *при* или родительного с предлогом *у*; предложное сочетание отвечает на вопрос *куда?*

а) В роли управляющего слова — глаголы пространственного передвижения. В дательном падеже — названия населенных пунктов (имена существительные собственные). Некоторые примеры: «Ярославъ иде къ Берестию» Н. I 1016 г.*; «придоша г Києву, хотяще битися с Володимеричи» Лавр. 1136 г. — В дательном падеже стоит название лица (или местоимение в применении к лицу): «се приде вѣстникъ къ нему» Б. и Г., л. 9; «а поѣдита к нам княжить» Лавр. 1175 г.; «въ то верема приде к нему Глѣбъ изъ Суждала Гюргевиць» Ип. 1147 г.; «приде вѣсть къ великому князю, что Татари Нерль бродятся» Сим. 1455 г. — В дательном падеже — названия неодушевленных предметов: «. узърѣ теку-

¹ Русский синтаксис в научном освещении, М. 1938, стр. 268.

* Список сокращений — в конце статьи. Из особенностей древнерусской графики мы сохраняем лишь ѣ, љ и слова под титлом.

щихъ къ шатру блистание оружия» Б. и Г., л. II об.; «начаша приступати къ граду вся полкы Рускыя» Пск. 2, 1169 г.; «. . съ того острова погребли къ Волскому устью» Ст. Р., стр. 35; «млад идет к диву, а стар бредеть к пиву» П. XVII в., л. 356.

Если в дательном падеже стоят названия отвлеченных понятий, например, стран света, то пространственная близость, естественно, не возникает в результате действия: «тое же зимы . . . преходити облакомъ, аки кровавымъ, съ вѣстока къ западу» Сим. 1360 г.; «поиде солнце въспять к Востоку до часа» Уст. лет. 1231 г.

б) В роли управляющего слова — переходные глаголы со значением доставления. Некоторые примеры: «аше ли кая обида, ведѣте мя къ князю вашему» Б. и Г., л. 14; «к намъ бы есте вѣсти слалъ» Н. гр. № 50, 1410—1411 гг.; «посли к нему дары» Лавр. 971 г.; «въ то верема примчаша къ нима Половщина дикого» Ип. 1149 г.; «ко мнѣ прислалъ десеть рублевъ денегъ» Авв., л. 244; «да пришлите ко мнѣ бумашки, а здѣся и купить не добыть» Стр. 11, стл. 421, 1616 г.

в) В роли управляющего слова — переходные глаголы со значением даяния. Некоторые примеры: «даша вѣсть к Гюргеви» Лавр. 1151 г.; «а къ святѣи и живоначалнѣи Троици въ Сергиевъ монастырь даю села Кинелские» Дог. № 57, 1451 г.

2) Результатом действия является вхождение в пределы пункта, обозначенного именем в дательном падеже, т. е. достижение того положения, которое обозначается местным падежом с предлогами *в* и *на*.

а) В дательном падеже стоят названия населенных пунктов (имена существительные собственные мужского и женского рода). Некоторые примеры: «приведе Володимирь . . . вся боярѣ новгородчкыя къ Киеву и заводи я къ честному кресту» Н. I К., 1118 г.; «вниде князь Святославъ Олговиць к Новугороду и сѣде на столѣ» Н. I К., 1139 г.; «на вербѣницу прииде князь Юрьи къ Киеву и сѣде на столѣ» Н. I К., 1155 г.; «тогда же приде вѣсть Изяславу г Киеву, оже сынъ его побѣженъ» Лавр. 1152 г.; «вятчяня же . . князя и с княгинею свели к Вятке неволею» Уст. лет., 1436 г.; «оттоле князь великии возвратиса к Москве» Уст. лет., 1475 г.; «. . прислати к Москвѣ къ гѣдрю» Суд. 1550 г., стр. 51; «роспросные речи прислатъ к Москве» Хоз. Мор. № 35; «велѣтъ тѣхъ людей в городѣхъ сыскивая высылати к Москве за поруками» Улож., л. 109.

б) В дательном падеже стоят некоторые имена существительные нарицательные: «баше члѣвкъ слѣпъ и приходя къ цркви сѣго Георгия и моляшеса» Б. и Г., л. 22; «сей же Никонъ часто приходжаше къ цркви и дивляшеса црковному пѣнию и чтению» Жит. Ник., л. 214; «отца в бороду, а самъ к городу» П. XVII в., л. 376 об.

в) К рассматриваемой группе случаев близки также следующие случаи: «единѣ ею извлекъ мечъ, пронъзе и къ срѣдцю» Лавр., 1015 г.; «падошаса с коней к земли» Зад., л. 222 об.; «и ту потопе

посадникъ Добрыня ко дну» Лег. о божи., стр. 252; «зографа кромѣ вреда к земли низпустиша» Сим. П., стр. 46.

3) Результатом действия может явиться и соприкосновение с предметом, название которого стоит в дательном падеже. Некоторые примеры: «Стославъ имъ руку митрополичю и.. прилагаше къ вреду, имже боляше на шии» Б. и Г., л. 20 об.; «а к сему списку яз, князь Дмитрей Иванович, руку свою приложил» Дог. № 99, 1521 г.; «прибило к берегу насъ» Авв., л. 211; «от берегу отсталъ, а к другому не присталъ» П. XVII в., л. 376 об.

4) Предложное сочетание *къ + дат. п.* может иметь пространственное значение предмета, близ которого нечто происходит, т. е. отвечать на вопрос *где?* Некоторые примеры: «Изяславъ же.. поведе ко королеви; и якоже бы *къ товаромъ*, и король всѣдъ на конѣ.. выѣха противу Изяславу съ радостью» Ип. 1152 г.; «Изяслава же постигоша къ озеромъ, въѣздяча въ борокъ» Ип. 1162 г.; «копаша ровъ около Софѣиской сторонѣ къ старому валу» Н. I К., 1383 г.; «не стоите к товару, прилежите боеви» Сузд. Ак., 1216 г.; «хотя сосна и серед поля стоитъ, да к тому ж бору шумит» П. XVII в., 374 л. — В ряде случаев (в памятниках актовой письменности) наряду с оттенком значения места на вопрос *где?* может быть отмечен и оттенок значения присоединения, включения в состав чего-либо (часто — какой-либо административной единицы): «мы, господине, жили к той деревнѣ Феденинѣ... 10 лѣтъ» А. гр. р. № 30, XV в.; «всякими угоды владѣти велѣли къ монастырю попрежнему» Стр. 11, стл. 285, 1613 г.; «а выгономъ быти в городѣхъ попрежнему, какъ к которому городу были выгоны при прежних гѣдрехъ» Улож., л. 254.

Таковы основные случаи употребления предложного сочетания *къ + дат. п.* в памятниках древнерусского языка в пространственных значениях.

Отметим некоторые изменения в предложно-падежном синтаксисе русского языка, связанные с пространственными значениями *къ + дат. п.*

В период древнейших письменных памятников русского языка рассматриваемое предложное сочетание не являлось единственным грамматическим средством выражения предмета, в отношении которого достигается пространственная близость. Как показывают данные памятников, в том же значении мог использоваться, хотя и в ограниченной мере, беспредложный дательный падеж. Ср.: «луцяне устерегосшася и отступиша они въ городъ, а ини Пльскову» Н. I, л. 34 об., — где в беспредложном дательном падеже можно видеть эквивалент предложного сочетания *къ + дат. п.* Ср. также: «Святославъ поима.. мужѣ Кияне и ѣха съ ними брату своему Игореву» Ип. 1146 г. Однако беспредложный дательный падеж этого типа (*куда? к кому?*) был ограничен почти исключительно названиями населенных пунктов мужского рода; в единичных случаях он применялся от названий лиц. С середины XIII в. беспредложный дательный падеж на вопрос

куда? от названий населенных пунктов перестает употребляться, будучи окончательно вытеснен предложными сочетаниями. Не позднее XIV—XV вв. исчезает и беспредложный дательный падеж в значении лица, к которому направлено движение. Таким образом в русском языке произошло некоторое выравнивание грамматических средств, служивших для выражения обстоятельства места. Одно из равнозначных грамматических средств перестало применяться. Образовалось соответствие «пошел к городу»: «пошел к Новгороду»: «пошел к Игорю» при возможном в древнейший период несоответствии «пошел к городу» — пошел Новгороду, пошел Игорю.

С предложным сочетанием *къ + дат. п.* в значении предмета, в отношении которого достигается пространственная близость, в древнерусском языке в некоторой мере синонимичны предлоги *передъ* и *надъ* с винительным падежом. Некоторые примеры: «дъръзну Исакъ молитися о сыну своемъ, дабы его испустилъ иствърди прѣдъ ся» Н. I, 1204 г.; «послухъ *передъ* судью не придетъ» Суд. 1550 г.; «в то же веремя престаився Ивашко Гюргевичь, мѣсяца февраля въ 24... а заутрии день приѣхаста *надъ* онъ брата два, Борисъ и Глѣбъ, и створиста плачь великъ» Ип. 1146 г.

Эти синонимические средства далеко не полностью совпадали по выражаемому им значениям с рассматриваемым предложным сочетанием. Предложное сочетание *передъ + вин. п.* обозначало прежде всего предмет, у передней части которого оказывается в результате действия другой предмет (т. е. в положении, обозначаемом тем же предлогом с творительным падежом). В том случае, если в винительном падеже стоит название лица, достигаемое в результате действия положение является положением в поле зрения этого лица. Естественно, что это положение предполагает одновременно и положение вблизи лица, название которого стоит в винительном падеже, отсюда — соприкосновение значений предлога *передъ* с винительным и предлога *къ* с дательным. Если в винительном падеже с предлогом *передъ* стоит имя, не являющееся названием лица, соприкосновение значений ослабевает. Ср.: «вынесоша и предъ пещеру» Лавр. 1091 г., л. 70 об., — в данном случае замена предложным сочетанием *къ + дат. п.* невозможна, так как это предложное сочетание не передает специфического оттенка значения (движение изнутри пещеры к ее устью, к передней части). Нет полного совпадения у рассматриваемого предложного сочетания и со значением предлога *надъ* с винительным падежом.

Оба синонимические средства с течением времени стали неупотребительны. Предлог *надъ* с винительным падежом перестал употребляться к началу XIX в., *передъ* (*предъ*) с винительным падежом — к середине XIX в.

В памятниках западно-русского происхождения в соответствии с предложным сочетанием *къ + дат. п.* весьма широкое распро-

странение получил предлог *до* с родительным падежом; ср.: «кораблем отплыша морем и *до* Равенны тѣм града приплыша» Сим. П., стр. 30. В современных украинском и белорусском языках, а также в языках западнославянских, сочетание предлога *до* с родительным падежом в значительной мере вытеснило предложное сочетание *къ + дат. п.*, а также некоторые виды беспредложного дательного падежа. Однако в собственно русском языке это вытеснение никогда не наблюдалось: родительный падеж с предлогом *до* сохранил сравнительно узкую функцию обозначения предмета, пределов которого достигает движение.

Некоторые изменения могут быть отмечены в части употребления *къ + дат. п.* при глаголах доставления и даяния. Особенностью древнерусского языка XII—XVII вв. является отсутствие четкости в разграничении употребления беспредложного дательного падежа и предложного сочетания при этих глаголах. В современном русском языке беспредложный дательный падеж в подобных случаях обозначает лицо, в распоряжение которого предоставляется тот или иной предмет; постановка же предложного сочетания вносит обстоятельственный оттенок значения: указывается лицо (предмет), в непосредственную близость которого доставляется некий иной предмет («принес брату книгу» — «принес книгу к брату»). Эти отношения наблюдаются в общих чертах и в древнерусском языке, однако мы нередко встречаемся в памятниках с постановкой предложного сочетания там, где следовало бы ожидать беспредложного дательного падежа. Ср. приведенный уже пример: «*ко* мнѣ прислалъ десеть рублевъ денегъ»; в данном случае имеется в виду переход предмета в распоряжение лица, поэтому следовало бы ожидать беспредложного дательного падежа. Отсутствием четкой смысловой дифференциации двух грамматических средств объясняются и случаи постановки предложного сочетания при глаголах даяния («даша вѣсть к Гюргеви»).

С течением времени *къ + дат. п.* совершенно перестало употребляться в значении, близком к значению винительного падежа с предлогом *въ* (результат действия — вхождение в пределы пункта). В поздних списках летописи, текст которой восходит к XII—XIII вв., такое употребление предложного сочетания («вниде князь Святославъ . . к Новугороду и съде на столѣ») может найти объяснение в механической замене переписчиками старого беспредложного дательного падежа с местным значением. Беспредложный дательный падеж совмещал двоякое местное значение, в соответствии с современным русским *к + дат. п.* и *в + вин. п.* Возможно, что переписчики вставляли подчас предлог *к*, недостаточно вдумываясь в контекст. В памятниках, тексты которых восходят к более позднему периоду, в подобном значении часто встречается лишь предложное сочетание «къ Москвѣ» («в Москву»), с которым конкурирует «на Москву»: «приде же вѣсть великому князю на Москву» Уст. лет., 1436 г. («на Москву»

встречается чаще). Подобное употребление предлогов продолжается еще в XVIII в. В «Российской грамматике» М. В. Ломоносова указывается, что города, названные по рекам, «полагаются в предложном падеже с предлогом *на*», причем на вопрос *куда?* требуют винительного с тем же предлогом; М. В. Ломоносов указывает и на то, что некоторые названия городов на вопрос *куда?* ставятся в дательном падеже с предлогом *к* (плыть к городу Архангельскому, послать к Соли Камской).² Своеобразное употребление предложного сочетания *къ + дат. п.* от названий городов в соответствии с *въ + вин. п.* и *на + вин. п.* находит объяснение в этимологии тех или иных географических названий; названия городов были еще тесно связаны с теми именами существительными, от которых они произошли, отсюда — употребление предложного сочетания «к Соли Камской» при невозможности «в Соли Камскую», или обычное в древнерусском языке на «Тържкъ» (в соответствии с «на търгъ»). Позднее этимология названий обычно перестает играть роль при выборе того или иного предложного сочетания, отсюда — современные русские обороты «в Москву», «в Вятку», «в Торжок».

В области имен существительных нарицательных такое употребление предложного сочетания *къ + дат. п.* в древнерусском языке наблюдается очень редко, за исключением случаев *къ церкви*; впрочем, возможно было и здесь употребление предлога *въ* «а будеть какой бесчинникъ пришедъ въ цркъвь . . . литургии совершити не дасть . . .» Улож., л. 66.

Случай типа «падошася с коней к земли» в памятниках встречается до начала XVIII в., однако весьма рано появляются и обороты современного типа: «потки падаху на землю и по водѣ» Н. I К., 1384 г. Конструкция *на + вин. п.* издавна применялась для обозначения предмета, на поверхность которого направлено движение, поэтому окончательное вытеснение дательного падежа с предлогом *къ* в подобных случаях следует рассматривать как унификацию грамматических средств предложно-падежного синтаксиса русского языка.

Весьма интересным представляется с точки зрения современного русского языка использование *къ + дат. п.* в «местительном» (на вопрос *где?*) значении, в соответствии с предложными сочетаниями *у + род. п.*, *при + местн. п.*, *возль + род. п.* и т. п. Четкие случаи использования *къ + дат. п.* в местительном значении встречаются главным образом в памятниках до XV в. Такое употребление исследуемого предложного сочетания объясняется, вероятно, тем, что многие глаголы, в настоящее время обозначающие действие, которое не может быть определено посредством ответа на вопрос *куда?*, но лишь посредством ответа на вопрос *где?*, в древности имели несколько иное значение и могли ассоциироваться с глаголами направленного движения. Так, вопрос *куда?* мог быть

² М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. VII, 1952 г., стр. 574, стр. 576.

поставлен в древнерусскую эпоху по поводу действия, обозначаемого глаголом в л а д ѣ т и: «куды владѣль Феодоръ Ивановичъ, туды владѣти игумену Феодосью и всѣмъ старцемъ, и в вѣки» Н. гр. № 220, 1478—80 гг. С другой стороны, и само противопоставление установительных (*куда?*) и местительных (*где?*) грамматических средств, повидимому, не было в древнерусском языке столь резким, как в современном русском языке. Так, возможно было, например, употребление местительного (*где?*) в большинстве случаев предлога-наречия б л и з ѣ в установительном (*куда?*) значении: «и прибѣгли близ Ярославля на свѣтлои зарѣ» Уст. лет., 1436 г.

Таким образом, в современном русском языке уцелело лишь два пространственных значения *къ + дат. п.*: значение предмета, в непосредственную близость которого направлено движение («подойти к столу»), и значение предмета, в соприкосновение с которым приходит другой предмет в результате действия («прилепить что к чему»); впрочем, последнее значение может рассматриваться в известной мере уже как значение объектного порядка. Остальные значения, не связанные так тесно с основным значением предложного сочетания — значение предмета, в сторону которого направлено движение (*куда?*, *к чему?*) — постепенно стали выражаться лишь иными средствами предложно-падежного синтаксиса. Пространственные значения *къ + дат. п.* стали отличаться таким образом большим единством.

Вместе с тем *къ + дат. п.* заметно выдвинулось на позиции не только основного, но почти что единственного грамматического средства выражения значения предмета, в непосредственную близость которого направлено движение. Это было обусловлено исчезновением беспредложного дательного падежа со значением места и постепенным отмиранием некоторых синонимических предложных сочетаний (*передъ* и *надъ* с винительным падежом).

II. Целевое значение

1) Собственно целевое значение (*для чего? с какой целью?*). Некоторые примеры: «пойдоша к боеви противу собѣ» Лавр. 1096 г.; «пойдоша к собѣ к боеви, и ступишася полци» Лавр. 1097 г.; «горожане же боголюбьци розграбиша домъ княжь и дѣлатели, иже бяху пришли къ дѣлу» Ип. 1175 г.; «. . . позовуть къ суду, а онъ не станеть у суда . . .» Н. гр. № 88, 1397 г.; «которымъ бо не хотѣти поити къ бою тому, и они сами тѣхъ разграбляху . . .» Сим., 1471 г.; «твоему приказшику в твой удѣл тѣхъ людеи к тебѣ *къ докладу* не водити» Дог. № 84, 1496 г.; «не поѣдетъ ко отвѣту» Суд. 1497 г., стр. 10; «техъ молотчихъ людей емлютъ посадцкие ж люди к земскому черному и к губному делу и к тамгам, и к инымъ нашимъ деломъ целовальниковъ с трети сохи по четыре человека на годъ» Чер. № 223, 1564 г.; «многие казни наводитъ гѣ бѣгъ к нашему

исправлению» Стогл., л. 114; «всегда в торгу смотрити всяково запасу к домашнему обиходу» Дом., л. 65 об.; «къ тѣмъ де они промысломъ сѣкутъ дрова монастырскими людьми и наймиты» Стр. 1, стл. 548, 1578 г.; «носы чистятъ ко клеванію и вострые ногти къ вонзению» Ин. ск., стл. 33; «имъ де въ Старую Русу збиратца ни къ чему» Стр. 11, стл. 449, 1617 г.; «подьячему велѣтъ судное дѣло противъ исцовыхъ и отвѣтчиковыхъ рѣчей написавъ положить на столъ к вершенью вскорѣ» Улож., л. 99; «велеть бы ево, Ивашка Фуфая, взять в село Лысково ко щету и к расплате» Хоз. Мор. 11, № 470.

2) Целевой оттенок значения наблюдается также при глаголах (и именах прилагательных), обозначающих состояние потребности, пригодности и т. п. Некоторые примеры: «туто имѣль суды, уготованы ко плаванію» Курб. Ист., стл. 210; «а похулять тотъ лѣсъ къ городовому дѣлу, и охотникомъ въ то мѣсто иной лѣсъ дати» Стр. 1, стл. 682, 1592 г.; «къ селитревому де варенью тотъ валь годитца» Стр. 11, стл. 1099, 1643 г.; «довлѣеть ти ко укреплению» Авв., л. 206; «къ такому дѣлу Московские люди не промышлены» Кот., л. 144 об.; «вельми ко исправлению священническаго бытія то «Завещание» потребно будет» Пос., л. 20.

3) Некоторый оттенок целевого значения может быть усмотрен и в следующих случаях: «сицевая бо знаменія не бывають никогда на добро, но точію къ гладу или къ мору, или къ кровопролитію и къ плѣненію» Сим., 1471 г.; «Афонася ломает к ненасье» П. XVII в., л. 323 об.; «шумить дубровушка к погодишке» П. XVII в., л. 379 об.

Целевое значение некогда было свойственно и беспредложному дательному падежу: «устремишася боеви» Ип. 1136 г., «ста обѣду» Ип. 1151 г. Однако полной преемственности между целевым употреблением беспредложного дательного падежа и предложного сочетания *къ + дат. п.* нет: целевое значение предложного сочетания полностью вырабатывается сравнительно поздно, когда беспредложный дательный падеж уже давно не являлся грамматическим средством выражения цели в живом русском языке. Встречающийся в памятниках древнерусского языка материал дает возможность предположить, что целевое значение *къ + дат. п.* связано в первую очередь с пространственным значением этого же самого предложного сочетания. В древнейших памятниках русского языка целевой оттенок значения *къ + дат. п.* наблюдается лишь при глаголах движения, доставления и под., т. е. при глаголах, действие которых может быть определено посредством ответа на вопрос *куда?* (*пойти, поѣхати, позвати, водити*). Повидимому, при целевом употреблении рассматриваемого предложного сочетания мы имеем дело с абстрагированием от движения, направленного к определенному пространственному пункту («идоша къ Чърнигову»), — к движению или действию, направленному к достижению отвлеченной цели («поидоша к боеви»). Лишь в памятниках XVI в. встречаются случаи с целевым зна-

чением при глаголах, значение которых не связано с представлением о пространственном передвижении («кѣ тѣмъ промысломъ сѣкутъ дрова»). Будучи весьма широко распространено до XVIII в., предложное сочетание *кѣ + дат. п.* с целевым значением на рубеже XVIII и XIX вв. заметно сокращается в употреблении главным образом за счет применения родительного падежа с предлогом *для*; в современном русском языке целевое значение наблюдается сравнительно редко («принять к сведению»).

III. Временное значение

Подобно целевому значению *кѣ + дат. п.*, временное значение рассматриваемого предложного сочетания тесно связано с его основным пространственным значением предмета, в непосредственную близость которого направлено движение. В соответствии с этим временное значение предложного сочетания сводится к указанию на приближающийся момент времени, на момент, непосредственная близость к которому достигается в процессе действия.

1) Собственно временное значение. Некоторые примеры: «бишася чересь днь вьсь и уже кѣ вечеру одолѣ Ярославъ» Б. и Г., л. 15 об.; «по отѣдени кѣ вечеру сѣдѣшемъ имъ и се по проречению блаженаго привезоша 3 возы, пѣльны суще кѣрчагъ съ винѣмъ» Ф. Печ., л. 51 об.; «кѣ старости пострищися въ скиму» Вопр. К., стл. 25; «кѣ Госпожину дни умре Онанья посадникъ» Н. I, 1257 г.; «уже есть велми к ночи» Н. I, 1268 г.; «идяху прочь не оставаюче, уже бо бяше к заморозу» Ип. 1152 г.; «якоже бысть убо кѣ куромя, и пригна дѣтский изъ Галича кѣ Петрови» Ип. 1152 г.; «егда бысть кѣ сумраку, отступиша татари отъ града» Сим. 1451 г.; «а ворота всегда приперты, а к ночи замѣкнуты» Дом., л. 76 об.; «дорого яичко к Велику дни» П. XVII в., л. 337; «а рожь, государь, к Ильину дни поспеет» Хоз. Мор. 11, № 309; «а прислать бы лошади завтра к свету» Хоз. Мор. 11, № 262.

2) Временное значение может сопровождаться оттенком целевого значения. Некоторые примеры: «а которымъ крестьяномъ лучитя кѣ праздникомъ или кѣ поминкомъ пива сварити и вина скурити, и они бѣ о томъ васъ докладывали» Стр. 1, стл. 710, 1594 г.; «кѣ ихъ посолскому приѣзду все было готово» Кот., л. 88.

3) Иногда *кѣ + дат. п.* употребляется в значении «накануне чего-либо». В таком случае это предложное сочетание обычно не выступает самостоятельно в функции обстоятельства времени, но уточняет собой другое обстоятельство: «въ лѣто 7058, мѣсяца марта 23, нашего ради согрѣшения, загорѣся кѣ тому дни нощию у святаго Михаила въ монастыри . . .» Пск. 1, стр. 308; «явился на небеси 3 мѣсяца . . . въ нощи кѣ недѣли предъ заутренни» Пск. 2, 1485 г.; «въ петрова постъ на перьвой недѣлѣ к пятку на ношь паде снѣгъ великъ въ поясъ челоуѣка . . .» Пр. Варл., стр. 277.

Во временном употреблении предложного сочетания *къ + дат. п.* в истории русского языка особенных изменений не наблюдается. Следует отметить главным образом лишь исчезновение значения «накануне чего-либо». Из синонимических предложных сочетаний наиболее близкое значение передавал винительный падеж с предлогом *подъ*: «а которая рыба всякая и мясо коленое на провъсъ, и вывешивати под весну» Дом., л. 105. Эта синонимика сохраняется и в современном русском языке («пришел под вечер»).

IV. Объектные значения

Объектные значения предлога *къ* с дательным падежом в древнерусском языке заключаются главным образом в указании направления действия к тому или иному предмету или отношения действия и состояния к предмету.

1) Объектному значению может сопутствовать оттенок обстоятельство-пространственного значения. В таком случае *къ + дат. п.* чаще всего соответствует современной русской конструкции «в сторону чего», «в направлении чего». Часто подобные случаи наблюдаются при глаголах зрительного восприятия: «къ кому възърю?» Б. и Г., л. 9; «начать молитися, зря къ иконѣ» Б. и Г., л. 11; «възърѣвъ къ нимъ умиленама очима . . .» Б. и Г., л. 13 об.; «о се чинъ же съдѣста 2 брата в монастыри . . . к печерѣ зряща» Лавр. 1091 г.; «очима зряще часто къ земли» Жит. Дм. Ив., стр. 178; «посмотри к силному граду Москвѣ» Зад., л. 216; «колко волка не кормить, а онъ к лѣсу глядитъ» П. XVII в., л. 352. — Иногда подобное значение наблюдается и при других глаголах: «оборотиша полкы своѣ к нему» Лавр. 1151 г.; «скоро ко орде побежавъ, а къ Руси тыль показуя» Каз. лет., л. 116.

2) В дательном падеже с предлогом *къ* находится название лица, к которому обращен тот или иной вид словесного или письменного общения.

а) Глаголы словесного общения речи (речи), глаголы и производные от них. Некоторые примеры: «рече къ прозвутеру своему: въставъ начьни заутрнюю» Б. и Г., л. 11; «Сто-славъ же рече къ Бърнови . . .» Б. и Г., л. 20 об. — 21; «глаше къ князю добръ съвѣтъ . . .» Б. и Г., л. 20; «глаше к нему . . .» Ф. Печ., л. 46; «она же . . . рече ко царю: азъ погана есмь» Лавр. 955 г.; «рече жена къ змиѣ» Лавр. 986 г.; «рекоша Татари къ нимъ» Сим. 1438 г.; «хулна слова не рече къ нему» Каз. лет., л. 59 об.; «. . . слышати, что другъ ко другу глаголетъ» Ин. ск., стл. 31; «не стыдятся къ бездушному глаголати и о помощи просити» Кот., л. 78 об.; «онъ же, воздохня из глубины сердца, сице ко мнѣ проглагола . . .» Авв., л. 270.

б) Прочие глаголы устного общения. Некоторые примеры: «се кровь брата моего въпиеть къ тебе, вѣдко» Б. и Г., л. 15 об.; «что

въпиеши къ нама» Б. и Г., л. 19 об.; «онъ къ тобѣ въсохощеть все исповѣдати» Вопр. Кир., стл. 56; «со слезами отвѣщеваху другъ къ другу . . .» Лавр. 1093 г.; «к женам нелѣпымъ не бесѣдовати» Лавр., л. 79; «се молвилъ Василко си ночи к Уланови и Колчи, реклъ тако . . .» Лавр. 1097 г.; «а къ самому къ нему кто что ни промолвить, а онъ того не слышаше» Сим. 1441 г.; «они же паче вопияху къ народу: горе, горе казаньскимъ людемъ» Каз. лет., л. 66; «и къ нимъ де я вскрикаль, кто они . . .» Стр. 11, стл. 299, 1614 г.; «говорить къ посломъ рѣчь думной диакъ» Кот., л. 91 об.; «осереди побой вскричалъ я к нему: полно бить-тово!» Авв., л. 213.

Возможен пропуск глагола устного общения: «онъ же к нему с плачемъ: хоцю, да мене пустиши преже» К.—П. пат., л. 132.

в) Глаголы со значением поручения и наставления. Некоторые примеры: «Царко . . . самому митрополиту те речи все сказал, что приказал с Окином к митрополиту» Чер. № 201, 1391 г.; «и мы нонѣча приказахомъ к вамъ о томъ послу своему Труфону Онѣчифорову» Н. гр. № 53, до 1417 г.; «мудроучительне наказуют ко всему хрестьянскому воинству . . .» Ст. Б., л. 37 об.; «приказаль къ великому государю свое благословение» Д. п. Н. № 6.

г) Глаголы письменного общения. Некоторые примеры: «послѣ же въписа къ нему епистолию велику зѣло» Ф. Печ., л. 58 об.; «аше ли убѣжавше в Русь придуть, мы напишемъ ко князю вашему . . .» Лавр. 945 г., л. 12; «а о нужных дѣлах пишутъ съ слугами къ стлю» Стогл., л. 191 об.; «. . . отписа къ нему съ грозою, да оставить царство . . .» Каз. лет. л. 97; «писали есмя къ вамъ напередъ сего . . .» Ин. ск., стл. 73; «вы бы къ намъ на той же грамоткѣ отписали . . .» Стр. 11, стл. 17, 1600 г.; «да писано к Семену Шижгутову про бараны и про куры» Хоз. Мор. 11, № 294; «живи в тиши, а к нам грамотки пиши» П. XVII в., л. 343.

3) В дательном падеже — название лица, к которому обращено некое психическое движение. Некоторые примеры: «въсего грѣха и нападения заступита насъ уповающихъ къ вама» Б. и Г., л. 17 об.; «бьяше бо и не твърдо вѣруя къ стѣйма» Б. и Г., л. 20 об.; «много о томъ поскорбѣхъ къ нему» Вопр. Кир., стл. 56; «а оже ся къ тобѣ покаеть добрѣ . . .» Вопр. Кир., стл. 40; «въспоманутся къ богу» Н. I, 1238 г.; «кляхъся ко црмъ Гречьскимъ . . .» Лавр. 971 г.; «Игорь нача молитися ко Всеволоду и молбою и гнѣваяся . . .» Лавр. 1244 г.; «плакахся к бгу грѣха своего» Дом., л. 114 об.; «. . . внимати къ молению народному» Ин. ск., стл. 14; «. . . къ чести позавидѣ Прокопиевѣ и злую крамолу нанъ состави» Ин. ск., стл. 126.

4) В дательном падеже — название лица или предмета, к которому имеет определенное отношение какое-либо действие или психическое движение.

а) Значение предложного сочетания *къ + дат. п.* соответствует значению творительного падежа с предлогом *перед* современного русского языка. Некоторые примеры: «а тѣхъ ми выдаите, кто

мя обадилъ къ вамъ» Н. I, 1228 г.; «в се же лѣто всади Ярославъ Судислава в порубь, брата своего, Плесковѣ, оклеветанъ к нему» Лавр. 1036 г.; «оклеветалъ мя есть к вамъ Жирославъ» Ип. 1226 г.; «вѣсташа же убо продающии соль и навадиша къ Святополку на Прохора, глаголюще, яко Прохоръ чернецъ отъялъ ны есть богатство...» К.—П. пат., л. 174; «прости мя, брате, согрѣшихъ к тобѣ» К.—П. пат., л. 179 об.; «кѣ богатымъ бо всякъ тщится послужити... да наслѣдуеть что» К.—П. пат., л. 113 об.; «царь Израилевъ похвалися к послomu царя вавилонского, показал им множество злата своего» Сл. Д. З., стр. 38.

б) Значение предложного сочетания *кѣ + дат. п.* соответствует значению конструкций «в отношении кого (*чего*)», «по отношению к кому (*чему*)» современного русского языка. Некоторые примеры: «азъ нынѣ умолю матеръ свою Алумпиаду прменитися к тобѣ» Алекс. л. 317; «они же приступиша подъ городъ въ субботу и не успѣша ничтоже къ граду, нѣ болшую рану въсприаша» Н. I, 1164 г.; «любо и проженемъ, ли примиримъ к собѣ» Лавр. 1154 г.; «не въсхотѣша ко Всеволоду того створити» Ип. 1140 г.; «аже имуть занаровцѣ нѣ правити к великому князю и к Новгороду, а свеямъ имъ не пособляти» Н. гр. № 38, 1323 г.; «а не исправитися к тебе... разанский, и тебе, королю, резаньского казнити» Дог. № 53, 1449 г.

5) Предложное сочетание *кѣ + дат. п.* нередко встречается при именах, обозначая предмет (лицо), к которому имеет определенное отношение то или иное состояние, свойство, действие.

а) *кѣ + дат. п.* при именах прилагательных. Некоторые примеры: «къ всѣмъ покориву быти...» Ф. Печ., л. 43 об.; «...ласковъ ко всякому убогому» Лавр. 1216 г.; «к болшимъ быти послушну и покорну» Дом., л. 30; «зломьслены и коварливы и бестрастны къ смерти и непокориви и къ нужамъ терпѣливы...» Ин. ск., стл. 36; «зѣло смѣлы къ ратному дѣлу» Ин. ск., стл. 107; «таков к начальнымъ подначальнымъ быти выну да тщится» Сим. П., стр. 11; «къ воровству склонны» Ст. Р. стр. 47; «лакома овца к соли, а коза к воли» П. П. вр., л. 8 об.; «не падок ли к питью» Пос., л. 19 об.

Сюда близки также случаи с отвлеченными именами существительными в дательном падеже; предложное сочетание отвечает на вопрос «в какомъ отношении?» Некоторые примеры: «о умиленно ко услышанию и тяжко ко изречению!» Курб. Ист., стл. 272; «...недуги твои душевные, многими лѣты застарѣвшіеся и неудобные ко исцелению...» Курб. Отв., стл. 129.

б) Предложное сочетание *кѣ + дат. п.* при именах существительных. Некоторые примеры: «Володимиръ... любѣвь многу имѣяше къ стѣйма» Б. и Г., л. 24; «а нелюбья ти, княже, не держати к Новгороду» Н. гр. № 14, 1326—27 гг.; «...видя покorenье ихъ к собѣ, не помяна злобы ихъ» Лавр. 1210 г.; «...казнити безъ милости за ихъ неисправление къ своему государю» Сим. 1471 г.; «паки той Борисъ нача въ сердца своемъ безпре-

станнымъ желаниемъ горѣти къ державству Московского государства . . » Ин. ск., стл. 10; «а у меня, государь, к русской грамоте пристала охота большая» Хоз. Мор. № 176.

б) Предложное сочетание *къ + дат. п.* может обозначать предмет, к которому нечто присоединяется, добавляется. Некоторые примеры: «приложю къ безаконию убо безаконие» Б. и Г., л. 13; «си изглавъша и ина къ симъ невидима быста отъ наю» Б. и Г., л. 23 об.; «того съ радостію приять и причѣте къ стаду своему» Ф. Печ., л. 50; «се же к тому гнѣвашеся на мать» Лавр. 955 г.; «тое же зимы даша Изяславу Туровъ и Пинескъ к Мѣньску» Лавр. 1132 г.; «имъ на тѣ денги купити к монастыремъ земли» Стогл., л. 283; «вы бѣ ихъ написали во Псковѣ въ стрѣльцы къ старымъ псковскимъ стрѣльцамъ» Стр. 11, 781 стл.; 1632 г.; «руку у него к старой болезни испортили» Хоз. Мор. 11, № 280; «к слову молылось» Авв., л. 250.

Предложные сочетания *къ тому* и *къ сему* нередко приобретают оттенок временного значения «*после того*», «*впередъ*»: «се чѣль еси, къ тому не съгрѣшай» Ип. 1144 г.; «и к тому не въпрашайте мене» К.—П. пат., л. 114; «то и ту стремление плоти и ражъжение телеси не преста, но и къ сему врагъ дияволъ пострахы ми творяше» К.—П. пат., л. 160 об.; «да возбранять и запретять к тому таковая не творити» Стогл., л. 206.

Отметим изменения, связанные с употреблением *къ + дат. п.* в объектных значениях. Весьма сильному ограничению подверглось употребление предложного сочетания в значении предмета, к которому направлено или обращено действие. При глаголах зрительного восприятия в современном русском языке употребляется предложное сочетание *на + вин. п.*; оно встречается уже в памятниках древнерусского языка: «Твърдиславъ же, позя на святую Софию . . » Н. I, 1218 г. При глаголах словесного и письменного общения предложное сочетание *къ + дат. п.* использовалось в древнерусском языке наряду с беспредложным дательным падежом и примерно в том же значении. Постепенно употребление предложного сочетания при этих глаголах ограничивается: для выражения объекта общения окончательно закрепляется беспредложный дательный падеж (т. н. дательный адресата сообщения). В ряде случаев беспредложный дательный падеж закрепляется и при глаголах психического движения (совр. русск.: *верить, клясться, молиться, внимать* — с беспредложным дательным падежом). Что касается значения предмета, к которому имеет отношение какое-либо состояние или свойство, то это значение уже к XVI—XVII вв. стало передаваться иными грамматическими средствами, в том числе творительным падежом с предлогом *передъ*: «хвалятся *перед* царем» Ск. о бог., стр. 365. Сохранились в современном русском языке главным образом лишь случаи при именах существительных («любовь к брату», «ненависть к врагам») и некоторых прилагательных (*склонен, милостив*). Из синонимических предложных сочетаний древнерусского языка

можно указать на родительный падеж с предлогом *до*: «а не любя ти, княже, не держати . . до посадника и до тысяцкого и до всего Новагорода» Н. гр. № 14, 1326—27 гг.

В значении предмета, к которому нечто добавляется, в древнерусском языке использовались еще родительный падеж с предлогом *сверхъ* и творительный (иногда винительный) падеж с предлогом *надъ*. Примеры: «взяти исцовъ искъ на судьбъ, а пеню сверхъ того, что гдѣрь укажетъ» Суд. 1550 г., стр. 50; «а онъ же Киевъ собѣ, и ѣще *надъ* тѣмъ и Туровъ и Пинескъ у мене отнялъ. .» Ип. 1151 г.; «а над то надо все нашего врага Юрьева Святославлича сына Федора принялъ есте» Н. I К., 1412 г. В современном русском языке это значение наблюдается у предложного сочетания *къ + дат. п.* главным образом лишь в том случае, когда управляющий глагол обладает сам по себе лексическим значением прибавления (*прибавить, приписать*). В остальных же случаях обычно употребляется родительный падеж с предлогами *сверх, кроме, помимо* («руку у него к старой болезни испортили» = «помимо старой болезни, ему испортили руку»).

*

Таким образом, изменения в употреблении дательного падежа с предлогом *к* сводятся к следующему.

1) Получает дальнейшее развитие пространственное значение предмета, в непосредственную близость которого направлено движение («подойти к столу»); при этом перестают употребляться некоторые синонимические средства грамматики: создается единообразие способов выражения определенного значения.

2) Из остальных пространственных значений полностью исчезают те, которые наименее связаны с основным значением предложного сочетания (указание направления к предмету) — значение места на вопрос *где?*, значение пункта, в пределы которого проникает движение. Эти значения окончательно закрепляются за теми грамматическими средствами, которые выражали их уже ранее, наряду с рассматриваемым предложным сочетанием. Единообразие способов выражения определенных значений усиливается и здесь.

3) Сильному ограничению подвергается употребление *к + дат. п.* в объектных значениях. При этом значения, которых лишается рассматриваемое предложное сочетание, закрепляются за синонимическими средствами предложно-падежного синтаксиса, применяющимися наряду с ним в течение длительного периода. Сохраняется и распространяется лишь значение предмета, к которому имеет отношение какое-либо свойство, качество, состояние, — в применном употреблении предложного сочетания («симпатия к человеку», «безучастный ко всему»).

4) В результате всех изменений значения предложного соче-

тания *к+дат. п.* более тесно группируются вокруг его основного значения; вместе с тем они обладают более узким кругом синтаксических синонимов и совершенно не имеют при себе равнозначных грамматических средств.

5) С течением времени произошло четкое распределение значений, сферы применения между рассматриваемым предложным сочетанием и беспредложным дательным падежом, в результате чего в современном русском языке уже невозможно (за крайне редкими исключениями) безразличное использование этих двух грамматических средств.

Список сокращений в указании источников

- А. гр. р. — Акты, относящиеся до гражданской расправы древней Руси. Собрал и издал А. Федотов-Чеховский. I. Киев 1860.
- Авв. — Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. Петр. 1916.
- Алекс. — В. Истрин. Александрия русских хронографов. М. 1893.
- Б. и Г. — Сказание о Борисе и Глебе. Усп. сб. XII в. — Чтения МОИДР. М. 1899, кн. 2.
- Вопр. К. — Вопросания Кирика, Саввы и Ильи с ответами Нифонта. Русская историческая библиотека (РИБ), т. VI, ч. I, СПб. 1908.
- Д. п. Н. — Дело о патриархе Никоне. СПб. 1897.
- Дог. — Духовные и договорные грамоты московских великих и удельных князей XIV—XVI вв. Изд. АН СССР. М.—Л. 1950.
- Дом. — Домострой по Коншинскому списку и подобным. К изданию приготовил А. Орлов. М. 1908.
- Жит. Дм. Ив. — Повесть о житии и преставлении в. кн. Дмитрия Ивановича. — Хрестоматия по древней русской литературе. М. 1952.
- Жит. Ник. — Житие и подвиги Никандра пустынножителя. — Очерки по истории псковского монашества. — Чтения МОИДР. М. 1912, кн. 4.
- Зад. — Слово Софония Рязанца («Задонщина»). Уч. Зап. МГПИ имени В. И. Ленина, т. 33. М. 1947.
- Ин. ск. — Иное сказание. — РИБ, т. XIII. СПб. 1891.
- Ип. — Ипатьевская летопись. — Полное собрание русских летописей (ПСРЛ), т. II, СПб. 1871.
- К.-П. пат. — Патерик Киево-Печорского монастыря. — Памятники славяно-русской письменности. Вып. 2. СПб. 1911.
- Каз. лет. — Казанский летописец. — История о Казанском царстве. ПСРЛ, т. XIX. СПб. 1903.
- Кот. — О России в царствование Алексея Михайловича. Сочинение Григория Котошихина. СПб. 1906.
- Курб. — Сочинения кн. Курбского. РИБ, т. XXXI. СПб. 1914. Ист.: История о великом князе Московском. Отв.: Отвещание царице Московскому.
- Лавр. — Лаврентьевская летопись. ПСРЛ, т. I. Лен. 1926—1927.
- Лег. о божн. — Легенда о варажской божнице. — Памятники старинной русской литературы, изд. Г. Кушелевым-Безбородко. Вып. I. СПб. 1860.
- Н. I — Новгородская I летопись старшего и младшего изводов. Синодальный список. Изд. АН СССР. М.—Л. 1950. Н. I К. — Комиссионный сп.
- Н. гр. — Грамоты Великого Новгорода и Пскова. Изд. АН СССР. 1949.
- П. XVII в. — Пословицы XVII в. — Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. Собр. П. Симони. СПб. 1899.
- П. П. вр. — Пословицы Петровского времени. — Старинные сборники русских пословиц... Собр. П. Симони. СПб. 1899.
- Пос. — И. С. Посошков. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. Изд. АН СССР. М. 1951.

- Пр. Варл. — Пророчество Варлаама. — Памятники старинной русской литературы, изд. Г. Кушелевым-Безбородко. Вып. I. СПб. 1860.
- Пск. 1 — Псковская 1 летопись. ПСРЛ, т. IV. СПб. 1848 (Архивный список).
- Пск. 2 — Псковская 2 летопись. ПСРЛ, т. V. СПб. 1851.
- Сим. — Симеоновская летопись. ПСРЛ, т. XVIII. СПб. 1913.
- Сим. П. — Симеон Полоцкий. Избранные сочинения. Изд. АН СССР. 1953.
- Ск. о бог. — Сказание о киевских богатырях. — Труды Отдела древне-русской лит-ры Инст. русск. лит. АН СССР, т. IX. М.—Л. 1953.
- Сл. Д. З. — Слово Даниила Заточника. — Памятники древней письменности, вып. 81. СПб. 1889.
- Ст. Б. — Повесть о приходе Стефана Батория на град Псков. Изд. АН СССР. М.—Л. 1952.
- Ст. Р. — Материалы для истории возмущения Стеньки Разина. Изд. Русской беседы. М. 1857.
- Стогл. — Стоглав. М. 1890.
- Стр. — Архив П. М. Строева. I. РИБ, т. XXXII. II. РИБ, т. XXXV. СПб. 1915—17.
- Суд. — Судебники 1497 и 1550 г.г. — Законы в. кн. Иоанна Васильевича и внука его царя Иоанна Васильевича. М. 1878.
- Сузд. Ак. — Суздальская летопись по Академическому списку. ПСРЛ, т. I, вып. 3. Лен. 1928.
- Улож. — Уложение царя Алексея Михайловича, М. 1649.
- Уст. лет. — Устюжский летописный свод. Изд. АН СССР. М.—Л. 1950.
- Ф. Печ. — Житие Феодосия Печерского. Успен. сб. XII в. — Чтения МОИДР, М. 1899, кн. 2.
- Хоз. Мор. — Акты хозяйства боярина Морозова. Ч. I, II. М.—Л., 1940—1945.
- Чер. — Акты феодального землевладения и хозяйства XIV—XVI в.в. Подготовил к печати Л. В. Черепнин. Ч. I. М. 1951.

VENE KEELE PREPOSITIONAALSETE ÜHENDITE AJALOOST

Filoloogiateaduste kandidaat A. Pravdin

Vene keele kateeder (eriaine)

Resümee

Iga keele grammatilise ehituse arengule on omane selle ehituse järkjärguline täiustumine, mis konkreetsetel juhtumitel väljendub erinevalt. Analüüsisides daativkäände kasutamist koos prepositsiooniga κ vene keele vanimast perioodist kuni tänapäevani, tuleb ilmsiks rida keeles toimunud muudatusi, mida võib pidada prepositsionaal-käandelise süntaksi süsteemi täiustumise ja korraldumise protsessis toimunud muudatusteks. Tähenduste arv, mida väljendati kunagi mainitud prepositsionaal-käandelise ühendiga, väheneb. Säilinud ja edasiarenevad tähendused on oma mõistelt terviklikumad ning nad rühmituvad tihedamalt prepositsionaalse sõnaühendi põhilise tähenduse ümber (ese, mille vahetusse lähedusse on suunatud tegevus). Prepositsionaalse sõnaühendi need tähendused, mis pole olnud otseselt seotud põhilise tähendusega ja on väljendatavad teiste grammatiliste vahenditega, kaovad. Tugevneb grammatiliste väljendusviiside ühtlustumine. Samaaegselt toimub tähenduste selgem piiritlemine daativkäände prepositsioonita ja prepositsiooniga kasutamise sfääris; seoses sellega kaasaegne vene keel, erinevalt vanavene keelest, peaaegu ei võimalda enam nende grammatiliste vahendite meelevaldset kasutamist.

О ФОРМЕ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Канд. филол. наук Б. Егоров

Кафедра русской литературы

В многочисленных исследованиях, посвященных деятельности революционных демократов, достаточно подробно охарактеризованы основные черты их критического метода. Но при этом авторы ограничивались изучением идейной сущности, содержания работ Белинского, Чернышевского, Добролюбова, совершенно не рассматривая форму, в которой это содержание выражено. Насколько нам известно, лишь проф. Л. П. Гроссман занимается анализом формы литературно-критических статей.¹ В целом же форма литературной критики — совершенно не исследованная область нашей науки.

Критические работы — это жанр, примыкающий к беллетристике, наряду с очерком, публицистикой, мемуарами, и образующий оригинальную, специфическую область литературы (хотя, разумеется, в основе критики лежит научный, а не художественный метод познания). Основная характерная черта этого жанра, связывающая его с художественной литературой, заключается в том, что о чём бы ни говорилось в критической работе, везде чувствуется точка зрения автора в оценке эстетического и этического. За конкретными фактами и за абстрактными выводами встаёт личность автора, как выразителя определенной общественной идеологии. Одни явления он радостно приветствует, другие беспощадно разоблачает, над третьими смеётся и т. д. Он волнуется, страдает, радуется. Но дело не только в этом. Критик, как и писатель, рассчитывает эмоционально воздействовать на читателя, поэтому свою точку зрения, свои симпатии и антипатии он стремится выразить как можно убедительнее и ярче. И если критик излагает социально близкие для читателя идеи убедительно и ярко, то читатель волнуется, страдает и радуется вместе с критиком, тем самым значительно глубже и сильнее усваивая идеологиче-

¹ См., например, его интересную, хотя и не без недостатков, статью «Поэтика Белинского» в «Ученых записках» Московского городского педагогического института им. В. П. Потемкина, т. XXXIV, М. 1954.

скую сторону критических работ (кстати сказать, многие научные сочинения по этим же причинам содержат в себе эстетический элемент).² При этом, в отличие от очерка и публицистической статьи, содержание литературной критики теснейшим образом связано с художественными произведениями, сюжетами, образами; часто в критической статье произведение или образ оказываются заново осмысленным и как бы заново рожденным, заново волнующим и вдохновляющим читателей. Иными словами, критика имеет не только познавательное значение, она, являясь посредником между литературой и читателем, способна эмоционально, эстетически воздействовать на читателя, воспитывать его в духе передовых идеалов эпохи. В соединении с последним познавательное значение неизмеримо возрастает. Поэтому невнимание к эстетической сущности критики снижает ценность идеологическо-познавательной стороны. А раз имеется эстетический фактор, то произведение примыкает к явлениям искусства и подлежит разбору с точки зрения не только содержания, но и формы.

Критический метод Добролюбова явился развитием революционно-демократического понимания литературы в обстановке 60-х годов и, в первую очередь, в применении к литературным явлениям этого периода. Основы этого метода были заложены Белинским в 40-е годы. Отражая интересы крепостного крестьянства, Белинский пришел к утверждению материализма, историзма и реализма. Литература, с его точки зрения, отражает и объясняет жизнь общества, социальные противоречия, борьбу в обществе: писатель показывает, «что положение такого-то класса в обществе действительно много улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин», и тем самым убеждает читателя («Взгляды на русскую литературу 1847 года»). Отсюда задача критика — выяснить, насколько широко и глубоко удалось писателю показать и объяснить эти явления, и если это сделано недостаточно широко и глубоко, то критик обязан дополнить писателя, особенно в смысле объяснения причин.

Таким образом, самое главное в критике — историческое объяснение художественных образов (поэтому Белинский и назвал свою критику исторической), и, прежде всего, ответ на вопрос «Кто виноват?». Название герценовского романа очень метко характеризует основную проблему 40-х годов. Но чем острее становилась классовая борьба, тем яснее понималось разложение феодально-крепостнической системы, тем ближе подходил Белинский к вопросу «Что делать?». Вершина его творчества — письмо к Гоголю — в этом отношении очень показательна: здесь уже прямо дается социально-политическая программа-минимум. Смерть Белинского прервала его критическую деятельность на этом этапе.

² Недаром К. Маркс называл свой «Капитал» «художественным целым». См. об этом книгу М. Нечкиной «Литературное оформление «Капитала» К. Маркса», Партиздат, 1932.

Дальнейшее усиление противоречий самодержавного строя привело страну к революционной ситуации, к отмене крепостного права, к знаменитой эпохе 60-х годов. В условиях революционного подъема вопрос «Что делать?» приобретал совершенно исключительное, первостепенное значение. Насколько он был важен и в отношении литературы, видно уже в диссертации Чернышевского, в определении Чернышевским трёх основных черт искусства (воспроизведение жизни, объяснение жизни и приговор над жизнью).

Казалось бы, какая разница между объяснением и приговором? Но есть глубокий смысл в дополнении двух факторов Белинского третьим, «приговором». Чернышевский хотел подчеркнуть этим громадную важность для литературы не только объяснения жизни социально-историческими условиями, но и перехода к социально-политическим выводам, к ясной программе действия. «Приговор» — это ответ на вопрос «Что делать?».

Добролюбов своим методом «реальной критики» дополнил и уточнил эти идеи Чернышевского. Задача литературы — изображать «различные стороны жизни» с точки зрения народных интересов. Но так как многие крупные писатели, из-за противоречивости их «миросозерцания», лишь частично становятся на эту точку зрения, то в их произведениях может не быть революционно-демократического приговора. В таком случае задача «реальной критики» — не только объяснить причины жизненных явлений, отображенных в литературе, но и сделать политические выводы.

Известно, что социально-политическое насыщение литературно-критических статей было характерно уже для прогрессивной журналистики 40-х годов. Тогда литературно-критические статьи были почти единственным материалом, где можно было в завуалированной форме выражать социально-политические взгляды. В период 60-х годов, особенно начиная с 1859 года, этой цели служили прежде всего работы непосредственно социального, политического, экономического характера. И, тем не менее, социально-политические элементы в литературной критике в период революционного подъема перед 1861 годом не только не уменьшились, а увеличились. Но сущность дела заключалась не только в большем проценте политических намёков по сравнению с таковыми в 40-е годы. Самое главное, в условиях отсутствия революционной ситуации еще не стоял так остро вопрос «Что делать?». В постановке на первое место и решении этого вопроса заключается специфическая черта революционно-демократической критики 60-х годов. Литературно-критическая статья теперь композиционно строится так, чтобы концовка была именно социально-политическим тезисом, программой. Первой статьей, которая содержала такое заключение, была рецензия Добролюбова на «Губернские очерки» Щедрина («Современник», 1857, № 12). Из анализа художественного произведения Добролюбов делает политический вывод, которым

и заканчивается рецензия: представители господствующих сословий не способны на активные общественные действия, единственный класс, на который можно надеяться, — народ.

Следующий шаг был сделан Чернышевским в статье «Русский человек на rendez-vous» (1858), в концовке которой содержится широкий анализ современного политического состояния страны и сделаны соответствующие выводы. Вслед за этим большинство литературно-критических статей Добролюбова и Чернышевского стали заканчиваться формулировкой социально-политических проблем.³ И чем интенсивнее развивалась классовая борьба, тем концовки становились острее. Заключение знаменитой статьи «Луч света в темном царстве» — прямое указание на необходимость скорейшего социально-политического переворота.

Такова самая характерная особенность композиции литературно-критических статей Чернышевского и Добролюбова. В процессе дальнейшего роста освободительного движения в России этот способ построения литературной статьи нашел исключительно широкое применение в передовой критике, особенно в марксистской критике и публицистике, найдя свое предельно образцовое завершение в статьях В. И. Ленина, затрагивающих литературные проблемы.

Важную роль в дополнение к концовкам играют в статьях Добролюбова эпитафии. Разумеется, сам факт использования этого компонента в литературной критике не был новым, его широко применяли еще в 20-х годах, в период декабристского движения. Обильно насыщал эпитафиями свои первые статьи Белинский: он сопровождал соответствующим эпитафием каждую главу «Литературных мечтаний» (всего 10), а затем и большинство своих крупных статей 1830-х годов. Уже ранние работы Белинского содержали в себе такое богатство идей и чувств, что никакие эпитафии не могли вместить в себе концентрированное выражение этого богатства. Поэтому они обычно соответствовали лишь незначительной части идейного содержания статьи, а иногда и этому не отвечали, играя иную роль. Так, в «Литературных мечтаниях» встречаются такие эпитафии: «Pas de grâce!» («Пощады нет!») (к 2 главе), «La vérité! La vérité! rien plus que la vérité!» («Истина! Истина! Ничего кроме истины!») (к 3 главе), «Вперед, вперед, моя история!» (к 5 главе), «Amicus Plato, sed magis amica veritas» («Платон — друг, но больший друг истина») (к 7 главе), «Было время!...» (к 8 главе), «Еще одно последнее сказанье, и летопись окончена моя!» (к 10 главе). Все они вскрывают субъективно-эмоциональное отношение автора к материалу,

³ Исключением были те статьи, которые служили целям развенчания реакционных или халтурных произведений: на основе сюжета и образов этих произведений трудно было сделать позитивные социально-политические выводы, да в этом и не было необходимости: достаточно было показать ничтожность подобных литературных явлений (см. рецензии Добролюбова на сочинения Пивоварова, Бешенцова, Туроверова, Бажанова и др.).

но отнюдь не сам материал. Эпиграфы как бы способствуют общей тенденции молодого Белинского к романтической «беллетризации» критической статьи. Недаром подавляющее большинство эпиграфов у Белинского — литературные и даже стихотворные тексты.

Но чем дальше, тем меньше использует эпиграфы Белинский. Из нескольких десятков его известных статей 1840-х годов лишь шесть содержат их («Русская литература в 1840 году», «Стихотворения М. Лермонтова», «Стихотворения Полежаева», «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке», «О жизни и сочинениях Кольцова», «Н. А. Полевой»). В последние два года жизни Белинского эпиграфы фактически исчезают из его трудов. Это постепенное исчезновение связано со следующими причинами: благодаря усилению в статьях Белинского историзма, благодаря переходу к строго объективному анализу отпала необходимость в субъективно-эмоциональных эпиграфах; но и «объективных», т. е. передающих основной смысл статьи, становилось все меньше и меньше, так как дальнейшее расширение и углубление проблематики работ Белинского, его новаторство приводило к решению таких оригинальных, сложных, никем еще даже не ставившихся вопросов, что к ним невозможно, да и не нужно было подбирать эпиграфы.

В 60-е годы наблюдается совершенно противоположное явление: до 1859 г. в литературной критике у Добролюбова эпиграфы полностью отсутствуют, в публицистике они очень редки. То же у Чернышевского. Но с 1858—1859 гг. они неожиданно интенсивно включаются в труды революционных демократов, особенно в литературную критику. Этот факт нельзя объяснить «беллетризацией», таковой не было (кстати сказать, Добролюбов и Чернышевский почти не используют стихов; а в научных работах последнего эпиграфы вообще взяты в основном из научных же сочинений).

В этот период, как мы уже говорили, литературно-критическая статья «Современника» приобретает особую концовку, содержащую социально-политические выводы. Эпиграф же становится «ближайшим помощником» этой концовки. Он как бы предвещает — в самом начале статьи — будущие выводы. Но он не повторяет концовку, вернее концовка не повторяет его. Эпиграф существенно дополняет выводы и не только выводы — всю концепцию статьи. В рецензии Добролюбова на роман Гончарова «Обломов» («Что такое обломовщина?») проводится такая мысль: «Обломовка есть наша прямая родина, ее владельцы — наши воспитатели, ее триста Захаров всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова.»⁴ На первый

⁴ Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в 6 тт., под ред. П. И. Лебедева-Полянского, М., ГИХЛ, 1934—1941, т. 2, стр. 31.

Все дальнейшие ссылки на это издание даются сокращенно: (2, 31), — с указанием тома и страницы.

взгляд кажется, что Добролюбов очень широко распространяет понятие обломовщины. Многие современники поняли эти слова как обращение ко всей России. Правда, Добролюбов подчеркнул, что категория людей, от лица которых ведется повествование («мы»), пользуется услугами трехсот Захаров, но на это не все обратили внимание. Между тем Добролюбов и этим не ограничился. Несколько ниже он прямо подчеркнул, что в массе трудового народа деятельные «люди беспрестанно попадают» (2, 32). Наконец, эпиграф к статье (из 2-ой части «Мертвых душ») еще яснее показывает сущность добролюбовской мысли: «Веки проходят за веками, полмиллиона сидней, увальней и болванов дремлет непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произнести его, это всемогущее слово . . .» Добролюбов (как и Гоголь!) прекрасно знал, что население России составляет около 65 миллионов человек: он писал об этом в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1, 209). Следовательно, под «полмиллиона сидней, увальней и болванов» (что составляет меньше одной сотой всего населения) и Гоголь, и Добролюбов подразумевали представителей эксплуататорских классов (нужно учитывать, конечно, всю разницу представлений об этих классах у Гоголя и Добролюбова!). Таким образом, эпиграф окончательно объясняет точку зрения автора.

Начало же этого эпиграфа («Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово «вперед»?») является риторическим вопросом, ответом на который служит вся статья и особенно ее заключение.

Таковы функции эпиграфа в рассмотренной статье Добролюбова. В других случаях он может носить чисто иронический характер, как например, в 5-ой главе статьи «Темное царство»:

В терпеньи тяготу сноси
И без роптания прости.

Содержание же этой главы проникнуто страстным убеждением в том, что наступает конец рабскому терпению и покорности.

А начиная со статьи «Русская сатира в век Екатерины» эпиграф у Добролюбова приобретает новую функцию: он теперь помогает полнее раскрыть мысль, которая по цензурным условиям не может быть высказана в заключении, т. е. является особым «эзоповым» приемом: эпиграф сам по себе еще не представлял опасности, его революционный смысл выяснялся лишь после прочтения всей статьи. Эпиграф к статье Добролюбова «Русская сатира в век Екатерины» взят из басни Крылова «Кот и повар»:

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить,
Чтоб там речей не тратить попустому,
Где нужно власть употребить.

Из этого отрывка трудно понять, что хотел сказать автор (может быть, он призывает к усилению власти самодержавия!). Лишь из контекста всей статьи становится ясно, что для Добролюбова либеральное обличительство — трата речей попустому, что уничтожить несправедливость можно лишь установлением власти народа, «самобытным воздействием народной жизни». Цензура просмотрела этот смысл. В статье «Когда же придет настоящий день?» эпитафия — начало известного стихотворения Гейне «Доктрина»: «Бей в барабан и не бойся». Его понять можно также лишь в связи с заключением статьи: страна находится накануне крупного общественного взрыва; необходимо ускорить нарастание народного движения; необходим призыв к борьбе, нужен барабанщик революции!

Таким образом, эпитафия тесно была связана с концовкой. Работа становилась как бы замкнутой эпитафией и заключением, становилась цельной, монолитной. Для уяснения сущности статьи приходилось вновь возвращаться к началу, а от начала стержневые мысли шли через всю статью к концовке. В отдельных случаях эпитафия сливалась с концовкой, точнее, статья не начиналась, а заканчивалась афоризмом, цитатой. Яркий пример этого случая — заключение статьи Чернышевского «Русский человек на rendez-vous».

Перевод литературных явлений в социально-политический план обусловил не только указанные особенности, но и общую структуру критического труда. В статье «Что такое обломовщина?» Добролюбов очень тонко охарактеризовал эту общую черту: «статья наша написана не об Обломове, а только по поводу Обломова» (2, 6). Год спустя Добролюбов писал, что его основной метод — «толковать о явлениях самой жизни на основании литературного произведения» (2, 207). Для Добролюбова важно прежде всего значение произведения для современности и возможность сделать на основе его содержания соответствующие социально-политические выводы. Благодаря этому принципу «по поводу», статья Добролюбова имеет, исключая относительно постоянный вид концовок, весьма свободную композицию. В этом отношении Добролюбов продолжает на новом этапе свободную композицию статей Белинского: где нужно, дается отступление от анализа ради экскурса в теорию литературы (напр., рассуждение о методе и мировоззрении писателя в статье «Темное царство»); где нужно, автор приводит литературную параллель между образами («Что такое обломовщина?»); где нужно, статья неожиданно прерывается спором с предполагаемым противником, или другим каким-либо полемическим приемом, или развернутой аллегорией, художественным образом, необходимым для передачи такой идеи, которая по цензурным условиям не могла быть высказана прямо.

При этом у Добролюбова этих так называемых «отступлений» больше, чем у Белинского, так как из статьи теперь почти полностью исчезает комментирование сюжета в сопровождении боль-

ших (иногда на несколько страниц) цитат из текста рецензируемых произведений, что у Белинского занимало еще значительное место, и взамен этого на первый план выходят именно «отступления». Рассмотрим с этой точки зрения статью «Когда же придет настоящий день?» (2, 206—240). Вступление к статье посвящено изложению основных принципов критического анализа Добролюбова (206—208). Далее следует общая характеристика творчества И. С. Тургенева (208—212), и лишь с 213 стр. автор переходит непосредственно к роману «Накануне», к образу Елены, анализ которого занимает 5 страниц, из них одна (216) является «отступлением» — литературная параллель с образом Ольги из романа Гончарова «Обломов». Затем идут страницы, посвященные Берсеневу и Шубину (218—220), наконец, автор приступает к анализу образа Инсарова, этот анализ продолжается до конца статьи, но постоянно прерывается «отступлениями»: о таланте Тургенева поэтически и ярко рисовать женскую любовь (222), о «блюстителях» нравственности (223), о слове и «деле» «передовых» людей русского общества (224—225), о сложных условиях русской жизни, о классовой борьбе (227—228, 229—230), о либералах — «Дон-Кихотах» (229). Добролюбов подробно рассказывает, используя историю злоключений своего товарища студенческих лет И. Поржницкого (не называя его имени), о невозможности в одиночку бороться с самодержавием (230—231), затем так же подробно рисует картину становления в юноше передового сознания (232—234). Наконец, на последних двух страницах (239—240) даются выводы о возможности появления Инсарова в России.

В общем из 35 страниц статьи непосредственно роману посвящено всего лишь 18 страниц. Аналогичная пропорция наблюдается и в других статьях Добролюбова (например, «Луч света в темном царстве», которая занимает в том же издании 57 страниц, содержит около 30 страниц «отступлений»).

Усиление акцента на «отступлениях», широкое распространение в революционно-демократической критике статей «по поводу» вызвало большое недовольство в либеральной и реакционной прессе. Рецензент «Библиотеки для чтения» П. Вейнберг, критикуя статью Н. А. Добролюбова о Кольцове, одним из главных ее недостатков считает обилие «отступлений».⁵

Тем не менее, даже враги «Современника» вынуждены были признать, что именно революционно-демократическая критика является главенствующей и отвечающей современным задачам. Даже Дружинин, который в 1856 году резко отрицательно отзывался о методе критики Белинского, в 1860 году должен был признать в ошибочности такой оценки и положительно охарактери-

⁵ Библиотека для чтения, 1859, № 1, стр. 22—23.

зовать политико-публицистическую направленность статей Белинского.⁶

Но наиболее точно, пожалуй, обрисовал характерные черты передовой критики 60-х годов рецензент «Отечественных записок» П. Басистов в статье «Вопрос о критике»: «Нам всегда казалось странным, что некоторые обвиняли наши журналы в отсутствии критики. Если в них нет статей под заглавием «критика», то есть разборы современных вопросов и тенденций, и эти разборы имеют полное право стоять на почетном месте в ряду явлений современной критики. Когда поэзия стремится нравиться нам своей нравственно-политической стороной, тогда и критика должна обратиться главным образом к этой стороне. И она очень хорошо делает, если не называет себя разбором целого произведения, а озаглавливается тем вопросом, которым занимается. Этим избегается смешение понятий... В наше время возможен только разбор нравственно-политических тенденций, следовательно, этот разбор есть единственно возможная в наше время критика.»⁷

Свободная композиция добролюбовских статей не уничтожила их жанрового богатства (как не уничтожила и у Белинского). Если классифицировать жанры с точки зрения объекта исследования, у Добролюбова мы встречаем и рецензию на отдельное произведение или группу произведений одного писателя (сюда относится большинство критических статей Добролюбова), и очерк творчества писателя, литературный портрет («А. В. Кольцов», «Стихотворения А. Полежаева»), и проблемную статью («О степени участия народности в развитии русской литературы»), и очерк литературы определенного рода за определенный период, литературный обзор («Обзор детских журналов» — за 1859 год).

Но удельный вес всех этих жанров несколько иной, по сравнению с критикой Белинского, что объясняется опять же специфическими условиями 60-х годов XIX века. Появление, существование, господство тех или иных жанров литературной критики теснейшим образом связано с господством определенной идеологии. Недаром рецензия появилась впервые в России в журналах Карамзина, в период становления сентиментализма (интерес к частному, отдельному), а жанр обзора — в журналах декабристского романтического лагеря, после 1812 года (попытка осмыслить в совокупности происшедшие события мирового значения, попытка обобщения фактов истории и литературы).⁸

⁶ См. А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. 7, Спб, 1865, стр. 603.

⁷ Отечественные записки, 1859, № 1, стр. 11—12.

⁸ Интересно отметить, что развитие жанра обзора как «большой формы» критики шло аналогично развитию «большой формы» в литературе — романа. Известен путь романа: первоначально «большая форма» эпоса составляется механически из отдельных рассказов, которые «циклизируются» вокруг одной темы, и лишь затем появляется цельное произведение с единым сюжетом, с единой системой образов (так развивался и западно-европейский роман: от сборников новелл типа «Декамерона» к «Дон-Кихоту» и «Путешествиям

Но наиболее благоприятные условия для развития жанра литературного обзора возникли в период становления реализма в русской литературе и исторической критики в трудах Белинского (его предшественниками следует назвать И. Киреевского и Надеждина). Историзм Белинского был, естественно, ограниченным, он заключался в основном в понимании обусловленности явлений современной исторической эпохой, причем «вообще» эпохой; лишь в последние годы жизни Белинский подошел к мысли о том, что жизненные явления обусловлены социальными факторами данной эпохи. Но и такой ограниченный историзм явился громадным шагом вперед от «вкусовой», идеалистической критики романтизма. Он привел к обобщению, к рассмотрению литературных явлений во взаимосвязи с историей, с общественной мыслью, в диалектическом движении от эпохи к эпохе. Поэтому жанр литературного обзора становится ведущим в деятельности Белинского 40-х годов.⁹

Однако, как это ни парадоксально, дальнейшее развитие революционно-демократической критики в условиях 60-х годов, идущее параллельно с развитием и углублением историзма и реализма, не только не привело к расширению и увеличению удельного веса жанра литературного обзора, но, наоборот, к почти полному его уничтожению. Из нескольких сот критических статей Добролюбова лишь одна может быть безоговорочно зачислена в

Гулливера», и русский: от «Повестей Белкина» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — через «Героя нашего времени» и «Мертвые души» — к романам Гончарова и Тургенева.

Таков же путь литературного обзора. Первоначально он (обзор) появляется в журнале «Сын отечества» за 1814 год как механическая регистрация всей выходящей в стране книжной продукции с минимальными комментариями, а через десятилетие А. Бестужев-Марлинский смог создать цельные обзоры русской словесности, проникнутые единством теоретической программы автора.

⁹ Если говорить точнее, то на состояние жанров влияет еще один фактор. Социальные воззрения критиков (или более широко — лиц, стоящих во главе журнала или газеты) определяют отношение печатного органа к различным классам читателей, назначение этого органа для тех или иных классов, его тираж и т. п. Это все, в свою очередь, обуславливает отношение критико-библиографического отдела к книжной продукции, определенный род книжной пропаганды, что имеет связь с жанром: обозрение или рецензия могут иметь не только проблемно-теоретический или оценочный смысл, но и служить пропагандистским целям, агитировать своих читателей за ту или другую книгу. Собственно говоря, критика явно или неявно выполняет эту функцию с момента своего появления на страницах журналов, начиная с XVIII века. Вопрос этот почти совершенно не разработан в литературоведении. Тем не менее, в первом приближении, можно опустить его, так как во-первых, он заслуживает специального исследования, а, во-вторых, для определения причин развития или упадка жанра проблема взаимоотношения журнала с читателями не имеет самостоятельного значения, ибо сама обусловлена более значительными факторами: социальным, политическим, литературно-эстетическим. Связь этих факторов с историей жанра нас и привлекает в первую очередь.

этот жанр¹⁰ (мы уже ее называли — «Обзор детских журналов»). Объяснить это обстоятельство отсутствием крупных литературных явлений в этот период, т. е. отсутствием материала для обзора, — невозможно, так как 60-е годы дали крупнейших писателей России во главе с Тургеневым, Гончаровым и Островским. Объяснения следует искать, как уже говорилось, в специфических условиях существования литературной критики 60-х годов, в условиях выдвижения на первый план социально-политических проблем. Между прочим, это настолько было ясно, что даже катковский «Русский вестник» не мог не признаться: «журналы... сами потеснили свою литературную критику и дали обширное место политическим обзорениям. В журналах исчез также обычай литературно обзирать друг друга... Не служит ли это также некоторым доказательством, что время наше есть время не совсем литературное?»¹¹

Действительно, одно из главных мест в журналах 60-х годов занимает именно жанр политического, а не литературного обзора. Именно потому, что требовалось прежде всего обобщить, осмыслить политические, а не литературные факты, жанр литературного обзора фактически исчезает в журналистике 60-х годов. А для статьи «по поводу» наилучшим литературным объектом служило, конечно, какое-либо одно крупное художественное произведение, поднимающее важные современные вопросы. К жанру монографической рецензии (т. е. рецензии на отдельное произведение) принадлежит поэтому большинство крупных добролюбивских статей. Таким образом, вместо литературного обзора, господствующего в 40-х годах, ведущим жанром 60-х годов становится монографическая рецензия. К ней приближается рецензия на группу произведений какого-либо значительного писателя, дающая возможность также перевести анализ в социально-политический план. Сюда относятся такие статьи Добролюбова, как «Темное царство», «Черты для характеристики русского простонародья», «Забитые люди» и др.

Что касается жанров, классифицируемых с точки зрения их литературного рода и вида (диалог, письмо, памфлет, пародия, фельетон и т. п.), то мы, на первый взгляд, не наблюдаем в критике Добролюбова такого разнообразия, как у Белинского. Объясняется это, во-первых, тем, что жанры пародии, памфлета и фельетона были исключены Добролюбовым из критико-библиографического отдела и выделены в особую область: они в основном печатались в сатирическом приложении к журналу «Современник» — в «Свистке».¹² Здесь Добролюбов весьма широко при-

¹⁰ К жанру обзора приближается известная статья «О степени участия народности в развитии русской литературы». Но в целом она — проблемная статья, поэтому обзор подчинен проблеме народности литературы.

¹¹ Русский вестник, 1861, № 1, стр. 478—479.

¹² Иногда, правда, Добролюбов включал пародию в текст обычной статьи. См., например, в его рецензии на «Московские элегии» М. Дмитриева пародию на славянофильскую публицистику (1, 434).

менял самые различные формы и оттенки фельетонов и пародий, особенно стихотворных пародий. Но это уже область художественной литературы, она выходит за пределы нашей темы.

Во-вторых, Добролюбов и в обычных критических статьях не отказался от указанных выше жанров, но использовал их не в виде перевода всей статьи в данный род или вид, а путем вкрапления в текст то диалога, то пародии, то мемуаров. Этот прием вытекал непосредственно из принципа свободной композиции. Он давал возможность, не проводя жанрового насилия над всей статьей, пользоваться, где нужно, любым видом, любой формой изложения.

Жанр диалога был давно популярен в русской литературной критике, его применяли еще Пушкин, Надеждин, Белинский. Но этому жанру был присущ недостаток: автор стремился сделать одного персонажа носителем своих взглядов, другого — оспаривающим эти взгляды. И так как автор желал одержать идеологическую победу, то противник волей-неволей превращался в недалекого человека, аргументы которого очень легко разбивались первым персонажем. Этого недостатка не избежал даже Белинский, на что обратил внимание Герцен.¹³ Добролюбов часто вводит в статью предполагаемого противника, который являлся резким антагонистом автора. Добролюбов, однако, не дает обычно развернутого спора: противник вводится лишь для того, чтобы возразить по какой-либо проблеме; но ответ автора настолько убедителен, что уже не может быть оспорен в дальнейшем. Единственный развернутый диалог — в рецензии на «Исповедь поэта» Н. Семенова (2, 606—607) — имеет особое значение, о чем речь будет ниже. А диалог с ямщиком в статье «Черты для характеристики русского простонародья» (2, 296) не полемичен.¹⁴

Добролюбов, применяя прием разговора, разумеется, знал опыты в этой области Пушкина и Белинского, а также новаторство Герцена (который в очерках «С того берега» — см. особенно главу «Перед грозой» — ввел «умного» противника) и постарался все это учесть. Воображаемые оппоненты Добролюбова — сильные, коварные, задающие сложные вопросы, и лишь безукоризненной ясностью и логикой Добролюбов побеждает их (см., например, теоретическое введение к статье «Луч света в темном царстве»).

Рассмотренные особенности композиции и жанров добролюбовских статей сами по себе еще не свидетельствуют о эстетических достоинствах: ведь композиция (способ организации отдельных частей произведения) и жанры присущи любому тексту, будь

¹³ См. об этом А. И. Герцен, Полное собрание сочинений, под ред. М. Лемке, т. XII, стр. 305, и Ф. М. Достоевский, Дневник писателя на 1873 г. (Вступление).

¹⁴ Противник не всегда принимает участие в полемике в качестве прямого персонажа. Часто Добролюбов использует косвенную речь: «Нам скажут», «Нам могут возразить» и т. п.

то противопожарная инструкция или торговая реклама. Эстетическое же воздействие на читателя возможно лишь тогда, когда имеет место соответствующая точке зрения читателя оценка этических и эстетических явлений, притом оценка убедительная, живая, яркая. В критической работе носителем этих оценочных взглядов является автор (который не всегда тождествен с повествователем, т. е. лицом, от которого ведется речь).

Издавна в русской критике было принято говорить повествователю в первом лице множественного числа. Это не означало речи от имени коллектива. Просто «Мы» считалось более скромной, более вежливой формой по сравнению с крикливым «Я». Так писали вплоть до декабристов и Пушкина. И когда Н. Полевой стал особенно подчеркнуто вводить индивидуальное «я», это вызвало серьезное недовольство Пушкина.¹⁵

И, тем не менее, «я» быстро завоевало свои права. Собственно говоря, этот процесс начался еще до прихода в литературу Н. Полевого: так писал свои статьи уже А. Бестужев-Марлинский. Романтизм, утверждая права индивидуума, отдельной личности, не мог не коснуться и личности критика. Последний стал, не скрываясь, говорить от своего собственного «я», обычно впрочем весьма субъективного и пристрастного. Поэтому вполне объяснимо недовольство Пушкина (как реалиста, как мыслителя, стремящегося к объективным критериям) субъективистским тоном Полевого. Но вслед за Бестужевым и Полевым, уже на грани 1830-х гг., от имени «я» все еще писали И. Киреевский и даже Надеждин. С этого же начал свою деятельность и Белинский. Но вскоре Белинский перешел на «мы», лишь изредка, в силу специфики жанра, возвращаясь к первому лицу в единственном числе: при диалогах («Русская литература в 1841 году», «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке») и в фельетонах, памфлетах («Педант»). Переход Белинского к первому лицу множественного числа имел принципиальное значение: это ведение разговора не от себя лично, а от имени целого направления. «Мы» — это не только Виссарион Григорьевич Белинский, а вся общественная группа, от лица которой он выступает: передовая интеллигенция, идущая к революционному демократизму. Но не шире этого (лишь в исключительных случаях Белинский расширял «мы» до более крупных масштабов, например, когда приходилось говорить о своей нации, в отличие от других стран и народов: «мы, русские...»). Белинскому было чуждо расплывчатое «мы» либеральной критики и публицистики. Обычно он резко и четко противопоставляет свое «мы» всем враждебным группировкам.

Его последователи, Чернышевский и Добролюбов, полностью восприняли от него этот принцип. Они начали и кончили свою критическую деятельность групповым, коллективным «мы». «Мы» — революционные разночинцы 60-х годов. Как и Белин-

¹⁵ См. А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10 тт., М.—Л. 1949, т. 7, стр. 134.

ский, они четко отграничивают себя от всех других социальных и литературных группировок. «Мы не имеем чести быть его родственниками, — говорит Чернышевский о представителе либерального дворянства, — между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам близких.»¹⁶ «...мы расходимся с приверженцами так называемого искусства для искусства», — подчеркивает Добролюбов (2, 10).

Но революционные демократы 60-х годов сделали форму речи от первого лица множественного числа значительно более подвижной и изменчивой по сравнению со своими предшественниками, в том смысле, что не всегда «мы» повествователя соответствует точке зрения Чернышевского или Добролюбова (до этого времени отрыв автора от повествователя встречался весьма редко). Они, например, очень широко применяли прием иронического восхваления отрицательных явлений жизни и литературы. Таковы рецензии Чернышевского на «Стихотворения» графини Растопчиной и Добролюбова на роман той же писательницы «У пристани». Этот же прием Добролюбов использует для характеристики самодержавного строя: «Россия, напротив того, государство благоустроенное, в ней существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности, в ней царствует правосудие, процветает благодетельная гласность» (2, 228).

В других случаях Добролюбов применяет противоположный метод: отрицательно отзываясь о положительных явлениях (см. например, статью «Мысли об учреждении открытых женских школ»).

В обоих случаях точка зрения повествователя прямо противоположна точке зрения автора: черное называется белым, плюс — минусом. Поэтому для определения авторской позиции в этом случае все суждения должны браться, так сказать, с обратным знаком. Но современный читатель обычно легко узнавал иронию и, следовательно, легко определял истинный взгляд критика. Другие случаи значительно сложнее, в них очень трудно соотносить повествователя с автором. Рецензия Добролюбова на «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина начинается с положительной оценки произведения, затем, через несколько строк, идет «лирическое отступление»: «Мы вообще как-то очень скоро и внезапно вырастаем, пресыщаемся, впадаем в разочарование, не успевши даже хорошенько очароваться... И сидим мы, съезжившись и сгорбившись «под бременем познания и сомнения», в совершенной бездействии, пока не расшевелит нас что-нибудь уже слишком чрезвычайное» (1, 181).

Из контекста становится совершенно ясно, что «мы» — это не Добролюбов, не точка зрения революционных демократов. В

¹⁶ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в 16 тт., М. 1939—1953, т. V, стр. 171. Все дальнейшие цитаты из сочинений Чернышевского даются сокращенно по этому изданию: (V, 171).

указанном и во многих случаях Добролюбов использует оригинальный прием: он как бы становится на точку зрения либерального дворянства и от его лица ведет повествование. Даже, пожалуй, более широко — на точку зрения совокупности эксплуатирующих сословий России, противостоящих народу, крестьянству. Добролюбов часто проводит именно такое противопоставление: «мы так привыкли смотреть на крестьянина, как на существо грубое» (2, 290). Создается как бы обобщенный художественный образ представителя тех сословий, которые живут чужим трудом. И этот образ весьма убедительно уничтожается этически путем речи от первого лица, подобно тому, как Щедрин несколько позднее будет разоблачать «изнутри» обывателя в «Дневнике провинциала в Петербурге» и других произведениях. И, как у Щедрина, происходит часто незаметный переход от точки зрения автора к этому разоблачаемому «герою». Требуется усилие внимания, чтобы уловить этот переход. При этом иногда определение повествователя, данное в статье, может лишь запутать: «Мы, то есть русские и преимущественно литераторы, обыкновенно держали себя в стороне от всех этих споров», — говорится в статье Добролюбова «Забитые люди» (2, 288). А речь идет о революционном низвержении самодержавия. Ясно, что далеко не все русские и далеко не все литераторы были в стороне!

Однажды Добролюбов применил оригинальный прием, с помощью которого дал одновременно точки зрения и автора, и повествователя — «не-автора», как представителя реакционной дворянской идеологии: Добролюбов объединил их в диалоге (в рецензии на бездарный и мракобесный роман Н. Семенова «Исповедь поэта»), где от первого лица говорит повествователь — «не-автор», а взгляды Добролюбова выражает оппонент, некая «французенка».

Указанные примеры не снимают главного: в подавляющем большинстве случаев добролюбовское «мы» означает авторскую точку зрения, точку зрения революционной демократии. Точность социальной позиции автора-повествователя дает возможность лишний раз доказать методологическую ошибку, иногда еще встречающуюся в наших исследованиях по литературе и истории XIX века: отождествление взглядов революционных демократов 60-х годов с точкой зрения народа того времени. Между тем, Чернышевский еще в своей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», противопоставляя эстетический идеал дворянина и крестьянина и показывая превосходство последнего над первым, отнюдь не возводит его в абсолют. Для Чернышевского эстетический идеал связан с позицией демократической интеллигенции: «всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах — потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных пес-

нях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми» (II, 11).

Этот факт исторически объясним. Забитый и задавленный самодержавной Россией народ на протяжении почти всего XIX века не мог быть носителем передовых идеалов современности, он еще не дорос до этих идеалов в основной своей массе (это вовсе не значит, что отдельные, талантливые представители народа не поднимались до них). Передовые идеалы середины XIX века воплощали в себе революционеры-разночинцы, в числе которых были и выходцы из народа. Всю свою деятельность они направляли на облегчение жизни народа, на уничтожение крепостного права. Они действовали, говорили, писали в интересах народа, «с точки зрения народных выгод» (1, 211), — но не с точки зрения крестьянского сознания. Они воплощали в своем мировоззрении лучшие стороны этого сознания, но некоторые, реакционные стороны крестьянских взглядов они преодолевали, становились выше их. Они хотели поднять народ до своего уровня, стремились многое «сделать для его просвещения и облагорожения» (1, 431), верили в возможность этого при условии низвержения самодержавия с помощью самого народа¹⁷ (в этом их коренное отличие от декабристов!): «С таким доверием к силам народа и с надеждою на его добрые расположения, можно действовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать на живое дело крепкие, свежие силы и предохранить их от того искажения, какому они так часто подвергаются при настоящем порядке вещей» (2, 301). И при всем этом, как видно, революционные демократы понимали «искаженный» характер некоторых черт народного мировоззрения на данном этапе его развития.

Это отразилось и в речи автора-повествователя: Добролюбов, беспрестанно подчеркивая необходимость «партии народа», необходимость усиленного внимания к народу, «понимания его нужд и интересов» (1, 267), ни разу не говорит в своих статьях от лица народа. Щедринские «крестьянки возбуждают в нас не насмешку, не отвращение, а жалость и сочувствие», — пишет Добролюбов в рецензии на «Губернские очерки» (1, 201). Или в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы»: «Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва — настоящий русский народ» (1, 233). Тем не менее, связь революционных демократов с народом была настолько сильна по сравнению с взаимоотношением передовых людей и крестьянства предшествующих периодов, что в статьях Добролюбова могло

¹⁷ Важно отметить, что лишь в 60-е годы появилась реальная возможность обратиться к народу с призывом к восстанию (прокламация Чернышевского «Барским крестьянам»). Даже в 40-е годы это было немислимо. Поэтому Чаадаев, решивший было во время революции 1848 года написать воззвание к русскому народу, вынужден был оставить свой замысел незавершенным (см. об этом «Литературное наследство», т. 22—24, М. 1935, стр. 679 и след.).

проявиться совершенно новое качество: в текст речи повествователя иногда включался художественный образ представителя простого народа и вел разговор от первого лица. Правда, Добролюбов отделял эту речь от повествовательской графически — кавычками, но ведь как бы там ни было, а впервые в истории русской критики в статье появлялся художественный образ человека из народа! ¹⁸ Особенно ярок образ ямщика в добролюбовской статье «Черты для характеристики русского простонародья», который ведет спор с автором-повествователем (см. 2, 296).

В той же статье Добролюбов излагает социально-этические воззрения народа снова от первого лица (см. 2, 275). Правда, и здесь эта речь отделяется кавычками, но она ведь включена в повествование автора и не противопоставлена ему. Добролюбов, таким образом, близко подошел к слиянию своей точки зрения со взглядами народа. Но, как известно, окончательное слияние передового сознания эпохи с широкими народными массами произошло лишь на третьем (по ленинской классификации) этапе освободительного движения России. Поэтому лишь марксистские критики смогли в своих статьях безоговорочно выступить от имени народа. Особенно точно сформулировал новое качество повествовательского «мы» в марксистской критике А. В. Луначарский: «Когда я говорю «мы», то я имею в виду не себя и моих друзей, не Ком-академию или РАПП, но я имею в виду то «мы», которое составляет сейчас творческий революционный авангард человечества, превращаясь все больше и больше в его подавляющий по своему количеству основной массив.» ¹⁹

Включение в текст статьи образов представителей вражеского лагеря, с одной стороны, и людей из народа — с другой, усиливало эстетическое воздействие критики на передового читателя. Но особенно сильное воздействие оказывал, конечно, образ самого автора — революционного демократа, дающего широкую картину социальной, политической, литературной жизни и свое непосредственное участие и оценку этой жизни. Поэтому уже весь тон добролюбовских статей, пафос борьбы со старым миром и утверждение и призыв к новому, призыв к свержению самодержавия ради создания этого нового мира — все это волновало и соответствующим образом настраивало демократического читателя. И если, рассмотренная изолированно, социально-политическая концовка статьи не несла в себе ничего «эстетического», то в общем контексте она становилась вдохновенным лозунгом, листовкой, призывом.

Но Добролюбов, не удовлетворяясь всем этим, включал еще в текст художественные элементы. Помимо рассмотренных выше, связанных с образом «не-автора», большую роль играли «лириче-

¹⁸ Зародыш этого явления можно усмотреть в демократической литературе второй половины XVIII века (см., например, предисловие В. Лукина к его комедии «Щепетильник», где дается разговор автора с простолюдинами).

¹⁹ А. В. Луначарский, Русская литература, М. 1947, стр. 424.

ские отступления» самого автора-повествователя. Так, Добролюбов очень широко применял такие отступления, чаще всего — «мемуары»²⁰, введенные в критику еще Белинским.

Характерно, что общее повествование от лица «мы» здесь нарушается, переходя на личное «я». Правда, обычно мемуары отделяются кавычками и даются от вымышленного персонажа. Но в некоторых «лирических отступлениях» Добролюбов открыто переходит на индивидуальное «я», акцентируя тем самым особое эмоциональное отношение к данному объекту. В известной характеристике обломовщины он без всяких кавычек неожиданно начинает говорить в единственном числе:

«Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, — я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.

Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, — он — Обломов.

Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т. п., я не сомневаюсь, что он Обломов...» и т. д. (2, 30).

Перейдя на «я», Добролюбов изменяет и весь строй речи: использование анафор и эпифор, а также выделение каждой фразы графически в виде отдельного абзаца придает повествованию ритмический характер, появляется скандирование, четкое интонационное выделение слов. Этот отрывок поэтому не только по содержанию, но и по форме становится одним из самых заметных мест в статье.

Отметим, что обычно Добролюбов повествует не в «пафосном» ключе, обычная его интонация — спокойная, логическая, рассудительная. Но там, где речь шла о наиболее отвратительных явлениях или, наоборот, о наиболее близких и прекрасных, там автор «срывал» свой голос и переходил к гневному, резкому тону — или к пафосному, радостному (см., например, 2, 470). В пафосном ключе дано также большинство концовок добролюбовских статей, проникнутых твердой надеждой на близость социальных перемен, особенно «Когда же придет настоящий день?».

Приподнятость, эмоциональная яркость речи повествователя значительно усиливала эстетическое воздействие литературно-критических статей на соответствующего читателя. Добролюбов однажды отметил, что произведение будет тогда иметь большое художественное, эстетическое значение, когда «величие и красота идей» будут в нем выражаться «с полной силою, чтобы мы сами прониклись ими и в гордом воодушевлении воскликнули: идем за тобою!» (2, 226). Сам Добролюбов в совершенстве владел искусством выражать «величие и красоту идей» «с полною силою» и тем самым воодушевлять и воспитывать не одно поколение борцов за счастье человечества.

²⁰ Эти «воспоминания» не всегда связаны с реальной биографией автора. См. 2, 230; 2, 232; 2, 577 и др.

DOBROLJUBOVI KIRJANDUSKRIITILISTE ARTIKLITE VORMIST

Filoloogiateaduste kandidaat B. Jegorov

Vene kirjanduse kateeder

Resümee

Kirjanduskriitika vorm on teaduse poolt täiesti uurimata ala, kuigi selle uurimine oleks täielikult õigustatud. Kirjanduskriitika kuulub ilukirjanduse hulka kui spetsiifiline žanr, milles kõrvuti teadusliku mõtlemisviisiga leidub kunstilisi elemente. Kui kriitik väljendab lugejale lähedasi sotsiaalseid ideid veenvalt ja eredalt, siis kannatab ja rõõmustab lugeja koos kriitikuga, ideoloogilise külje tunnetamisele lisandub esteetiline elamus. Kui aga on olemas esteetiline faktor, kuulub kirjanduskriitiline teos kunsti nähtuste hulka ja on vaadeldav nii sisult kui ka vormilt.

60-ndate aastate revolutsioonilis-demokraatliku kriitika spetsiifiliseks jooneks on esmajärjekorras sotsiaalpoliitiliste küsimuste lahendamine. Seepärast kujundati artikkel niiviisi, et lõpplahendus oleks sotsiaalpoliitiliseks teesiks või programmiks.

Lõpplahendusele lisaks etendasid Dobroljubovi artiklites tähtsast osa ka epigraafid. Romantilises kriitikas ei avanud epigraafid teksti sisu, vaid väljendasid autori emotsionaalselt subjektiivset suhtumist materjalisse. Belinski realistlikus kriitikas esinesid epigraafid harva (artikli sisu oli liiga keerukas, et seda oleks võinud edasi anda lühikese tsitaadiga). Dobroljubovi artiklites muutub epigraaf lõpplahenduse „abiliseks”, täiendades selle sotsiaalseid järeldusi, aga mõnikord ka selgitades põhiliselt artikli kontseptsiooni. Artikkel on nagu piiratud epigraafi ja lõpplahendusega.

Kirjanduskriitilise artikli küllastamine sotsiaalpoliitiliste probleemidega tingis ka kriitilise artikli erilise struktuuri. Dobroljubovile oli kõigepealt tähtis retsenseeritava teose kaasaegne tähtsus ja võimalus teha vastavad järeldused („meie artikkel pole kirjutatud Oblomovist, vaid Oblomovi puhul”). „Puhul”-printsip viib üsna vabale kompositsioonile (rohkesti kõrvalepõikeid jne.); retsenseeritavale teosele pühendati sageli vaid tähtsusetu osa artiklist. See kutsus esile suure ärrituse kogu reaktsioonilises ajakirjanduses.

Kompositsiooni vabadus ei hävitanud artiklite žanrulist rikkust, kuid võrreldes Belinski ajastuga muutus eri žanride erikaal. Toorkord oli peamine osa kirjanduslikul ringvaatel (põhjuseks oli Belinski historismiprintsiip: ta vaatles kirjanduslikke nähtusi seoses ajaloo, nende dialektilises arengus ajastust ajastusse).

60-ndais aastais kadus see žanr peaaegu täielikult; kuna esiplaanile olid kerkinud sotsiaalpoliitilised küsimused, oli neid kõige sobivam valgustada erilistes poliitilistes ülevaadetes. Et aga „puhul”-printsiibil loodud kriitiliste artiklite jaoks oli kõige kasulikum võtta kirjaniku üks või mitu suuremat teost, siis sai 60-ndais aastais valitsevaks žanriks monograafiline retsensioon.

Vaadeldud erinevused ei tõesta iseenesest veel esteetilist väärtust. (sest kompositsioon on ka tuletõrje instruksioonil). Lugeja esteetiliseks mõjustamiseks on esijoones vaja nähtuste veenvat ja eredat hinnangut. Selle hinnangu annab artikli autor (mitte ära segada jutustajaga, kelle jutustusena on artikkel antud).

Romantiline kriitika oli tingliku „meie” asemele toonud subjektiivse „mina”. Belinski kõneleb reas küpsetes artiklites uuesti „meie”, kuid rõhutab selgelt, et „meie” all tuleb mõista eesrindliku demokraatliku intelligentsi rühma. Dobroljubov jälgendab selles osas Belinski, kuid teeb 1. isiku kõne paindlikumaks ja muutuvamaks. Mõnikord avaldab jutustaja autori tõekspidamistele vastandlike arvamusi (iroonia). Vahel võivad artikli tekstis olla autori ja jutustaja — „mitte autori” arvamused omavahel tihedalt ja keerukalt läbi põimunud. Vajenuliku seisukoha väljendamine 1. isiku poolt võimaldas selle paljastamist „seestpoolt”.

Esmakordselt vene kirjanduskriitika ajaloos lülitab Dobroljubov jutustaja-autori teksti kunstilise kujundi lihtrahva esindaja näol, kes kõneleb 1. isikus. Kuigi autor ei ole temaga ühte sulanud ja tema kõne on eraldatud jutumärkidega, ei ole lihtrahva esindaja autorile vastandatud. See on peamine. Ainult marksistlikus kirjanduskriitikas räägib autor lõplikult rahva nimel „meie”.

Eriti tugevasti mõjus lugejasse autori — revolutsioonilise demokraadi enda kuju. Kogu Dobroljubovi artiklite toon, võitlus vana maailmaga ja üleskutse isevalitsuse kukutamisele uue maailma loomiseks — kõik see erutas ja meelestas vastavalt demokraatlikku lugejat. Ja kui, lõpplahendust eraldi vaadeldes, see ei sisaldanud midagi „esteetilist”, siis seoses kogu kontekstiga sai ta vaimustavaks loosungiks või üleskutseks.

Dobroljubovi harilikud intonatsioonid on rahulikud, loogilised ja arutlevad. Kuid seal, kus on kõne all väga võikad nähtused või, vastupidi, eriti lähedased ja kaunid, läheb autor üle vihasele ja järele või, vastupidi, paatoslikule ja rõõmsale toonile. Paatoslikult on antud ka enamik lõpplahendusi.

Jutustaja kõne ülevus ja emotsiaalne eredus tugevdasid tunduvalt kirjanduskriitiliste artiklite esteetilist mõju lugejasse.

SUBSTANTIIVIDE ATRIBUTIIVSEST TARVITAMISEST JA SELLE VASTASTIKUSTEST SUHETEST ADJEKTIIVIDE KATEGOORIAAGA INGLISE KEELES

O. Mutt

Võõrkeelte kateeder

Anglistide tähelepanu nii Nõukogude Liidus kui ka välismaal on juba aastakümneid kõitnud küsimus eriliste, inglise keelele väga iseloomulike moodustiste, nagu näit. *stone wall, gold ring, morning walk, London fog* olemusest. Erialases kirjanduses tuntakse probleemi nn. *stone wall* probleemina. Küsimuse tuum on selles, milleks tuleb pidada sõnaliikide seisukohalt niisuguste moodustiste esimest komponenti. On ilmne, et toodud näidetes *stone, gold, morning* ja *London* kirjeldavad ja täpsustavad vastavalt neile järgnevaid sõnu. Spetsialistide seas ei ole aga ühist arvamust selle kohta, kas niisuguseid esimesi komponente pidada adjektiivideks või substantiivideks atribuudi funktsioonis või koguni substantiivtüvedeks liitsõna koosseisus.¹ Vastusest sellele küsimusele oleneb aga, kas meie käsitleme niisuguseid moodustisi liitsõnadena või vabade atributiivsete sõnaühenditena.

Võrdlemine lähemate ja kaugemate sugulaskeeltega näitab, et vaadeldavad moodustised on spetsiifilised inglise keelele. Teistes indo-euroopa keeltes tarvitatakse nende asemel harilikult kas substantiivseid liitsõnu, adjektiivist ja substantiivist koosnevaid ühendeid või mitmesuguseid prepositsionaaltäienditega ühendeid (vrd. näiteks saksa keeles *Steinwand, Steinmauer*, rootsi *stenmur*, hollandi *steenwand*, vene *каменная стена*, prantsuse *mur de pierre* jne.).

Teistesse keelkondadesse kuuluvates keeltes esineb inglise keelega analoogilisi nähtusi substantiivide ja adjektiivide eristamise

¹ Ülevaate erinevatest seisukohtadest selles küsimuses annab A. I. Smirnitcki ja O. S. Ahmanova ühine artikkel «Образования типа *stone wall, speech sound* в английском языке», Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР, № 2, 1952. Vt. samuti probleemi käsitlust ja viiteid kirjandusele järgmistes teostes: Б. А. Ильиш, Современный английский язык, М. 1948, lk. 81—83, 300—302; O. Jespersen, A Modern English Grammar, Heidelberg 1922, Part II, lk. 310—330; H. Koziol, Handbuch der englischen Wortbildungslehre, Heidelberg 1937, lk. 45—47, 202 jj.

raskuste ning nende paralleelse atributiivse tarvitamise alal näiteks mongoli keeltes², mõnes türgi-tatari keeles, samojeedi rahvaste keeltes, soome-ugri keelte alal mordva keeltes ja väheamas ulatuses ungari keeles. Vrd. näiteks baškiiri *тимер юл* = raudtee (*тимер* = 1) raud, 2) tehtud rauast või rauataoline); usbeki *тош кўприк* = kivisild (*тош* = 1) kivi, 2) kivist tehtud või kivitaoline)³; ersa-mordva *чопода* = 1) külm (sb.), 2) külm (adj.)⁴; ungari *ezüst kanal* = hõbelusikas. (*ezüst* = hõbe, antud atributiivses ühendis hõbedast tehtud, hõbeda sarnane)⁵.

Raskused inglise keeles nii harilike *stone wall* tüüpi moodustiste analüüsimisel on tingitud eeskätt järgmistest asjaoludest.

1. Uus-inglise keeles on adjektiivide morfoloogia äärmiselt lihtsustunud. Inglise keel on läinud kaugemale kui teised germaani keeled selles mõttes, et inglise adjektiiv ei ühildu oma põhisõnaga ei arvus, soos ega käändes. Selle tulemusena võivad nii substantiivid kui ka adjektiivid inglise keeles olla tüvekujulised, ja keeles on hulk homonüümseid substantiive ja adjektiive, näiteks *arch*, *chief*, *choice*, *dainty*, *damp*, *game*, *light*, *mean*, *proof*, *right*, *weird* jne.⁶

Morfoloogiliste ja derivatsiooniliste tunnuste sagedase puudumise tõttu on kahe sõnaliigi eristamisel tihti ainsaiks kriteeriumideks vastavate sõnade süntaktiline funktsioon ja semantika.

2. Inglise keeles ei heida ortograafia usaldusväärset valgust vaadeldavate moodustiste iseloomule. Hoolimata korduvaist sellekohaste katseist ei ole inglise keeles senini suudetud lahendada nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamisega seotud küsimusi. Olukord sel alal on tõesti kaootiline ja võrreldav oma ebajärjekindlusest inglise ortograafia ja foneetilise süsteemi mittevastavusega. Vanemais tekstides ja veel tänapäevalgi avaldatud kirjutistes võib sageli leida sama sõnaühendit või liitsõna kokkukirjutatuna, sidekriipsuga või koguni lahkukirjutatuna olenevalt kirjutaja isiklikust maitsest.

Olukorras, kus vormiliste tunnuste põhjal on sageli võimatu otsustada, kas on tegemist adjektiivide või substantiividega, ja kus on võimatu sõnade kokku- või lahkukirjutamisest järeldada, kas vastav moodustis on liitsõna või sõnaühend, on arusaadavalt raske ilma

² Д. А. Алексеев, Именные части речи в монгольских языках, «Вопросы языкознания», № 3, 1955, lk. 35 jj.

³ Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, М. 1953, т. I, lk. 124 jj.

⁴ Вt. А. Е. Шестакова, Образование существительных и прилагательных от именных основ в мордовских языках, автореферат канд. дисс., М. 1952, lk. 11.

⁵ Вt. И. Балашша, Венгерский язык (перевод с венгерского), М. 1951, lk. 96 jj.

⁶ Antud näidete puhul on tegemist substantiivide adjektiviseerumisega. Nendest sõnadest on võimalik moodustada võrdlusastmeid, näiteks *cheaper*, *choicest* jne. Vrd. eesti keeles *koerem poiss*, *sandim lugu* jne. Tuleb märkida, et homonüümsete adjektiivide ja substantiivide eristamist inglise keeles raskendab see, et nn. relatiivseil adjektiividel puudub komparatsioon.

eelneva põhjaliku uurimiseta midagi ütelda *stone wall* tüüpi moodustiste iseloomu kohta.

Kuid isegi pikemad spetsiaalsed uurimised ei ole antud küsimusse toonud täielikku selgust. Anglistide seas valitsevad ikka veel otse diametraalselt vastupidised seisukohad, mida kaitstakse mõnikord üsna ägedalt. Võidakse õigustatult küsida, kas probleem on seda väärt, et temale nii palju aega kulutada. Kas ei ole võib-olla enam-vähem ükskõik, milleks niisugustes ühendites pidada esimest komponenti?

Lähemal vaatlemisel ei ole nn. *stone wall* probleem sugugi kõrvalise tähtsusega, vaid teoreetiliselt küllaltki huvitav inglise keele morfoloogia, süntaksi, semasioloogia kui ka uute sõnade moodustamise seisukohalt. Nii aitab selle käsitlemine selgitada substantiivide ja adjektiivide kui sõnaliikide piiritlemise ja vahekordade küsimusi. Vaadeldavate moodustiste levimine uus-inglise keeles on seotud oluliste nihkumistega atributiivsete suhete väljendamise võimaluste alal. Niisuguste ühendite rohkearvulisel esinemisel on olnud ulatuslik mõju inglise sõnavara koosseisule adjektiivide tuletusliidete produktiivsuse piiramise ja mitmete adjektiivide tähenduse muutmise või vastavate adjektiivide sõnavarast väljatõrjumise näol.

Praktilisest küljest, eriti inglise keele kui võõrkeele õpetamise seisukohalt on äärmiselt oluline, et grammatikais, õpikuis ja sõnaraamatuis asutaks vaadeldavate moodustiste analüüsimisel ühisele seisukohale ja lõpetataks seni kestnud segadus, kus näiteks ühes õpikus nimetatakse esimesi komponente adjektiivideks, teises substantiivideks või millekski muuks. Et küsimus kerkib üles ja nõuab lahendamist inglise keele õppimise kõige varasemas järgus, seda teab igaüks, kes inglise keelega on mõnevõrra tuttav.

Kodanlikud anglistid piirduvad oma käsitluses tavaliselt vaid vaadeldavate moodustiste esimeste komponentide iseloomu morfoloogilise analüüsiga ega vaatle küsimust laiemalt liitsõnade ja sõnaühendite seisukohalt. Nendele üldiselt omase meetoodilise küündimatus tõttu ei ole kodanlikel anglistidel õnnestunud leida küsimusele rahuldavat lahendust.

Nõukogude spetsialistid inglise keele alal on viimaste aastate jooksul hakanud eriti intensiivselt tegelema *stone wall* tüüpi moodustistega. Selle küsimuse kohta on avaldatud mitu artiklit ja kirjutatud paar kandidaadidissertatsiooni.⁷ Toetudes eesrindliku nõukogude keeleteaduse saavutustele on meie anglistid käsitlenud küsimust väga mitmekülgsest ja arvestanud selle seoseid ja suhteid keele teiste nähtustega. Erilise saavutusena tuleb märkida, et vaadeldavale materjalile on hakatud lähenema diferentseeritult, erista-

⁷ И. Д. Гербац, Семантика препозитивных атрибутов в современном английском языке, ЛГУ, Л. 1947; Е. И. Чапник, Атрибутивные сочетания типа *stone wall* в современном английском языке, 1 МГПИИЯ, М. 1953.

des seni enam-vähem homogeenseks peetud moodustiste massis üksikuid alaliike.⁸

Suurt huvi oma põhjalikkuse ja leidlikkuse poolest pakub Moskva Riikliku Ülikooli prof. A. I. Smirnitski ja dots. O. S. Ahmanova lahendus, mille järgi antud moodustised on inglise keelele spetsiifilised nn. mittestabiilsed liitsõnad, mis võivad kergesti laguneda ja muutuda sõnaühenditeks selle tõttu, et inglise keele struktuuri tingimustes võib substantiivtüvesid, mis moodustavad liitsõnade esimesi komponente, kergesti pidada ajutise konversiooni teel saadud adjektiivideks. Vaadeldavad moodustised on nagu ebastabiilse tasakaalu seisundis. Olenevalt olukorrast võib neid vastavas kontekstis käsitleda kord kui liitsõnu, kord kui vabu sõnaühendeid.

Ühes hilisemas kirjutuses arendab dots. Ahmanova edasi teooriat nn. ebastabiilseist ehk neutraalset tüüpi liitsõnadest inglise keeles ja on tõepoolest suutnud sellega seletada paljusid *stone wall* moodustistega seotud küsimusi.⁹ Käesoleva artikli autorile näib aga tema poolt teostatud uurimuse põhjal¹⁰, et dots. Ahmanova on liialdanud ebastabiilsete liitsõnade teooria edasiarendamisel. Olles mõjutatud skandinaavia keelte ja saksa keele eeskujust, peab dots. Ahmanova liitsõnadeks mitmeid ilmseid sõnaühendeid, nagu *insurance company*, *summer vacation place*, *Steam Locomotive Research Institute* jne. Pole küllaldast alust väita, et esimesed komponendid vaadeldavais moodustistes võivad olla ainult kas substantiivtüved või siis ajutise konversiooni teel saadud adjektiivid. Näha ainult niisuguseid alternatiive tähendab läheneda inglise keelele teiste keelte mõõdupuuga. Tuleb arvestada inglise keele struktuuri omapära ja uus-inglise keeles väljakujunenud võimalust kasutada substantiive nn. prepositiivsete täienditena vabades sõnaühendites.

Substantiiv esineb normaalselt inglise keele lauses nagu teisteski keeltes subjekti süntaktilises funktsioonis. Selle primaarse funktsiooni kõrval on substantiivil sekundaarsed funktsioonid objekti, predikatiivi ja atribuudi näol. Täiendi funktsioonis võib ta seista kas possessiivkäändes (*the bank's door*) või olla ühendatud põhisõnaga prepositsiooni abil (*the door of the bank, a conference on oil*). Traditsioonilise vaate kohaselt, mida esindab ka dots.

⁸ Traditsiooniline nimetus „*stone wall problem*” pole tegelikult päris täpne, kuna *stone wall*, *silver spoon*, *silk dress* taolised ühendid (mille esimene komponent on materjali nimetus!) moodustavad vaid ühe tüüpi niisuguseid atributiivseid ühendeid. Võrreldagu struktuurilisi ja süntaktilisi erinevusi järgmistes näidetes: *five-ton truck*, *the London Daily Worker*, *arms drive*, *NATO general*, *foreign language teaching*, *heads-of-government meeting* jne.

⁹ О. С. Ахманова, К вопросу об отличии сложных слов от фразеологических единиц, Труды института языкознания АН СССР, т. IV, 1954.

¹⁰ Kandidaadidissertatsioon „A Contribution to the Historical Study of the Attributive Use of Substantives in English”, Tartu 1955. (Dissertatsiooni käsikiri on Tartu Riikliku Ülikooli võõrkeelte kateedris.)

Ahmanova, võib üldkäändes substantiiv inglise keeles olla täiendiks teisele substantiivile ainult prepositsiooni vahendusel.¹¹ Meie arvates on aga uus-inglise keeles igal üldkäändes substantiivil potentsiaalne võime funktsioneerida nn. prepositiivse atribuudina, s. o. seistes üldkäändes oma põhisõna ees.¹²

Selle tõenduseks, et meid huvitavad esimesed komponendid ei ole substantiivtüved ega adjektiivid, võib tuua fakti, et atribuutiivse komponendina võivad esineda ja esinevad tegelikus keeletarvituses üha sagedamini substantiivid üldkäände mitmuses. *Pluralia tantum*'i juhtumite kõrval (*arms drive, goods train, sweets ration* jne.) võib kohata ka harilikke mitmusekujulisi esimesi komponente (*plains Indians, food products company, war materials embargo, repairs shop, narcotics ring, Geneva heads of government conference* jne. Niisugused juhtumid ei või olla ilmselt ei substantiivtüved ega ka adjektiivid, sest viimased on inglise keeles muutumatud. Tuleb järeldada, et inglise keeles on vähemalt mõnedel juhtumitel võimalik, et üldkäändes substantiivi kasutatakse prepositiivse täiendina. See tähendab aga, et ühendid, milles esinevad niisugused atribuutiivselt tarvitatavad substantiivid, kujutavad endast vabu sõnaühendeid.

Sagedasel kasutamisel võivad prepositiivsete substantiivtäienditega ühendid muutuda püsivateks ühenditeks ja lõpuks liitsõnadeks (näiteks *railway station, cannon ball, log cabin*, jne.¹³). Teiselt poolt võivad mõned niisugused atribuutiivsed substantiivid aja jooksul adjektiviseeruda. See toimus kesk-inglise perioodil näiteks substantiividega *cheap, chief, choice, dainty, square, violet*; varasel uus-inglise perioodil substantiividega *damp, level, moot, proof* ja mitme teisega. Täielikku adjektiviseerumist tõendab nende sõnade üsna tavaline tarvitamine kas komparatiivis või superlatiivis ja samuti predikatiivselt.

Seda, kuidas tekkis võimalus kasutada substantiive prepositiivse atribuudi funktsioonis, saab jälgida keele ajaloos. Vastav võimalus kujunes välja kooskõlas inglise keele üldiste arenemistendentsidega. Peamised tegurid, mis vastastikusel tingituses ja kokkulangevuses soodustasid substantiivide tarvitamist prepositiivsete täienditena, on järgmised:

1. Käänete arvu kahanemine ja sõnalõpus asuvate rõhuta vokaalide reduktsioon, mis viisid kesk-inglise perioodi lõpuks (15. saj. lõpp) selleni, et substantiiv ainsuse üldkäändes ja adjek-

¹¹ O. S. Ahmanova, op. cit., lk. 55.

¹² Allpool nimetatakse vaadeldavaid üldkäändes esinevaid substantiivseid täiendeid lühiduse huvides prepositiivseiks substantiivtäienditeks, mis ei ole küll päris täpne, sest ka possessiivkäändes seisvat substantiivi võib tarvitada prepositiivse täiendina.

¹³ Liitsõnade ja sõnaühendite eristamisel inglise keeles ei ole semantiline ja vormiline kriteerium oma subjektiivse iseloomu tõttu alati usaldusväärne. Енам аби он vastavate moodustiste kasutamissageduse ja rõhuolude uurimisest, millele on seni pööratud vähem tähelepanu. Vt. E. A. Гликина, Ударение в сложных существительных и прилагательных английского языка, «Иностранные языки в школе», № 3, 1955.

tiiv võisid vormilt kokku langeda, olles mõlemad substantiivtüve-
kujulised.

2. Seoses fleksioonilõppude äralangemisega kujunes kesk-inglise perioodil välja kindel sõnade järjekord lauses, mis muutus äärmiselt tähtsaks sõnadevaheliste grammatiliste suhete väljendamise vahendiks inglise keeles. Inglise keele sõnajärjestuse kohaselt seisab omadussõnaline täiend peaaegu eranditult oma põhisõna ees. Et adjektiiv- ja substantiivi eristamiseks vormilisi tunnuseid sageli ei olnud, tekkisid eeldused substantiivide kasutamiseks täienditena põhisõna ees.

3. Inglise keeles kui tüüpilises germaani keeles esineb vana- ja kesk-inglise perioodil väga rohkearvuliselt mitmesuguseid tüveliitumisel saadud liitsubstantiive, mille esimene komponent, substantiivtüvi, on täiendiks teisele komponendile (näit. v.-ingl.¹⁴ *goldhord, heafodmann, rīptīma*; k.-ingl. *gramerscole, burpetonge, shipman* jne.).

4. Eeskätt substantiivsete liitsõnade rohkusest tingituna oli adjektiivide arv vana- ja kesk-inglise keeles nagu teisteski germaani keeltes suhteliselt väike. Eriti vähe oli nn. relatiivseid adjektiive, s. o. adjektiive, mis tähistavad omadusi, kvaliteete antud asja või nähtuse suhte kaudu teise asja või nähtusega (näit. *wooden, golden, rainy*), mitte aga vahetult oma leksikaalse tähenduse kaudu (nn. kvalitatiivsed adjektiivid, näit. *large, good, honest* jne.).

Seoses ühiskondliku korra muutumisega, tootmise arenemisega, kultuuri ja teaduse arenemisega, inimese tunnetamistöö edusammudega tekkis vajadus väljendada mitmesuguste seni tundmatute asjade ja nähtuste omadusi ja vastastikuseid suhteid. Rohke adjektiivide laenamine teistest keeltest kui ka nende moodustamine tuletusliidete abil ei rahuldanud nõudmist atributiivsete suhete väljendamise võimaluste järele. Oli tarvis välja arendada keele enda väljendusvahendeid, et tähistada uusi mõisteid.

Keele põhielementide edasiarendamise ja täiustamise, uue struktuuri elementide järkjärgulise ja pikaajalise kogunemise käigus arenes kesk-inglise ja varasel uus-inglise perioodil välja atributiivsete suhete väljendamise analüütilist laadi võimalus — substantiivide tarvitamine prepositiivsete täienditena. Esimestena hakati selles funktsioonis tarvitama neid substantiive, mis olid selleks semantiliselt eriti sobivad, nagu mitmesuguste materjalide ja ainete nimetused.

Substantiivide atributiivne tarvitamine on eeskätt süntaktiline nähtus. Ühenduses sellega, et ta on muutunud üheks peamiseks uute atributiivsete suhete väljendamise viisiks uus-inglise keeles, on toimunud tunduvad nihked teiste sellekohaste võimaluste osatähtsuse alal. Välja arvatud prepositsionaaltäiendid, on need (näit. derivat-

¹⁴ Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi lühendeid: v.-ingl. — vana-inglise, k.-ingl. — kesk-inglise, u.-ingl. — uus-inglise, k.-ül.-sks. — kesk-ülemsaksa, u.-ül.-sks. — uus-ülemsaksa.

siooni teel saadud adjektiivid; substantiivid possessiivkäandes) muutunud suhteliselt vähem tähtsaks.

Prepositiivsete substantiivtäiendite domineerivaks muutumises on võimalik näha tendentsi tüpiseerimise poole atributiivsete suhete väljendamise alal. Uus-inglise keele erilise struktuuri tingimustes võib tähele panna kindlat tüüpi nn. prepositiivse täiendi väljakujunemist. Tavaliselt esineb niisuguse täiendina kas adjektiiv või substantiiv, kuid täiesti mõeldav on ka mõnesse teise sõnaliiki kuuluva sõna (näit. adverbi või arvsõna), sõnalühendi, sõnaühendi või terve lause ja koguni liit- või põimlause tarvitamine atributiivselt, näit.: *the 8.15 train, the above remark, the then government, a T. U. meeting, a ne'er-do-well fellow, a do-as-I-tell-you-or-get-out-of-my-house sort of father* jne.

Mitmed niisugused juhtumid on küll erilise stilistilise varjundiga, kuid nende sagenev esinemine kirjakeeles viitab sellele, et tänapäeva inglise keeles on kujunemas tegelikult piiramatul võimalusel tarvitada artikli või muu määrava sõna ja vastava põhisõna vahele asetatuna ükskõik missuguseid sõnu või nende ühendeid täiendi funktsioonis. See võimalus on kahtlemata inglise keele väljendusvahendite täiustumise nähtus, sest sel teel võib keel edasi anda kõige mitmekesisemaid tähendusvarjundeid.¹⁵

Keel on äärmiselt keeruline nähtus, mille eri küljed on tihedas vastastikususes seoses ja tingituses. See üldtuntud tõde ilmneb täiel määral inglise substantiivide atributiivse tarvitamise väljakujunemisel, kus muutused süntaksi alal kutsusid esile ulatuslikke nihkeid sõnavara koosseisu, olemasolevate sõnade semantika ja uute sõnade moodustamise võimaluste alal. Käesolevas kirjutises ei ole võimalik käsitleda substantiivide atributiivse tarvitamise leviku kõiki kajastusi inglise keele struktuuris. Täiesti kõrvale jätame süntaktilise külje ja vaatleme järgnevalt mõningaid adjektiivide ja prepositiivsete substantiivtäiendite konkurentsisist tingitud nähtusi sõnavara koosseisu, uute sõnade moodustamise ja sõnade tähenduse muutuste alal.

*

Nimetasime tegurite hulgas, mis soodustasid substantiivide atributiivse tarvitamise väljakujunemist ja levikut, asjaolu, et vana- ja kesk-inglise keeles oli paljude nimisõnaliste liitsõnade olemasolu juures suhteliselt vähe adjektiive. Adjektiivide osatähtsus tänapäeva keeles on veelgi vähem.¹⁶ Uusi atributiivseid suhteid

¹⁵ Sageli on võimalik prepositiivset substantiivtäiendit mitmeti mõista. Nii võib näiteks *a Darwin lecture* olla 1) loeng Darwini ettekandes, 2) loeng Darwini kohta, 3) loeng, mille perioodiliseks korraldamiseks Darwin jättis testamendiga teatud summa raha jne.; *a paper boy* võib tähendada 1) ajalehemüüjat poissi, 2) paberist väljalõigatud poisikuju jne. Tavaliselt aitab kontekst niisugustel juhtudel tähendust konkretiseerida.

¹⁶ Vt. B. A. Iljiš, op. cit., lk. 133; O. Jespersen, *Growth and Structure of the English Language*, Leipzig 1919, lk. 130; Ph. Aronstein, *Englische Stilistik*, Berlin 1924, lk. 35 jj.

eelistatakse kaasaegses keeles edasi anda prepositiivsete substantiivtäiendite, mitte aga selleks otstarbeks tuletatud uute adjektiivide abil. Võib ütelda, et prepositiivsed substantiivtäiendid täidavad uus-inglise keeles umbes sama osa puuduvate adjektiivide asendamisel, mida liitsubstantiivide esimesed, s. o. atributiivsed komponendid täitsid vana-inglise perioodil. Sellest, et uus-inglise sõnavara on suhteliselt vaene adjektiivide osas, annab mõninga ettekujutuse see, kuidas inglise keelde tõlgitakse eesti keele omadussõnu, näit.: *massiline* (osavõtt) — *mass* (participation); *rekordiline* (saak) — *record* (harvest); *riiklik* (ülikool) — *state university*; (*kõrge*-) *kvaliteediline* (kaup) — (*high*) *quality* (goods); *parteiline* (ülesanne) — *party* (task); *talvine* (õhtu) — *winter* (evening) jne.

Võrdlus eesti keelega ei too inglise keele vaesust adjektiivide alal küllalt eredalt esile, sest eesti keeles on tavaline inglise substantiivide atributiivset tarvitamist mõnevõrra meenutav substantiivtõvede kasutamine atributiivsete komponentidena liitsubstantiivides. Võrreldes uus-inglise keelt adjektiivide poolest rikka vene keelega ilmneb inglise keele kehvus selle sõnaliigi alal (näit. авторский, агитмассовый, базарный, бальный, банный, майский, спортивный, танцевальный, утренний, фабричный jne. tõlkimiseks puuduvad inglise keeles üldtarvitatavad adjektiivid). Ka teiste tänapäeva germaani keeltega võrreldes, kuigi neis on üldse suhteliselt vähe omadussõnu, on inglise keeles adjektiive vähem.

Adjektiivide arvu suhtelisest tagasihoidlikkusest ei tohi järeldada, et adjektiivi kategooria kui selline inglise keeles hääbuks. Tänapäeva inglise keeles tarvitatakse rohkesti tüvekujulisi lihtadjektiive, nagu *rich*, *poor*, *wide*, *thin*, *fine*, *white* jne., kui ka mitmesuguste liidete abil tuletatud omadussõnu, näit. *careless*, *healthy*, *dangerous*, *beautiful* jne., mis oma stabiilsuse ja tähenduse tõttu kuuluvad kindlalt inglise keele sõnavara põhifondi.

Ei ole õige järeldada ka, et inglise keeles ei moodustata enam uusi adjektiive. Atributiivselt tarvitatavatest substantiividest on uus-inglise perioodil adjektiviseerunud näit. *game*, *moot*, *proof*, *hangdog*, *shoddy* ja mitmed teised. Oma produktiivsuse igapäevases tarvituses on säilitanud pool tosinat adjektiive tuletavat sufiksit nagu *-less*, *-ed*, *-y*, *-ish*, *-ic* (teadusliku terminoloogia alal on produktiivseid tuletusliiteid tublisti rohkem).¹⁷ Üksikuid uusi adjektiive moodustatakse ikka veel ka sõnade liitmise teel, näit. *peace-loving*, *front-ranking* (= eesrindlik), *trigger-happy* (= sõnasõnal — 'päästiku-õnnelik', s. o. agressiivne, provokaatorlik, liiga kergesti relva kasutav, näit. politseinike, piirivalvurite, lendurite jne. kohta).

¹⁷ Siinkohal võiks nimetada niisuguseid populaarseid tuletatud adjektiive nagu *atomic* ja *supersonic* (= heli levimiskiirust ületav, näit. *supersonic speed*, *flight* jne.), mida kasutatakse reklaamis ja kõnekeeles 'kõige uuema', 'ülimoodsa' või 'väga efektiivse' tähenduses, näiteks *an atomic washing-machine*, *a supersonic football match* jne.

Kuigi uus-inglise keeles ei ole mingit alust kõnelda adjektiivide väljasuremisest või substantiivi ja adjektiivide kui sõnaliikide ühtesulamisest, võime siiski täheldada adjektiivide relatiivse arvu vähenemist inglise keele sõnavaras tervikuna. Rääkides substantiivide atribuutivse tarvitamise mõjust uus-inglise sõnavarale, peab rõhutama järgmisi asjaolusid:

1) enamikul juhtumel, kui on tarvis iseloomustada mingit asja või nähtust uuest küljest või iseloomustada hoopis uut asja või nähtust, ei looda uus-inglise keeles selleks uut adjektiivide, vaid rakendatakse substantiivi prepositiivse täiendina; 2) inglise keeles puuduvad mitmed adjektiivide liigid, mis esinevad teistes keeltes. Niisuguste puuduvate adjektiivide aset täitsid vana-inglise perioodil liitsõnade täiendeleendid; uus-inglise perioodil aga kasutatakse nende asemel kas eessõnalisi või prepositiivseid substantiivtäiendeid.

On võimalik eristada rida kvaliteetide ja omaduste tüüpe, mille väljendamiseks inglise keeles puuduvad üldkasutatavad adjektiivid või need on esindatud vaid lünklikult ja mida inglise keeles antakse harilikult edasi substantiivtäiendite abil. Mitmed atribuutivset kasutatavate substantiivide semantilised rühmad pärinevad keele varasemaist perioodidest ja nende baasil arenes aja jooksul välja substantiivide tarvitamine prepositiivsete täienditena selles ulatuses, nagu me seda näeme tänapäeva keeles.

Tähtsamate niisuguste semantiliste rühmade hulka kuuluvad järgmised, kus substantiivid väljendavad:

1) mitmesuguseid ajalisi suhteid, näit. *morning walk, midnight conversation, Sunday visit, November afternoon, winter month*;

2) ruumilisi suhteid, asukohta, suunda, päritolu jne., näit. *city apartment, home journey, country excursion, London theatre, Moscow letter*;

3) materjali või ainet, millest põhisõnaga tähistatav ese on kas tervikuna või osaliselt tehtud, näit. *stone bridge, silk kerchief, leather shoes, glass door*;

4) materjali, ainet, eset, elusolendit või nähtust, millega põhisõnaga tähistatav asi või nähtus sarnaneb mingi silmapaistva tunnuse või omaduse põhjal. See rühm on väga arvukas ja temas on võimalik (nagu ka teiste rühmade puhul) eristada palju alaliike. Keeleajalooliselt vanimaid prepositiivsete substantiivtäiendite grupe moodustavad näiteks a) värvust tähistavad substantiivid (*silver moon, amber sky, hazel hair, ruby lips* jne.), b) substantiivide metafoorilised (väliskuju sarnasusel või muul tunnusel põhinevad) tarvitamisjuhtumid (*giant tree, dwarf shrub, midget car, toothbrush moustache* jne.).

Vaadeldavate semantiliste rühmade hulka tuleks arvata ka juhtumid, kus substantiivtäiend väljendab:

5) suurust, pikkust, kaalu (tavaliselt koos eelneva täpsustava arvsõnaga), näit. *a three-story building, five-ton truck, two-mile walk*.

Ka teistes tänapäeva germaani keeltes puuduvad sageli adjektiivid nimetatud omaduste ja suhete tähistamiseks. Neid väljendatakse teiste vahenditega, näiteks kas liitsõnade koosseisu kuuluvate täiendelementide või prepositsionaaltäiendite abil. Nii ei ole rootsi keeles peaaegu üldse adjektiive, mis tähistaksid materjali, millest mingi asi on tehtud, ega ka niisuguseid, mis viitaksid eesmärgile, milleks vastav ese on määratud, näit. *stenhus* 'kivimaja' või *ett hus av sten, en glasburk* 'klaaspurk', *en sportdräkt* 'spordidress' jne.¹⁸ Samuti näeme saksa keeles, et sageli ei ole võimalik tuletada teatud substantiivtüvest omadussõna, kuid antud tüvi võib esineda liitsõnas täiendkomponendina, näit. *Frühlingstag, Feldarbeit, Schreibtisch, Tanzsaal, Tanzmusik* jne.¹⁹

Erilist huvi inglise õigekeelsuse seisukohalt ja tunduvat praktilist tähtsust inglise keele võõrkeelena õppijatele omavad need juhtumid, kus keeles on toimunud tähenduslik diferentseerumine keele sõnavaras oleva adjektiivi ja sünonüümse või varem sünonüümiks olnud atributiivselt tarvitatava substantiivi vahel.

Adjektiivide ja neile vastavate prepositiivsete täienditena kasutatavate substantiivide vastastikuste suhete alal on võimalik eristada järgmisi peamisi juhtumeid:

1) atributiivne substantiiv on vastava omadussõna rahvuskeele sõnavarast välja tõrjunud;

2) atributiivset substantiivi ja vastavat adjektiivi tarvitatakse rahvuskeeles paralleelselt eri tähendusvarjundiga või neid kasutatakse eri stiilides, s. t. nad moodustavad kas ideograafiliste või stilistiliste sünonüümide paare;

3) atributiivse substantiivi ja samatüvelise adjektiivi tähendus on kujunenud hoopis erinevaks.

Vaatleme alljärgnevalt neid peamisi võimalusi eraldi.

*

Neid juhtumeid, kus on toimunud adjektiivi täielik väljatõrjumine täiendi funktsioonis kasutatava substantiivi poolt, on suhteliselt vähe. Tavalisem on, et prepositiivse substantiivtäiendi tarvitamise tõttu on järk-järgult kitsenenud adjektiivi kasutamissfäär.

Aja jooksul on siiski sel põhjusel käibelt kadunud rida omadussõnu. Inglise keeles tarvitatakse varasest kesk-inglise perioodist saadik geograafilisi pärisnimesid prepositiivsete täienditena. Mit-

¹⁸ Vt. С. С. Маслова - Лашанская, Шведский язык, т. I, Ленинград 1953, lk. 143.

¹⁹ Uus-ülemsaksa keeles on liitnimisõnade substantiivtüvelised täiendelementid paljudel juhtumitel välja tõrjunud samadest substantiivtüvedest tuletatud relatiivseid adjektiive, näit. k.-ül.-sks. *geburtlicher tag* — u.-ül.-sks. *Geburtstag*; k.-ül.-sks. *winterlicher zīt* — u.-ül.-sks. *Winterzeit* jne. Vrd. В. М. Жирмунский, О внутренних законах развития немецкого языка, Доклады и сообщения института языкознания АН СССР, № 5, 1953, lk. 95; М. Д. Степанова, Словообразование в современном немецком языке, М. 1953, lk. 211.

meid varem tarvitusel olnud kohanimedest tuletatud adjektiivide ei tarvitata enam tänapäeva keeles, näit. k.-ingl. *lundenissce folk* (Anglo-Saxon Chronicle, sissekanne 1140. a. all) — u.-ingl. *London people*; k.-ingl. *flaundryssh beuere hat* (C. Chaucer, Canterbury Tales, Prologue l. 272) — u.-ingl. *Flanders beaver hat* jne.²⁰

Prepositiivsete substantiivtäiendite järjest laialdasema tarvitamisega on seletatav vanemas keeles väga rohkearvuliste *-(e)n-lõpuliste* materjali tähistavate omadussõnade järkjärguline kadumine. Tänapäeva inglise rahvuskeeles tarvitatakse veel ainult mõnd üksikut niisugust adjektiivi, näit. *earthern, golden, woollen, wooden* (kõnekeeles kuuleb sageli prepositiivseid substantiivtäiendeid *gold, wool, wood*), kuna enamik, näit. *wheaten, oaten, ashen, birchen, beechen, hempen, flaxen, waxen, leaden, silvern* jne. on iganenud. Viimati loetletud sõnad püsivad veel vaid murdeti, luulekeeles, kirja-keele kõrgemas stiilis ja mõnedes vanasõnades ning kõnekäändudes, näit. *speech is silvern* (ka *silver*), *silence is golden*.

Huvi pakub metallinimetusest *gold* sufiksi *-en* abil tuletatud adjektiivi *golden* võistlus vastava prepositiivse substantiivtäiendiga. Tänapäeva keeles võib tähele panna, et adjektiivi '*golden*' kasutatakse eeskätt üle kantud, piltlikus tähenduses, substantiivi *gold* aga atribuudina otseses tähenduses. Võrreldagu näit. *a gold watch* = *a watch of gold*, s. o. kuld kell, aga *golden daffodils* = kullavarvi nartsissid; *a coal mine may be a golden mine*, s. o. väärtuslik, tulutoov, kus *a golden mine* ei ole asendatav ühendiga *gold mine*. Sama vahetegemine otsese ja üle kantud tähenduse vahel esineb ka mõne teise sõnapaari, näit. *brass* — *brazen*, *lead* — *leaden*, *leather* — *leathern* puhul, vrd. *a brazen behaviour* = jultunud, häbematu käitumine, ja *a brass plate* = messingine, valgevasest nimeplaat; *a lead coffin* = seatinast kirst, *leaden limbs* = tinarasked liikmed jne.²¹

Raske on igakord kindlaks teha, kas antud omadussõna on rahvuskeele sõnavarast lõplikult välja langenud või kas ta püsib kuskil üld-sõnavara ääremail erilise stiililise varjundiga. Enamikul juhtumitel tarvitatakse adjektiivi ja substantiivtäiendit nn. stilistiliste sünonüümidenäna, s. t. neid kasutatakse sama sisu edasiandmiseks eri keelestiilides. Peale stiililise kasutamise omapärasuste võivad välja kujuneda ka erinevad tähendusvarjundid. Seega on võimalik rääkida mõnedest adjektiividest ja tähenduselt lähedastest atribuudi funktsioonis tarvitatavatest substantiividest kui ideograafilistest sünonüümideist.

Õeldud võib illustreerida näidete varal, mis on võetud ladina-prantsuse päritoluga adjektiivide ja nende vastavate atribuutivsete substantiivide alalt. Teatavasti on inglise keel oma eriliste arenemistingimuste tõttu laenanud suurel arvul sõnu ladina ja prantsuse keelest. Eriti rohkesti tuli romaani päritoluga sõnu inglise keelde

²⁰ Vt. allpool lk. 219.

²¹ Vrd. Ph. Aronstein, op. cit., lk. 36.

13.—14. saj. prantsuse keelega ristumise protsessi käigus ja jälle vahetult ladina keelest renessansi ajal Inglismaal 15. saj. lõpul ning 16. saj. algul. Enamik romaani laene assimileeriti täielikult, mitmed neist muutusid igapäevasteks sõnadeks ja läksid sõnavara põhifondi. Sellekohased uurimused näitavad, et tänapäeva inglise sõnavaras on umbes 50% romaani päritoluga sõnu.²² On teada, et kuigi paljudel juhtumitel romaani (eriti prantsuse keelest tulnud) sõna tõrjus aja jooksul välja samatähendusliku germaani sõna, jäid sagedasti romaani ja germaani päritoluga sõnad inglise keele sõnavaras püsima kõrvuti sünonüümidena, nn. dublettidena. Sealjuures toimus sünonüümide vahel stilistiline või semantiline spetsialiseerumine. Enamikul juhtumitel kasutatakse germaani sõna lihtsate igapäevaste konkreetsemate mõistete väljendamiseks. Sünonüümne romaani sõna on aga harilikult abstraktsem ja omane kõrgemale stiilile (vrd. adjektiivide osas näiteks: *hearty* — *cordial*, *fatherly* — *paternal*, *brotherly* — *fraternal*, *deep* — *profound*; *lonely* — *solitary*; *lying* — *mendacious*; *inner* — *interior*; *heavy* — *ponderous* jne.²³ Germaani ja romaani algupäraga sünonüümide olemasolu inglise keeles võimaldab edasi anda peeni tähendusvarjundeid ja on kahtlemata keele rikastumise ning progressi avalduseks sõnavara osas.

Semantilist ning stiililist diferentseerumist võib tähele panna ka substantiivtäiendite ja 15.—16. sajandil vahetult ladina keelest laenatud adjektiivide juures. Näitena võib tuua mitmesuguste ajaliste ja ruumiliste suhetega seotud omaduste ja kvaliteetide väljendamise võimalusi. Vastavad kitsalt kirjanduslikeks või teaduslikeks sõnadeks, kuna kõnekeeles tarvitatakse neid stiililise eesmärgiga koomilise või peenutseva efekti taotlemisel. Niisuguste adjektiivide hulka kuuluvad aastaaegade ladinakeelsetest nimetustest või ladina omadussõnadest tuletatud *autumnal*, *hibernal*, *vernal* ja *estival*. Nende sõnade kasutamise sfäär on äärmiselt piiratud. *Autumnal*, *hibernal* jne. tarvitatakse tänapäeval mõnikord luulekeeles ja samuti teaduslikus kirjanduses, näit. *vernal equinox* — 'kevadine pööripäev' või arstiteaduslik *estival diseases* — 'suvised haigused'. Tavalises proosas on need sõnad aga täiesti ülearused. On huvitav märkida, et Shakespeare ei tarvitanud oma teostes ühtki neist adjektiividest ja kasutas nende asemel järjekindlalt prepositiivseid substantiivtäienditeid, kuigi tema kirjutas ajal, kus klassikaliste keelte mõju inglise kirjakeelele oli tugev.²⁴ 17. saj. lõpul ja 18. saj. algul, klassitsismi võimutsemise perioodil inglise kirjanduses, võib kohata rohkesti

²² Vt. В. А. Звегинцев, Понятие внутренних законов развития языка..., Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина, М. 1952, lk. 213.

²³ Vt. E. Partridge, The World of Words, London 1938, lk. 54; К. Бруннер, История английского языка (перевод с немецкого), т. I, М. 1955, lk. 154.

²⁴ Vt. O. Jespersen, Growth and Structure..., lk. 132.

omadussõnu-epiteete nagu *nocturnal, matutinal, sylvan, palustral, lacustrine, meridian, crepuscular, vesperine* jt., kuid juba 18. saj. teise veerandi kirjanike ning luuletajate keeles võib märgata loobumist niisugustest latinismidest.²⁵ Tulevad üldiselt tarvitusele vastavad substantiivid prepositiivsete täiendite funktsioonis. Tänapäeva kirjanikest ei tihkaks keegi tavalises kontekstis kasutada näiteks *matutinal dew* või *vesperine bells*, vaid ta kirjutaks lihtsalt *morning dew* või *evening bells*. Inglise keeles on normaalne rääkida Loode-Inglismaal asuvast looduslikult kaunist järvederohest alast kui *Lake District* ja 18.—19. saj. reaktsioonilise romantismi esindajaid inglise luules (Coleridge, Southey, Wordsworth) nimetatakse „järve-poeetideks”, „the Lake poets”. Nimetada neid „*lacustrine poets*” oleks stiililt koomiline või halvustav.

Tänapäeva keeles püsivad adjektiivid nagu *lacustrine, vesperine, matutinal* jne. peamiselt teaduslikus kirjanduses. Kuid isegi seal võib viimasel ajal tähele panna kalduvust kasutada ikka sagedamini atributiivseid substantiive. Nii on arheoloogias ja paleoetnograafias viimaseil aastakümneil vorm *lake dwelling* tarvitavam kui *lacustrine dwelling*; vrd. samuti geoloogias *ice age* ja *glacial period* jne. Inglise keeleteaduslikus kirjanduses võib romaani päritoluga adjektiivi *linguistic* kõrval sageli kohata atributiivses funktsioonis samuti romaani algupäraga substantiivi *language*, näiteks ühendes *language study, language problems* jne.²⁶

Nimetatud tendents on alguse saanud tõenäoliselt populaarteaduslikes tekstides ning ettekannetes. See asjaolu tõendab veelkordselt, et substantiivide atributiivne tarvitamine on arenev elujõuline nähtus rahvakeeles, mis pidevalt levib ja leiab arvestamist ka kirja-keeles.

Tähtsaks näitajaks atributiivsete substantiivide tõenäolise edaspidise leviku kohta on see, et neid sisaldavad sõnaühendid on eriti tavalised inglise keele ameerika variandi mitmesugustes stiilides.

Inglise keele ameerika variant on viimase kahe-kolme aastakümne jooksul tublisti mõjutanud briti keeletarvitust sõnavara ja fraseoloogia alal. Keele grammatilise struktuuri suhteliselt suure stabiilsuse tõttu on ameerika ja briti variandi lahkumineku grammatikas ebaolulised. Vähesed olemasolevad grammatilised erinevused keelepruugis on seletatavad eeskätt sellega, et inglise keele mõlemale variandile iseloomulikud tendentsid on varem kirjakeelde pääsenud ameerika variandis.²⁷ Briti kõnekeeles ja murretes on

²⁵ Vrd. Г. И. Клименко, Проблемы литературного языка у английских просветителей, Вестник ЛГУ, № 5, 1952, lk. 42 jj.

²⁶ Vrd. О. С. А х м а н о в а, К вопросу об отличии сложных слов от фразеологических единиц, Труды Ин-та Языкознания АН СССР, т. IV, 1954, viide nr. 7, lk. 55.

²⁷ Näiteks *shall, will* vahetegemise kadumine lihttuleviku moodustamisel, homonüümsed adjektiivid ja adverbid, nn. *split infinitive*, kõikumised isikuliste asesõnade tarvitamise alal jne.

samad tendentsid sageli olemas, kuid kirjakeele pruugi suurema konservatiivsuse tõttu ei ole need konstruksioonid ega vormid veel üldist tunnustust leidnud. Prepositiivsete substantiivtäiendite varitamisel on briti kirjakeeles praegu veel märgata mõnevõrra suuremat tagasihoidlikkust kui ameerika variandis. Selline hoiak pärineb 18. sajandist ja 19. sajandi algusest, mil inglise keelt normeeriti rangelt ja igasugustesse uuendustesse ja kõnekeelele omastesse tendentsidesse suhtuti taunivalt. Tänapäeval on juba võimalik näha, et seni püsinud teatav umbusaldus substantiivtäiendite vastu teaduslikus stiilis ja üldse nn. kõrgemas stiilis on hakanud haihtuma ka inglise keele briti variandis.

*

Kõneldes adjektiivide ja prepositiivsete substantiivtäiendite vastastikustest suhetest inglise keeles ei saa nimetamata jätta juhtumeid, kus substantiivtäiendi ja samatüvelise lihtadjektiivi tähendus on tunduvalt diferentseerunud. Inglise keele õpetamise seisukohalt on tähtis märkida, et sufiksi *-y* abil materjali- ja aine-nimetustest moodustatud omadussõnad on oma enamikus metafoorilist laadi. *Glassy, stony, silky, leathery, icy* ei tähenda vastavalt 'tehtud klaasist, kivist, siidist' jne., vaid 'antud materjali taoline, mõnes suhtes sellega sarnane'. Kui me tahame ütelda, et antud asi on tehtud, valmistatud mingist materjalist, siis kasutame tavaliselt substantiivtäiendit. Võrreldagu näiteks *glass pane* 'klaasist (akna)ruut' ja *glassy eyes* 'klaasjad silmad'; *stone wall* ja *stony look* 'kivistunud pilk (või ilme)' jne. Sellest üldisest reeglist on olemas erandeid, näit. *grassy*, mis võib tähendada nii 'rohuga kaetud' kui ka 'värviilt rohusarnane, rohekas-pruun, травянистый'. Samuti *sandy* 1) 'liivane, liivaga kaetud', 2) 'liivakarva, punakaskollane, рыжеватый' (eriti ühendis: *sandy hair*).²⁸

Tähenduse spetsialiseerumist võib näha ka mõnede *ic-, ical-* lõpuliste adjektiivide ja samatüveliste substantiivtäiendite vahel. Nii on semantiliselt diferentseerunud näiteks *history* (*history teacher* 'ajaloo õpetaja', vrd. liitsõna *history book* 'ajalooõpik') ja *historic* (*historic book* 'oma tähenduselt ajalooline raamat').

Kaugele oma esialgsest tähendusest on arenenud adjektiiv *familiar*. *Familiar*, millel on etümoloogiliselt sama tüvi kui sõnal *family* 'perekond' (< lad. k. *familia*), ei tähenda uus-inglise keeles 'perekondlik, perekonnale omane', vaid 'tuttavlik, hästi tuttav millegagi, hästi tuntud, kodune, pealetükkivalt sõbralik' (vrd. eesti keeles *familiarne*). Adjektiiv tähendusega 'perekondlik', vene keele *семейный*, puudub inglise keeles ja tema aset täidab substantiiv '*family*', mida

²⁸ Vrd. E. M. Хаскина, Продуктивные способы словообразования в современном английском языке, «Иностранные языки в школе», № 6, 1953, lk. 27.

tarvitatakse prepositiivse täiendina, näiteks *family affairs*, *family reasons*, *family questions* jne.²⁹

Inglise keeles võib tähele panna teatud kalduvust eristada prepositiivsete täienditena tarvitataivate geograafiliste pärisnimede poolt edasiantavaid tähendusi vastavaist pärisnimedest tuletatud omadussõnade tähendustest (kui niisuguseid tuletisi on olemas).³⁰ Üldreeglina väljendab niisugusel juhtumil substantiivtäiend ruumilist suhet, päritolu või asukohta, vastav adjektiiv aga omadust. Tegelikus keeletarvitus on selles küsimuses tublisti ebajärjekindlust. Näib samuti, et geograafilisi pärisnimesid on hakatud senisest mõnevõrra sagedamini kasutama prepositiivsete täienditena iga-suguste täiendusvarjunditega, näiteks *China travelogue*, *Korea problem*, *England visit*, *Virginia ham* jne.

Isikunimedest tuletatakse uus-inglise keeles adjektiive mitme suufiksi abil. Stiililt neutraalseid tuletisi saadakse liidetega *-ean* (*-ian*) ja *-ic*, näiteks *Shakespearian theatre*, *Rooseveltian policy*. Nende suufiksitega tuletiste asemel tarvitatakse sageli vastavat nime prepositiivse täiendina (*Shakespeare theatre*, *Roosevelt policy*). Halvustava tähendusvarjundiga adjektiive moodustatakse suufiksitega *-ese*, *-esque*, *-ite*; näiteks *Johnsonese* (18. saj. inglise leksikograafie ja kirjanikule Samuel Johnsonile omane või ta suuresõnalise stiili sarnane), *Macaulayesque sentences* (stiililt raskepärased, ülespuhutud keeles laused), *Marrite views on language* jne. Niisuguste tuletiste asemel tarvitatakse vastavaid isikunimesid väga harva prepositiivsete täienditena.

*

Oleme vaadelnud üksikuid küsimusi väga mitmekesise probleemistiku alalt, mis on seotud substantiivide tarvitamisega prepositiivsete täienditena inglise keeles. Mitmed küsimused, nagu nägime, vajavad üksikasjalisemat uurimist. Esitatud piiratud materjalistki järeldub, et niisuguste täiendite tarvitamine levib pidevalt. Prepositiivsete substantiivtäiendite kasutamine on täiesti seaduspärane nähtus, sest ta on igati kooskõlas keele arenemise tendentsidega.

Sellest tõigast tuleneb tähtis järeldus inglise keele õpetamisel: substantiivtäiendeid tuleb tarvitada rohkesti nii kõnekeeles kui ka

²⁹ Siinkohal olgu viidatud sõnapaaridele nagu *ration* — *rational*, *provision* — *provisional*, *cost* — *costal* jne., kus *al*-lõpuline adjektiiv on vastavast substantiivist etümoloogiliselt väga kauge või puhtjuhuslikult sarnane, tähenduselt aga hoopis erinev.

³⁰ Enamikust ingliskeelsetest geograafilistest nimedest (välja arvatud maade ja riikide nimed) ei tuletata omadussõnu. Real juhtumeil on tarvitusel eri tüvest, sageli ladina keelest saadud adjektiiv, millel võib olla eriline stilistiline varjund või muidu kitsenenud kasutamissfäär, näiteks *Oxford* — *Oxonian*, *Cambridge* — *Cantabrigian* (neid adjektiive tarvitatakse ainult siis, kui on juttu vastavaist ülikoolidest või nende üliõpilastest), *Shropshire* (*Shrewsbury*) — *Salopian*, *Devonshire* — *Devonian* (viimane ainult geoloogilises mõttes) jne.

kirjas. Igaüks, kellel on kogemusi inglise keele õpetamisel võõrkeelena, on kahtlemata märganud, et nii õpilased kui ka üliõpilased hoiduvad kasutamast tänapäeva inglise keelele nii iseloomulikke prepositiivseid substantiivtäiendeid. Inglise keelt õppija ütleb tõenäoliselt *a hat of straw*, mitte aga *a straw hat*, *a concert on Sunday*, mitte aga *a Sunday concert* jne. Eriti raske on viia vene emakeelega õppijaid selleni, et nad tarvitaksid vaadeldavat tüüpi täiendeid. Põhjuseks on siin arvatavasti, et paljudel vene keele adjektiividel puuduvad vasted inglise keeles ja nende tõlkimiseks tarvitavad venelased harilikult prepositsionaaltäiendeid, sest venelastele tundub võõrana kasutada substantiive vene keele adjektiividele omases funktsioonis. Kuid ka eesti rahvusest õpilased sageli nagu ei julgeks tarvitada niisuguseid täiendeid, kuigi eesti keelele omane nimisõnade nominatiivne liitumine peaks seda hõlbustama.

К ВОПРОСУ ОБ АТРИБУТИВНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ЕГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С КАТЕГОРИЕЙ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

О. Мутт

Кафедра иностранных языков

Резюме

В течении продолжительного времени в области англистики вопрос о сущности образований *stone wall, morning walk, winter weather, London fog* остается предметом серьезных споров. Первые компоненты в таких соединениях определяются различно, то как прилагательные или как существительные в функции определений, то как основы существительных в составе сложных слов.

Нам кажется, что главной причиной путаницы и споров в данной области является недифференцированный подход к ряду тесно соединенных и взаимно связанных явлений. На основании специального исследования, в котором мы прослеживаем историческое развитие употребления таких образований¹, мы считаем, что *stone wall, morning walk* и т. д. свободные словосочетания, первые компоненты которых — существительные в общем падеже, употребляемые в функции препозитивных определений. Такие субстантивные определения могут выражать самые разнообразные атрибутивные отношения (исторически более ранними группами являются те, в которых препозитивное существительное выражает отношение между предметом и материалом, из которого сделан предмет, или часть предмета, различные временные и пространственные отношения).

Мы возражаем против взгляда доц. О. С. Ахмановой, согласно которому существительное в современном языке не может выступать в функции определения иначе, как в форме притяжательного падежа или как предложное определение. Нам кажется, что, учи-

¹ "A Contribution to the Historical Study of the Attributive Use of Substantives in English", (канд. дисс.), Tartu, 1955. Рукопись диссертации хранится на Кафедре иностранных языков Тартуского Государственного Университета.

тивная специфику структуры английского языка, есть основание говорить о возможности употребления существительного в общем падеже в функции препозитивного определения. Для современного языка вообще характерно возрастающее употребление слов, принадлежащих к разным частям речи, словосочетаний, сокращений и даже целых предложений в роли препозитивных определений. В то же время мы не отрицаем, с одной стороны, возможности адъективизации отдельных атрибутивно употребляемых существительных (*chief, dainty, game, moot, proof* и т. д.), а с другой — возможности превращения соответствующих соединений в сложные слова (*railway station, rose garden* и т. д.).

В данной статье рассматривается также вопрос о влиянии возрастающего употребления препозитивных субстантивных определений на словарный состав (с точки зрения относительного числа прилагательных) и на систему словообразовательных средств языка (уменьшение продуктивности морфологических средств образования новых прилагательных).

Атрибутивное употребление существительных оказало влияние на лексику языка и в том смысле, что оно часто вызывало семантические сдвиги в значениях прилагательных. В статье рассматриваются случаи, где 1) атрибутивное существительное вытеснило ранее применявшиеся прилагательные (ряд прилагательных с суффиксами *-ish, -en*); 2) атрибутивное существительное и соответствующее прилагательное употребляются как идеографические или стилистические синонимы (*morning — matutinal, winter — hibernal* и т. д.); 3) между атрибутивным существительным и соответствующим прилагательным произошла значительная семантическая дифференциация (*stone — stony, family — familiar* и т. д.).

В конце статьи делаются некоторые выводы относительно важности атрибутивного употребления существительных в практическом преподавании языка. Отмечается, что изучающие английский язык не всегда понимают роль этой возможности выражения атрибутивных отношений.

SISUKORD

Ю. Мадиссон. Молодой Куторга	3
J. Madisson. Noor Kutorga. <i>Resüme</i>	38
E. Plotnik. Tõelislükumine Eestis majanduskriisi aastail (1929—1934)	40
Э. Плотник. Подъем рабочего движения в Эстонии в годы экономического кризиса (1929—1934). <i>Резюме</i>	59
A. Kask. Sõnalõpulise ülipika konsonandi märkimise kujunemisest eesti kirjakeeles	61
A. Kask. К вопросу о написании долгого конечного согласного в эстонском литературном языке. <i>Резюме</i>	72
G. Laugaste. Konsonantide palatalisatsioon eesti keeles	74
G. Laugaste. Палатализация согласных в эстонском языке. <i>Резюме</i>	86
P. Ariste. Ühest vadjä rahvalaulust	89
П. Аристе. Об одной древней водской народной песне. <i>Резюме</i>	99
H. Rätsep. <i>n</i> -ilistest infiniitsetest verbivormidest soome-ugri keeltes	100
X. Rätsep. Об инфинитных глагольных формах с признаком <i>-i</i> в финно-угорских языках. <i>Резюме</i>	112
K. Taev. Mõningate C. R. Jakobsoni teoste tsenseerimisest	114
K. Taev. О цензуре некоторых произведений К. Р. Якобсона. <i>Резюме</i>	134
E. Laugaste. Ühe Liivimaad käsitleva alamsaksakeelse laulu ajaloost (<i>Ick bin een Lieffländisch Buer</i>)	136
Э. Лаугасте. К истории одной песни о Ливонии на нижненемецком языке (« <i>Ick bin een Lieffländisch Buer</i> »). <i>Резюме</i>	150
J. Peegel. Olukirjelduse kui žanri kujunemisest XIX saj. eesti publitsistikas	152
Ю. Пеэгель. Образование очерка как жанра в эстонской публицистике XIX века. <i>Резюме</i>	165
A. Pravdin. Из истории предложных сочетаний в русском языке. (Дательный падеж с предлогом «к»)	167
A. Pravdin. Vene keele prepositsionaalsete ühendite ajaloost. <i>Resüme</i>	184
B. Egorov. О форме литературно-критических статей Н. А. Добролюбова	185
B. Jegorov. Dobroljubovi kirjanduskriitiliste artiklite vormist. <i>Resüme</i>	203
O. Mutt. Substantiivide atributiivsest tarvitamisest ja selle vastastikustest suhetest adjektiivide kategooriaga inglise keeles	205
O. Mutt. К вопросу об атрибутивном употреблении существительных и его взаимоотношениях с категорией прилагательных в английском языке. <i>Резюме</i>	221

ТРУДЫ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

На эстонском и русском языках

Эстонское Государственное Издательство
Таллин, Пярну маантс 10

*

Toimetaja E. Laugaste

Tehniline toimetaja I. Vahtrre

Korrektorid M. Juske ja J. Ramm

Ladumisele antud 16. II 1956. Trükkimisele antud
4. VI 1956. Paber 60×92, 1/16. Trükipoognaid 14. Arvu-
tuspõognaid 15,57. Trükiarv 700. MB-04854. Tellimise
nr. 570. Hans Heidemanni nimeline trükikoda, Tartu,
Vallikraavi 4.

Hind rbl. 11.40